

ИВАН ЕФРЕМОВ

МОИ ЖЕНЩИНЫ

Издатель
Юхневская С. А.

Мои женщины
Иван Антонович Ефремов

Аннотация

Аннотация

РЕТРО БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИИ И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ
Коллекция
Собрание сочинений Ивана Ефремова
Иван Ефремов
МОИ ЖЕНЩИНЫ
WOMAN IN MY LIFE
ПИСЬМА
Издатель Юхневская С. А.
1.0 — создание файла

Ефремов И. А.
Мои женщины: Рассказы; Письма. — М.: «Издатель Юхневская С. А.», 2025. — 480 с.: ил. — (Ретро библиотека приключений и научной фантастики. Серия «Коллекция. Собрание сочинений И. Ефремова»).
ISBN 978-5-6053754-0-1

В книгу вошли 14 рассказов И. А. Ефремова, объединённых в цикл с авторским названием «Women in my life». Спустя 50 лет после смерти автора рукопись превращается в книгу и передаётся читателю. Рассказы посвящены женщинам, оставившим глубокий след в жизни автора.

Завершает книгу подборка писем, обращённых Ефремовым к Таисии Иосифовне, которая стала его женой.

И рассказы, и письма публикуются впервые.

© Ефремов И. А., наследники, 2025
© Коржев И. В., иллюстрации, 2025
© ООО «Издательство Престиж Бук», оформление, макет, 2025
© Издатель Юхневская С. А., 2025

«...Мне хочется, чтобы те, кто не имел настоящего опыта или ещё очень молод или несчастен, извлекли пользу из моих воспоминаний. Слишком дико и нелепо мы умалчиваем о важнейших и прекраснейших сторонах нашей жизни, слишком невежественна наша молодёжь в сфере половой любви, слишком пренебрегаем мы эмоциональной стороной жизни. И в результате, после тысячелетнего опыта и тонкого искусства страсти в древние времена и на Востоке, мы, ведущая на Земле раса цивилизованнейших людей, нисколько не выше обыкновенных животных в вопросах страсти. Но человек — не животное, и расплата неминуема!»

Иван Ефремов. «Вторая Люда»

ОТ РЕДАКТОРОВ

К осени 2020 года издательство «Престиж Бук» выпустило седьмой том собрания сочинений Ивана Антоновича Ефремова. Шесть томов художественных произведений и отдельный том с «Дорогой ветров», журнальными статьями и интервью были изданы с красочными иллюстрациями, как публиковавшимися ранее, так и сделанными впервые, со статьями от редакции,

посвящёнными истории создания произведений и их особенностям.

В результате этой работы наследница Ефремова решила издать цикл из четырнадцати рассказов, прежде никогда не публиковавшихся. Заключённые в самодельный коричневый переплёт, эти рассказы имели общий заголовок на английском языке «Women in my life» и предисловие. Часть из них была напечатана на машинке и имела авторскую правку ручкой, большая же часть была написана от руки на бумаге разного качества характерным почерком Ефремова, который сам автор называл «куропись». Авторская правка была внесена и в эти страницы.

Все листы были пронумерованы карандашом, часть рассказов имела дополнительно внутреннюю нумерацию. На отдельных листах были приклеены вырезанные в основном из западных журналов изображения актрис или моделей: автор стремился найти изображения женщин, максимально точно соответствующих описанным им типам. Иллюстрации эти разного качества печати и разного размера, некоторые с подписями Ефремова, указывающими на сходство и разницу модели с описываемой женщиной. Мы попытались воспроизвести эти вклейки максимально

качественно. Также обратились к художникам с просьбой проиллюстрировать книгу с опорой на рукопись.

Кроме рассказов издатель решил включить письма Ефремова к Таисии Иосифовне, последней жене писателя, написанные в разные годы на протяжении двух десятков лет.

Работа по расшифровке продолжалась несколько месяцев. Ефремов писал чрезвычайно убористо, часто отделяя одну строку от другой мизерным интервалом. Почерк и авторская пунктуация его имеют ряд особенностей, сильно затрудняющих чтение. Трудно описать радость исследователя, когда чернильные загогулины, в которые ты вглядываешься часами, наконец начинают складываться в понятные слова и строчки.

Понадобилась объёмная корректорская и редакторская работа, направленная преимущественно на оформление текста в соответствии с современными требованиями, составление и комментирование, но не затрагивающая особенности авторского стиля. В некоторых случаях оставлены особенности авторского написания, которое характерно для своего времени, например, итти, безконечный, оффициальный.

Ясно, что если бы Ефремов имел возможность подготовить рукопись в печать как нечто цельное, то устранил бы некоторые повторы и придал бы рассказам, написанным в разные годы, общие стилистические особенности.

Два рассказа в рукописи снабжены нарисованными рукой Ефремова схемами с легендами: «Зина-Зейнаб» и «Сахавет». Мы воспроизводим эти схемы с пояснениями автора. Рассказ «Валерия» в рукописи не имеет завершения. Следующий за рукописной страницей лист пронумерован, но пуст.

Рассказы цикла создавались на протяжении многих лет.

Часть из них напечатана на той же печатной машинке, что и письма, подготовленные к изданию в «Переписке...».

Летом 1952 года Ефремов отдыхает в Доме отдыха писателей на Карельском перешейке, в Комарове. Оттуда он пишет письмо Таисии Иосифовне, где говорит, что ему дали напрокат печатную машинку. Само письмо напечатано именно на ней. По сравнению со шрифтом машинки автора её шрифт более низкий и округлый, шире межбуквенные расстояния.

Рассказ о Кунико, второй в цикле, напечатан

таким же шрифтом. Мы можем с большой вероятностью предполагать, что он был написан в Комарове летом 1952 года.

В рассказе о Тамаре, десятом в цикле, автор пишет, что с 1930 года, то есть со времени описываемых событий, прошло 36 лет. Следовательно, работа над ним приходится на 1966 год.

Если условно принять 1952 год за начало работы над циклом, то мы можем увидеть, что он составлялся на протяжении почти полутора десятков лет, при этом образы описываемых женщин существенно влияли на образы героинь крупных произведений Ефремова, о чём говорит и сам автор.

При подготовке настоящей книги редакторы не вносили изменений, кроме самых необходимых. Возникает впечатление, что мы слышим живой, непосредственный рассказ Ефремова о своей жизни.

Чтобы читателям были понятнее используемые в рассказах упоминания об экспедициях и других фактах биографии писателя, в приложении приводится список основных событий жизни автора.

Рассказы опираются на события жизни и одновременно позволяют уточнить детали био-

графии. Например, становится ясно, при каких обстоятельствах автор в 1926 году работал на тракторе «Фордзон».

Рассказ «Е.П.М.» (1926) позволяет прояснить важный факт биографии матери Ефремова. Было известно, что во время Гражданской войны она, находясь в Херсоне, стала женой красного командира. Однако её дальнейшая судьба и фамилия мужа не были известны.

Ефремов пишет: «После неудачной экспедиции в Тургайскую степь я, взяв отпуск, поехал к маме в Ростов-на-Дону, оттуда в станицу Милютинскую, где поработал трактористом в коммуне “Звезда Красноармейца”, руководил которой матрос Георгий Болеславович — брат мужа матери — бывшего будённовца-командира».

Автор называет имя и отчество человека, однако отчество это настолько редкое, что позволяет нам считать, что названным человеком был Змигродский Георгий Болеславович, 1881 года рождения, уроженец г. Кронштадта

Анкетные данные говорят, что он русский, из дворян, беспартийный, капитан 2-го ранга царского флота С лета 1914 года — участник Первой мировой войны, с 1918-го — вступил в ряды Красного Балтийского флота, участник Гражданской

войны. Затем техник завода «Электроприбор», проживал в Ленинграде. Арестован 8 марта 1935 года и осуждён как «социально опасный элемент» на 5 лет ссылки. Отбывал срок в Оренбурге. Арестован вторично 23 июля 1937 года и расстрелян.

Можно предположить, что второй муж матери Ефремова носил фамилию Змигродский. Зная его судьбу, понимаешь отсутствие упоминания о фамилии. Очевидно, под его руководством Иван Антонович увлёкся механикой, учился управлять различными видами автомашин, что пригодилось ему в экспедициях.

В рассказе «Сахавет» действие происходит в посёлке Такыр-Ачинохо. Этот же посёлок фигурирует в рассказе «Белый Рог». Мы можем заключить, что действие рассказа «Белый Рог» происходит в районе Кетменского хребта. Подобных параллелей этих биографических рассказов с творчеством Ефремова множество, и описать их — дело литературоведческих исследований.

Жизнь Ефремова настолько богата событиями и многогранна, что по ней можно было бы создать серию приключенческих романов: научные экспедиции, раскопки, плавание по Охотскому морю, встречи с представителями коренных народов исследуемых земель — уже одно это даёт

богатейший материал, который заинтересует историков, этнографов, биографов.

В данном случае автор сам открывает для нас множество подробностей своей жизни.

Иван Антонович родился в посёлке Вырица 23 (согласно современным изысканиям генеалога рода Ефремовых А. Степанова) апреля 1908 года. Позже в документах он указывал в качестве даты рождения 22 апреля 1907 года. В рассказах он пишет о своём возрасте, отталкиваясь от даты, зафиксированной в его документах советского времени. Следовательно, при упоминании о возрасте надо учитывать реальную дату рождения, подтверждённую архивными документами.

Время в рассказах предстаёт живым, объёмным, наполненным характерными деталями, которые обычно проходят мимо внимания, но дают живую картину. Особенности быта Петрограда и Москвы, далёкого Хабаровска, маленького Никольска и заштатного Лальска, районов Дальнего Востока, забайкальской тайги, Русского Севера, Киргизии, Казахстана, острые замечания о времени и людях, определяющих его ход, — всё это описано точно и ёмко, настолько, насколько это необходимо для раскрытия главной темы, без стремления что-либо приукрасить или пре-

увеличить.

Эротические ситуации вписаны в широкий историко-культурный контекст.

О себе автор пишет ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы читатель понимал контекст истории. Главное его внимание как искателя красоты сосредоточено на героинях рассказов. Мы видим их через двойную призму: автор пытается показать их такими, какими он воспринимал их в соответствующем возрасте, и такими, какими он осмысляет их поведение, будучи зрелым человеком.

Так, в рассказе «Старуха» встреча в Лальске показана глазами молодого человека, стремящегося к научным открытиям, которого лишь случай задержал в незнакомом маленьком городе. Но последние строки рассказа выводят анализ ситуации на совершенно новый зрелый уровень.

Мы узнаём не только о физических особенностях женщин, их фигурах и лицах, но и о душевных качествах, о том, как они воспринимают и переживают противоречия существующего мира. Вот эта направленность внимания героя-рассказчика не на себя и свои чувства, но на внутренний мир женщины делает этот цикл уникальным в своём роде.

Только в рассказе «Тамара», посвящённом событиям 1931 года, Ефремов пишет о своём состоянии после расставания с женщиной:

«И я как будто утратил свою силу — похудевший, вялый и безразличный, хоть и честно довёл до конца работу, но с утратой интереса. И ведьмина близость не прошла мне даром — я мало интересовался женщинами довольно долгий период (как после Люды).

И испуганный этим, я поспешил жениться, но неудачно — брак был недолог, хотя мне встретилась очень хорошая девушка, но — я был отравлен страстью ведьмы. Так и после — второй брак — тоже был отмечен отравой — таково было долгое возмездие Эроса».

Первой женой Ефремова была Ксения Свитальская, дочь геолога Николая Игнатьевича Свитальского, вице-президента Академии УН СССР, расстрелянного в 1937 году. Надо отметить, что большую часть 1932, 1933 и 1934 годов — время первого брака — Ефремов провёл в экспедициях в низовьях Амура и в Забайкалье.

В 1935 году Палеонтологический институт АН СССР вместе со всей Академий наук переехал в Москву. Ефремов как его сотрудник вскоре тоже должен был перебраться в Москву — уже будучи

женатым на Елене Дометьевне Конжуковой.

Елена Дометьевна, на шесть лет старше, была уже сложившимся учёным-биологом на момент встречи с Ефремовым, но под его влиянием перешла в палеонтологию, в 1935 году получила звание кандидата биологических наук по совокупности научных работ. В 1936 году родился сын Аллан. Семья получила квартиру в Москве, в Спасоглинищевском переулке, в доме № 8, куда поселились многие сотрудники ПИНа. Там семья жила до войны, оттуда в 1941 году сначала Конжукова, а затем и Ефремов уехали в Экспедицию особого назначения Наркомата обороны, откуда сразу отправились в эвакуацию. Вернулись они вновь в Москву, в Спасоглинищевский переулок.

Жильцы дома № 8, представителем которых стала Ольга Леонидовна Грачёва, внучка геолога профессора Ивана Александровича Преображенского, ходатайствовали об увековечении памяти Ефремова. В 2017 году на здании установлена мемориальная доска, выполненная безвозмездно скульптором Иваном Владимировичем Коржевым.

Елена Дометьевна была редкой женщиной. Широко образованная, она интересовалась поэзией Серебряного века, музыкой, как учёный

постоянно работала в экспедициях Палеонтологического института. Её образ воплощён в рассказе «Белый Рог».

Вероятно, этот брак воспринимался ими как товарищество: они работали в одной сфере, поддерживали друг друга как учёные. Очевидно, Конжукова в целом знала о любовных историях Ефремова.

В 1952 году во время первомайской демонстрации Ефремов среди сотрудников института увидел невысокую молодую женщину. Раньше ему не приходилось её встречать: её рабочее место машинистки размещалось в подвальном помещении. Он предложил ей встретиться. Развитие этой истории мы можем проследить с лета 1952 года в первых адресованных ей письмах.

Здесь мы замечаем несоответствие в датах. Рассказ «Последняя богиня», действие которого происходит в Коктебеле, Ефремов датирует пятидесятым годом. В нём он пишет: «Я думал о той на редкость симпатичной маленькой девушке, образ которой, несмотря на разницу в возрасте, тогда казавшуюся мне огромной и невосполнимой, упорно не хотел покидать меня...»

Вероятно, речь идёт именно о Таисии Юхневской. Но встреча с ней состоялась позже.

Возможно, автор намеренно сместил события к более раннему сроку.

Оставаясь де-юре мужем Елены Дометьевны, с 1955 года, когда Ефремову пришлось оформить инвалидность, он де-факто жил с Таисией Иосифовной, подолгу снимая дачу и приезжая в Москву ради решения деловых вопросов, связанных с палеонтологией или изданием новых книг.

В начале 1961 года Елена Дометьевна тяжело заболела Иван Антонович вместе с Таисией Иосифовной самоотверженно ухаживали за ней. Елена Дометьевна умерла в августе 1961 года

В 1962 году Ефремов зарегистрировал брак с Таисией Иосифовной Юхневской, вместе они получили новую квартиру на улице Губкина Официально как супруги они прожили десять лет. Таисия Иосифовна была и секретарём, и сиделкой, и радушной хозяйкой. Она пережила мужа на сорок семь лет, уйдя из жизни в ноябре 2019 года Почти полвека она сохраняла в неприкосновенности библиотеку и архив Ефремова, в котором находились среди прочих документов рукопись «Women in my life» и письма, адресованные ей самой.

В этой книге впервые публикуются 25 писем

Ефремова, адресованных Таисии Иосифовне, 3 письма, написанных Марии Фёдоровне Лукьяновой, старейшему сотруднику и верному другу, и одна телеграмма, отправленная из Пекина в Москву. Дополняют впечатление три письма Таисии Иосифовны, адресованные Ефремову.

Завершает второй раздел книги фрагмент «Огромные заиндевелые берёзы...». Один текст в двух вариантах был напечатан на отдельном листке. Возможно, он был написан в 1958 году в феврале, когда Ефремов находился в санатории «Узкое». Это попытка запечатлеть в слове ощущение зимы и встречи с любимой женщиной. Отрывок ценен и тем, что текст имеет два варианта: мы можем видеть, как Ефремов работает над словом.

В 1966 году, когда состояние здоровья писателя стало критическим, он составил для Таисии Иосифовны на случай внезапной своей смерти свод советов, касающихся различных практических сторон жизни. Стараниями жены Иван Антонович прожил ещё шесть лет, за которые успел написать два романа: «Час Быка» и «Таис Афинская». Последний открывается посвящением: *«Т. И. Е. — теперь и всегда»*.

Ефремов на протяжении многих лет лично встречался и переписывался с Анатолием Фёдоровичем Бритиковым, исследователем советской фантастики, сотрудником Ленинградского «Пушкинского Дома» (ИРЛИ АН СССР). Ему адресовано письмо от 18 января 1965 года. Ефремов пишет:

«Глубокоуважаемый Анатолий Фёдорович! Большое Вам спасибо за сведения о Нагродской. Мне, право, совестно отнимать Ваше время, и знал бы я, что Вы сами этим займётесь, я бы не написал Вам этой просьбы. Неужели никто в Институте не занимается русской литературой 10-х годов? Она ведь чрезвычайно интересна по своему кризисному состоянию и спектру мышления. У нас в Ленинской[1] романы Нагродской раскрадены — ведь библиотеку здорово раскрали в первый год войны, не в пример ленинградцам, — и есть лишь архивные экземпляры, которые не выдаются на дом. Ходить их читать в Музей книги — того дело не стоит. Поэтому, если у Вас эти книги добыть сравнительно просто, я когда-нибудь на свободе попрошу у Вас, скажем, “Гнев Диониса” и “Бронзовую дверь”. Меня очень интересует именно эротичность Нагродской,

---

[1] Примечания: 1

Имеется в виду Библиотека им. В. И. Ленина, Москва.

так как я ищу корней современного * сексуального “потока” на Западе и считаю это явление социально-психологической закономерностью. А если так, то предшественники и провозвестники, от Пьера Луиса во Франции до нашей Нагродской, — интересны, так как по-своему отражают определённые психосдвиги. Мне надо проверить, действительно ли наша русская эротика здоровее и ближе к древнегреческим традициям, чем западная, унаследовавшая садистическую эротичность Рима»[2].

Евдокия Аполлоновна Нагродская (1866—1930), дочь Авдотьи Яковлевны Панаевой, стала знаменитой благодаря эротическому (с точки зрения начала XX века) роману «Гнев Диониса» (1910). Героиня его, писательница, замужняя, но внутренне независимая, от первого лица рассказывает о дорожном приключении, переросшем в страстное влечение. Её возлюбленный, прекрасный, как Дионис, испытывает по отношению к ней болезненную ревность и, узнав, что она беременна от него, требует, чтобы ребёнок принадлежал ему. Евдокия Аполлоновна исследует возникновение и развитие ревности и психоло-

[2] Примечания: 2

Переписка Ивана Антоновича Ефремова / Автор-составитель О. А. Ерёмина. — М.: Вече, 2016. С. 556.

гической зависимости, сравнивает спокойную устойчивую любовь-привязанность и внезапную любовь-страсть.

Следующий роман Нагродской «Бронзовая дверь» был запрещён цензурой и вышел в 1913 году под названием «У бронзовой двери» со значительными купюрами.

Ефремов упоминает французского писателя-модерниста Пьера Луиса (1870—1925). Его роман «Афродита — античные нравы» (1896) рисует жизнь праздных богачей и гетер в эпоху поздней Александрии (I век нашей эры), чувственную сторону этой жизни, погрязшей в роскоши и тонких наслаждениях, полную утомлённой тяги к смерти и забывшей, что такое подвиг. В центре внимания — судьба знаменитой гетеры, для которой крайне избыточное чувственное наслаждение перерастает в желание крови и чужих мучений. Неодухотворённый эрос разрушает личность.

Одним из редких персонажей, сохраняющих личность путём добровольной смерти, становится девушка-музыкант Родис. Именно этим именем Ефремов называет главную героиню своего романа «Час Быка».

Как «Звёздные короли» Гамильтона послужили материалом для идейной переработки и

выплавлению «Туманности Андромеды», так и роман Пьера Луиса послужил мощным толчком для нового осмысления эроса в «Часе Быка» и «Таис Афинской». Рассказы этой книги — одна из составных частей этого осмысления. Ефремов ставит женщину на высоту, не виданную прежде в русской литературе. Благодаря автобиографическим рассказам и письмам автора мы сможем не только точнее проследить линию его жизни, но и увидеть истоки тех женских образов, которые он создал в своих произведениях.

Кунико стала прообразом героини романа «Туманность Андромеды» историка Миико — девушки с раскосыми глазами и маленьким ртом. Дар Ветер и Миико вместе плавают в море: «С её жёстких смоляных волос скатывались крупные капли, а желтоватое смуглое тело под тонким слоем воды казалось зеленоватым».

Миико, потомок пловцов и ныряльщиков — собирателей жемчуга, прекрасно плавает. Нырнув в глубину возле тёмной, сходящейся аркой скалы, именно Миико обнаруживает на морском дне скульптуру коня.

Символично, что конь за тысячелетия нахождения на морском дне не покрылся ни ракушками, ни тиной, его не тронула коррозия. Образ можно

воспринимать как знак того чувства, которое испытывал автор к японской девушке Кунико.

Воспоминания об **амазонке** — женщине-враче из среднеазиатской больницы, безусловно, нашли своё воплощение в романе «Таис Афинская». Короткая встреча и ночная скачка по степи воплотились в сцене с военачальником Леонтиском и конём Боанергосом (глава восьмая). Таис впервые села на подобного коня:

«Восхищённая бегом иноходца, Таис обернулась, чтобы послать улыбку великим знатокам лошадей, и невольно крепче свела колени. Чуткий конь рванулся вперёд так, что афинянка откинулась назад, и ей пришлось на мгновение опереться рукой о круп лошади. Её сильно выступившая грудь как бы слилась в одном устремлении с вытянутой шеей иноходца и прядями длинной гривы. Волна свободно подвязанных чёрных волос заструилась по ветру над развевающимся веером хвостом рыжего коня. Такой навсегда осталась Таис в памяти Леонтиска».

Память о **Сахавет** воплотилась в четырнадцатой главе «Тайс Афинской», в описании танцовщиц храма Эриду:

«Из незаметной двери между слонами явились две девушки в одинаковых металлических

украшениях на смуглых гладкокожих телах... <...> лица их, неподвижные, как маски, с сильно раскосыми и узкими глазами, короткими носами и широкими полногубыми ртами, были похожи, как у близнецов. Похожими были и тела обеих странного сложения. Узкие плечи, тонкие руки, небольшие, дерзко поднятые груди, тонкий стан. Эта почти девичья хрупкость резко контрастировала с нижней половиной тела — массивной, с широкими и толстыми бёдрами, крепкими ногами, чуть-чуть лишь не переходящей в тяжёлую силу. Из объяснений старшего жреца эллины поняли, что эти девушки — из дальних восточных гор за рекой Песков. В них наиболее ярко выражена двойственность человека: небесно лёгкой верхней половины тела и массивной, исполненной тёмной земной силы нижней».

В рассказе «Вторая Люда» поражает вставная новелла о **Катьке-солдатке**, которую жестоко оскорбил дед Александр, напоивший её и воспользовавшийся её женской восприимчивостью. И подобное отношение вызывало поддержку и глумливые улыбки мужиков.

Ясное знание подобного отношения к женщине в русской крестьянской глубинке, которую изъездил Ефремов в своих экспедициях, отрази-

лось в романе «Лезвие бритвы» в образе Нюшки — Анны Столяровой, девушки из приволжской деревни, оказавшейся объектом издевательств и насмешек односельчан. Старик-паромщик объясняет это так: «Девка из себя особенная, такая стать нашего брата всегда манит. Чем шкурка красивей, тем охотники хитрей! Самые что ни на есть мастера по бабьему делу гоняться начинают. А молодость зелёная да кровь горячая, закружилась голова в ночку жаркую — и пропала девка, пошла в полюбовницы. Тут уж, что перед ней вились и стелились, в зверей оборотятся, рыло своё покажут. А уж бабьё-то, не дай бог, так срамят, ну прямо в гроб загонят безо всякой жалости!»

В этот же ряд встают издевательства бая и его сыновей над пленницей **Зиной-Зейнаб**, продажа юной **Сахавет** старому мужу.

В «Лезвии бритвы» устами Витаркананды Ефремов утверждает:

«Женщины всегда страдали больше мужчин. С тех пор как военные государства одержали верх над всеми другими формами общества, женщину лицемерно славили, а на деле гнали, презирали и угнетали, хотя бы за то, что она лучше, нежнее и открыта природе больше мужчины».

В «Часе Быка» о положении женщин раз-

мышляет главная героиня романа Фай Родис: «...благодаря этой самоотверженности, терпению и доброте распускались пышные цветы зла из робких бутонов начальной несдержанности и безволия. Более того, терпение и кротость женщин помогали мужчинам сносить тиранию и несправедливость общественного устройства. Унижаясь и холуйствуя перед вышестоящими, они потом вымещали свой позор на своей семье. Самые деспотические режимы подолгу существовали там, где женщины были наиболее угнетены и безответны: в мусульманских странах древнего мира, в Китае и Африке. Везде, где женщины были превращены в рабочую скотину, воспитанные ими дети оказывались невежественными и отсталыми дикарями».

Драматическая история **второй Люды** отразилась в романе «Лезвие бритвы», в его индийской части, в образах танцовщицы Тиллоттамы и скульптора Даярама. Главы, посвящённые истории этих героев, явились переработкой отдельного произведения, написанного ранее, в 1954 году, — это «Тамралипта и Тиллоттама», которую Ефремов задумывал как часть большой книги «Краса ненаглядная».

Полное напряжения повествование посвящено

возникновению любви и жгучей ревности, которая терзает героя-скульптора, искателя красоты, и заставляет его уединиться в одном из монастырей в Гималаях.

Автор описывает историю жизни и предательства, пережитого Тиллоттамой:

«Главный жрец, крупный, ещё не старый человек с жёстким лицом, был знакомым её возлюбленного, и оба мужчины долго беседовали о чём-то в вечер приезда. А ночью, после горячих объятий в скрытом уголке храма, её возлюбленный вышел напиться воды и... исчез. Вместо него к Тиллоттаме вошёл жрец. Он прильнул лицом к коленям обнажённой девушки, как это всегда делал её возлюбленный, и она пылко потянулась к нему. Внезапно Тиллоттама почувствовала обман, но было поздно. Опоясанная сильными руками, точно железной цепью, придавленная тяжёлым костистым телом, она не смогла противиться. Девушка не сразу поняла гнусное предательство своего возлюбленного, но, ошеломлённая, покорно отдавалась бешеной страсти жреца».

Душевная рана, полученная автором в 1927 году, оказалась так глубока, что спустя более чем четверть века он через литературное творчество

пытается заново прожить случившееся, выводя свои страдания на уровень осмысления и поиска путей выхода из ситуации. Молодой скульптор, глядя на танцы Тиллоттамы — воплощение его мечты о красоте, понял: «Твоё тело танцует и плачет о несбывшемся».

Автор, глубоко сострадая героине, рисует её чувства: «Вереница ночей, полных яростной страсти, в которых ослабевала, плавилась её воля, притуплялись стремления, когда жадные и презрительные руки овладевали её безупречным телом... Её телом, которое так любил художник, перед которым он склонялся, как перед божеством... Тиллоттама только сейчас почувствовала себя опороченной, ощутила, как трудно найти художнику воплощение своей мечты такой девушке, как она! В порыве безысходного горя девушка распростёрлась на плитах пола, всем сердцем моля, чтобы художник склонился над ней со словами утешения... <...> Но Тамралипта не склонился».

Ефремов-художник изучает этого страшного зверя — ревность, способного погрузить в безысходную пропасть, растерзать человека

Оказавшись случайным свидетелем страсти жреца и его девадази, художник испытывает му-

чения. И здесь автор пытается высказать в слове то, что мучило его самого:

«Сердце художника заныло от угрюмой тоски — ведь Тиллоттама шла на это добровольно. Никакого сопротивления, нет, больше того — грудь её часто дышала, глаза закатывались в податливой страсти... он просто глупец!»

Тамралипта находит путь в общении с мудрецом — ему он говорит, что не может любить Тиллоттаму, но не может и не любить. Учитель говорит скульптору о повязке Майи на глазах души, о необходимости восхождения — и о двойственной сущности человека:

«Дхритараштра взял высокий медный кувшин, конусом сужавшийся кверху, поставил на него плоскую чашку, а в чашку положил раскалённый уголь из жаровни.

— Но ты далёк от освобождения, хотя и стоишь на пути, — снова заговорил йог, указав на сооружение из кувшина и чаши, — это строение человеческой души давно известно и выражено священной формулой “Ом мани падме хум”. Лотос — это чаша с драгоценным огнём духа в ней... — гуру бросил на уголь щепотку каких-то зёрен. Из чашки взлетело облако ароматного дыма и растворилось в воздухе. — Вот так рождаются,

вспыхивают и, исчезая, возносятся вверх высокие помыслы, благородные стремления, порождённые огнём души... А внизу, под лотосом, — он показал на кувшин, — глубокое, очень глубокое и тёмное звериное основание души. Видишь, оно расширяется книзу и крепко прильнуло к земле всем своим дном. Такова душа твоя и любого человека — видишь, как мелка чаша лотоса и как глубок кувшин. Из этого древнего основания идут все тёмные, все неясные, порождённые миллионами лет слепого совершенствования помыслы и движения души. Чем сильнее огонь в чаше духа, тем скорее он очищает, переплавляет эти древние глубины души в своём стремлении ввысь, к совершенству. Но — великий закон двойственности — сильный огонь духа бывает в сильной душе, в которой также очень могучи, очень сильны зовы зверя, власть инстинкта. И если душа далека от освобождения, не прошла на пути столько, чтобы чаша лотоса стала глубокой, вот так, — гуру приложил ладони ребром к краям чаши, — тогда из глубины этой тёмной могучей древней души человека поднимается порой самое неожиданное, но столь сильное, что огонь в чаше не может его переплавить и даже угасает сам!»

Так и сам автор — спустя десятилетия возвращаясь к переживаниям юности, он углубляет и высветляет чашу духа через творчество, чтобы поток из недр существа не погасил священного пламени.

Мириам Нургалиева — имя героини рассказа Ефремова «Тень минувшего», опубликованного впервые в 1945 году. Действие происходит в Средней Азии. Автор так вводит девушку в ткань повествования, и его описание персонажа почти совпадает с описанием Мириам.

«Никитин, возвращаясь с позднего заседания, медленно шёл вдоль тихо шепчущего арыка. У домов, под густой листвой деревьев, стало темно.

Прямо перед ним выскользнула из тени аллеи, легко перескочила арык и пошла по дороге девушка в белом платье. Голые загорелые ноги почти сливались с почвой, и от этого казалось, что девушка плывёт по воздуху, не касаясь земли. Толстые тяжёлые косы, резко выделяясь на белой материи, тяжело лежали на её спине и спускались до бёдер своими распушившимися концами».

Палеонтологи собираются на местонахождение костей динозавров, и с ними вместе едет сотрудник Геологического управления:

«В слепящем ярком четырёхугольнике двери возник стройный чёрный силуэт, обведённый горящим ореолом по освещённому краю белого платья. Пришедшая слегка наклонилась, вглядываясь в полумрак комнаты, и перед Никитиным мелькнули вчерашние чёрные косы. Так вот о каком геологе говорил секретарь!»

Желание завоевать Мириам окрыляет учёного, придаёт ему сил в раскрытии тайны природы. В этом — кардинальное отличие вектора ефремовской любви: она не разбивает человека, не лишает его сил, напротив — эти силы придаёт. Герой уподобляется рыцарю, совершающему подвиги во имя прекрасной дамы. Но подвиг современного рыцаря — это не война и кровь, а созидание. Это научный, творческий подвиг, который современная женщина может оценить по достоинству. Так тёмная материя страсти трансформируется, поднимая человека к вершинам познания.

Следует подчеркнуть: в русской литературе нет примеров яркой и при том плодотворной страсти. Все они либо трагичны по причине отчуждённости человека от самого себя — ведь насыщающий таких людей романтизм по природе своей тяготеет к смерти («Гранатовый браслет»

Куприна), либо трагичны по причине социального отчуждения (Григорий Мелехов и Аксинья в «Тихом Доне» Шолохова). «Тёмные аллеи» Бунина, «Первая любовь» Тургенева и ряд других текстов или сюжетных линий в составе крупных произведений показывают с поразительной проникновенностью магнетизм эроса и... фатальность его бесплодия, принося героям лишь разочарование, бессилие и сломленность. Всё это, увы, типично для нашего общества и имеет главной причиной невежество, проистекающее от табуированности эроса и физической любви. Отсюда бедность языка, описывающего этот важнейший слой жизни, бросание в крайности — от нарочитой выхолощенной стыдливости в развязность и бравирование.

Неоднократно описывал это Мастер, подытоживая свой полувековой поиск, наиболее полно высказавшись в «Часе Быка»:

«Родис задумалась и сказала:

— Всему причиной сексуальная невоспитанность, порождающая Стрелу Аримана. Кстати, я слыхала про вашу лекцию об эротике Земли. Вы потерпели неудачу даже с врачами, а они должны были быть образованны в этом отношении.

— Да, жаль, — погрустнела Эвиза, — мне хо-

телось показать им власть над желанием, не приводящую к утрате сексуальных ощущений, а наоборот, к высотам страсти. Насколько она ярче и сильнее, если не волочиться на её поводке. Но что можно сделать, если у них, как говорила мне Чеди, всего одно слово для любви — для физического соединения и ещё десяток слов, считающихся бранью. И это о любви, для которой в языке Земли множество слов, не знаю сколько.

— Более пятисот, — ответила не задумываясь Родис, — триста — отмечающих оттенки страсти, и около полутора тысяч — описывающих человеческую красоту. А здесь, в книгах Торманса, я не нашла ничего, кроме убогих попыток описать, например, прекрасную любимую их бедным языком Все получаются похожими, утрачивается поэзия, ощущение тупится монотонными повторениями».

Воспоминания о встречах с женщинами, призванные продемонстрировать возможность осветления тёмных глубин человеческого естества, опасностей и преодолений половой любви стоят особняком в русской литературе, подобно тому как исключительна роль Ефремова в развитии русской словесности в других областях — описании далёкого космоса и возможных форм

жизни, геологического пейзажа родной планеты, введении на роль сопровождающего безличного персонажа художественного произведения творческой мысли в её становлении и развитии («приключения мысли»).

Могучая первобытная сила, заключённая в здоровом человеке, прорвётся наружу всё равно, ибо она и есть сама земная жизнь, но будет только искривлена доминирующими культурными установками. Не случаен глубокий интерес Ефремова к восточным любовным трактатам, структурирующим и направляющим эту энергию, дающим ей выразиться облагороженно и оплодотворить духовные чаяния, а также к эллинским представлениям о калокагатии и институту гетер, не имеющим аналогов в западном мире.

Конечно, для автора это был весьма непростой путь, ведь поиск необходимой формы самовыражения отнюдь не литературен, но рождён самой живой жизнью, реальными отношениями, возникающими спонтанно и поставленными в самые причудливые и сложные условия. Свидетельства его поразительны и лишний раз показывают нерушимые основания запечатлённого им позже в художественном слове. Ефремов знал жизнь от

и до, во всех её проявлениях, всегда можно быть уверенным: его слово произросло из глубокого понимания сути вещей и процессов, а не является маниловской грёзой оторванного от обыденной жизни профессора, специалиста по ископаемым ящерам.

Ивана Антоновича всегда интересовала и притягивала красота во всех её проявлениях. Красота в целом как наивысшая мера целесообразности и красота женская как наиболее выразительная, волнующая и рождающая любовь. Понять секрет, вызывающий в человеке чувство прекрасного, сподвигающий на поступок с большой буквы, вдохновляющий на неустанное творчество, — важнейшая сторона его размышлений и устремлений.

Автобиографические рассказы о женщинах — гимн красоте и любви. Гимн в античном значении — как обращение к высочайшему, находящемуся в мире божественного совершенства В мире людей совершенства нет, но есть отблески его. Концентрируя эти блики, Ефремов фокусировал их в световые столпы мудрого осознания и лазерные лучи диалектических формулировок, понимая мудрость как наилучшее сочетание разума и чувств. Стремление понять удивительные

встречи, дарованные ему судьбой, наполняет отточенное повествование. Автор много где был и очень много что видел. Его состояния и переживания, конечно, трудно понять современному городскому жителю, лишённому общения с грандиозными силами природы, лишённому уединения, необходимого для размышлений, да и самих размышлений, включающих в себя ландшафты неисчерпаемого многокрасочного мира, где каждая отдельная частица есть одновременно волна.

Многолетний труд-поиск в условиях на краю сил (вспомним ефремовскую констатацию: высшее счастье всегда на краю сил!), требующий неимоверного слитного напряжения тела, души и интеллекта, выявил, выточил, словно друзу кристалла, удивительный ефремовский дух. Дух, для которого красота женщины в известной мере противостояла красоте чисто природной, так как была одушевлённой, действующей, чувствующей. Человек — часть природы, но глубокое чувство и разум — то, что преодолевает природные циклы. И чисто природная, инстинктивная тяга к женщине недаром трансформируется в светлое чувство любви и неизменной благодарности. Вспомним восхищённое определение

статуи Тиллоттамы безвестным индийским ценителем: заря на цветке или цветок на заре, но несомненная заря!

Ефремов давал женщинам очень много — зёрна красоты, которые он собирал, вываивал во встреченных им красавицах, пытался переоткрыть и сообщал через танец любви. За то они его и любили. Отношение это изначально было не потребительское (чему свидетельством, например, игра в Гарун-аль-Рашида, после перенесённая в «Лезвие бритвы»), он помнил про всё, пытался заклясть в слове переживание реальности необычайного и тем — сохранить и охранить свою память. Значит — сделать достоянием всех людей, о чём и писал, показывая осознанность своей работы.

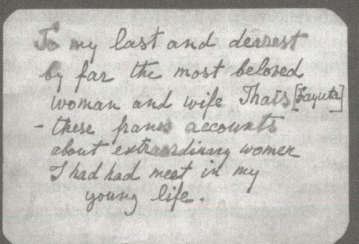
Иван Антонович чётко отделял похоть от страсти, понимал самую насущную необходимость для каждого человека понимать эти моменты и практически прикладывать их. Мерилом ответственности тогда становится качество духа, готовность к саморефлексии и пониманию того, на каком месте во внутреннем космосе ты находишься в данный момент, что тобой движет в том или ином порыве. Необходимо понимать, что корни ефремовской антропологии лежат

именно здесь. Отсюда и великая правда его персонажей, полных чувственной силы, исключительного здоровья, но не ограниченных этим, ибо если ты не растёшь внутренне, духовно, то и не сможешь достойно распорядиться здоровьем и чувственностью. Невозможно получить высшее наслаждение без подключения высшего регистра. Ефремов своим примером ясно показывает выбор: чёрная дыра биологии или тело как ножны духа.

С раннего возраста он познавал те тончайшие переходы, которые для большинства в лучшем случае являются недоступной грёзой, но которые и составляют важнейшую часть изначальной осевой природы человека и вехи перспективных путей его становления. Традиционная формальная мораль прежних закрытых сообществ на одной стороне, холодный пресыщенный биологизм, неизбежно приводящий к цинизму и апатии, — на другой стороне. Ефремов шёл высшей колесницей, превозмогающей монотонное качание маятника, показывая этим пример возможностей реальной жизни.

История поисков любви и глубокая благодарность ко всем женщинам, встретившимся, пусть и мимолётно, на этом пути, стремление запе-

чатлеть для других свой опыт — вот основная интенция рассказов, то, что двигало Ефремовым при их написании.


To my last and dearest
by far the most beloved
woman and wife That's [Fayette]
- these pages account's
about extraordinary women
I had had meet in my
young life.

Women in my life



To my last and dearest by far the most beloved woman
and wife Thais [Tayuta] –
these frank accounts about extraordinary women
I had meat in my young life*.

[3]

ОТ АВТОРА

Several extraordinary women in my life [most kindred and intimate excluded], from whome I learned so much.

I don't know who is living now and who passed away, but dedicate this trustful accounts to their lucid memory, pure and noble souls and beautiful bodies.[4]

Истории тринадцати[5] женщин, встреченных мною в жизни, вовсе не обнимают всего моего опыта, и все «оффициальные» близости здесь не упомянуты.

Записи эти сделаны вовсе не для доказательств

---

[3] Примечания: 3

"Моей последней и, безусловно, самой дорогой и любимой женщине и жене Таис (Таюте) — эти искренние истории об исключительных женщинах, которых я встретил в свои молодые годы." (Перевод А. И. Константинова.)

[4] Примечания: 4

Исключительные женщины в моей жизни (кроме наиболее родных и близких), у которых я так многому научился. Я не знаю, которые из них сейчас живы, а которые ушли, но я посвящаю эти правдивые истории светлым воспоминаниям о них, их чистых и благородных душах и прекрасных телах. (Перевод А. И. Константинова.)

[5] Примечания: 5

Автор пишет о тринадцати женщинах, хотя рассказов четырнадцать. Возможно, предисловие было написано, когда рассказов было ещё тринадцать.

моих доблестей или каких-либо особенных «побед». Точно так же, не для перечисления эротических качеств возлюбленных, хотя, конечно, без эротических характеристик обойтись было нельзя, да и зачем?

Но суть — в великой красоте Эроса, физической любви как сочетания красивых тел и, главное, в постепенном восхождении к чистым высотам пламенной страсти и постепенном поиске этой красоты, с годами становившимся всё более осознанным.

Встречи, описания здесь отобраны именно по этому признаку — каждая из возлюбленных, которая дала мне очередное посвящение Афродиты и подняла от животного желания к человеческой страсти, как орудие взлёта духовных и физических сил или просто чистого и благородного порыва к красоте, счастью и помощи своей подруге. Поэтому здесь упомянуты и более или менее долгие связи, и очень короткие — но те, которые подходят под определение служения и восхождения с 16 лет моей жизни. Но когда прежде, до встречи с Т.[6], я «временами не справясь с тоскою и не в силах смотреть и дышать, я глаза закрываю

[6] Примечания: 6

Юхневская Таисия Иосифовна (1926—2019), в замужестве Ефремова - третья жена И. А. Ефремова.

рукою, о тебе начинаю мечтать»[7] — когда приходило такое настроение, то из всех тринадцати мечталось о Кунико и Мириам. Почему? Из-за краткости или обречённости на разлуку? Из-за трагического обрыва и невозможности обрести снова? Не знаю.

Эти тринадцать говорят о великом разнообразии красоты и безконечных возможностях любви, если встречаются двое, оба мечтающие о чём-то высоком в жизни и страсти, о Галатее, Афродите или царице фей, даже Цирцее, которая не страшна ищущим красоту.

Может быть, эти отрадные и откровенные записи покажут идущим позади в потоке времени всё величие и неисчерпаемость физической любви. Если они будут чуткими, осторожными и обязательно добрыми, будут следовать древней мудрости Эроса, то всё это и ещё гораздо больше будет возможно для них.

Ведь то, что описано здесь, произошло в бедные, но светлые, почти нищенские годы начала советской власти, затем в трудные периоды первых пятилеток, в страшную войну и годы опасной для

---

[7] Примечания: 7

Цитата из стихотворения Н. С. Гумилёва «Девочка» (1917): Временами, не справясь с тоскою И не в силах смотреть и дышать, Я, глаза закрывая рукою, О тебе начинаю мечтать.

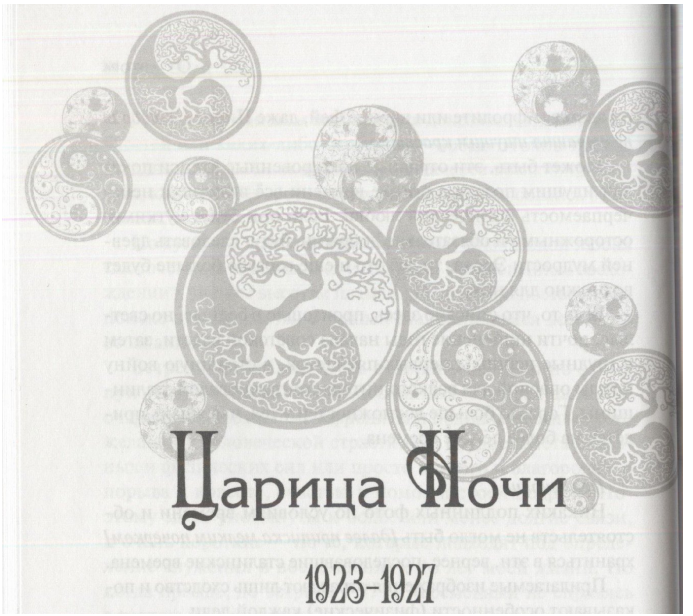
всякого интеллигента кровавой сталинщины. Гораздо больше возможностей у тех, чья жизнь придётся на более лёгкие времена.

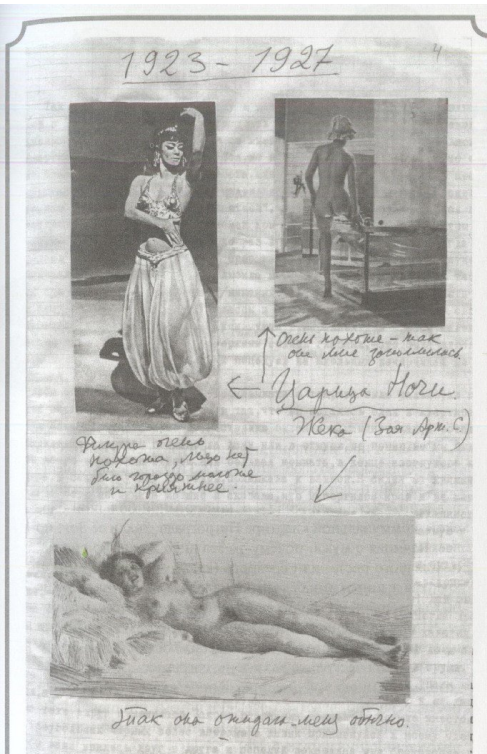
Примечание.

Никаких подлинных фото по условиям времени и обстоятельств не могло быть *[далее приписка мелким почерком]* храниться в эти, вернее, последовавшие сталинские времена.

Прилагаемые изображения отражают лишь сходство и показывают особенности (физические) каждой леди.

Наиболее соответствуют (некоторые почти точно, т.к. искались многие годы) изображения Лизы, Люды и Мириам, одно маленькое для Л.М.


Царица Ночи
1923-1927



Очень похоже – так она мне запомнилась.
Царица Ночи. Жека (Зоя Арт. С.).
Фигура очень похожа, лицо нет, было гораздо моложе и приятнее.
Так она ожидала меня обычно

Так я прозвал первую женщину в моей жизни. Она стала моей возлюбленной в 1923 году. Мне было шестнадцать лет, а ей — двадцать три. Она была женой радиоинженера С. и жила в одной со мной большой барской, коммунальной квартире Петрограда. Звали её Зоя, но все, начиная с мужа, почему-то звали её Жека. Брюнетка, небольшого роста, или среднего (как-то неточно помню), крепкая, с широкими бёдрами и маленькими ногами, она не была красивой, но то, что раньше называлось «пикантной».

Я тогда усиленно занимался гимнастикой, подолгу жил в нетопленой комнате и повесил вместо люстры канат, по которому лазил несколько раз в день, согреваясь. Жека иногда возилась со мною, как девчонка, и просыпавшаяся сексуальность, вероятно, чувствовалась ею, потому что она любила меня дразнить и выдумывать небылицы про мои мнимые похождения (никаких не было).

Я учился в школе и плюс к тому сдавал за мореходные классы и, хотя был влюблён в сестру своего одноклассника

Настю Малышеву, учившуюся в параллельном классе, маленькую, очень пышногрудую брюнетку с яркими синими глазами, — это была

влюблённость детская, дальше одного-двух поцелуев на школьных вечеринках не пошедшая.

Чтобы быть кратким, не буду рассказывать о том, что было раньше, но поздней весной 1923 года случилось так, что мы остались одни в квартире. Муж Жеки, гораздо старше её, постоянно бывал в командировках, а остальное население квартиры поехало на дачу или в отпуск, не помню, но мы были из всего населения вдвоём. Моя большая комната в конце изогнутого коридора, в самой глубине квартиры, примыкала к ванной.

Я сидел за книжкой, когда Жека постучала ко мне и сказала, что испортился кран и не могу ли я что-нибудь сделать (уже тогда я слыл в квартире умелым механиком). Я пришёл с клещами в жаркую, нагретую колонкой (дровяной) ванную и в мгновение ока подвинтил пропускавший воду сальник. Жека в тонком халатике рассмеялась:

— Как просто, это и я смогла бы сделать!

— Может быть, — усмехнулся я, — теперь, когда всё уже сделано.

— Дай клещи! — вскричала она. — Я откручу и закручу снова.

— Зачем?

— Чтобы доказать тебе! Дай сюда!

Она стала отнимать инструмент, я поднял руки,

чтобы она не смогла достать, но Жека продолжала возиться, потянулась высоко ко мне. Её халатик распахнулся, и нагое тело коснулось меня (я из-за тёплой летней ночи был всего лишь в трусиках), её груди прижались к моей обнажённой груди. Что-то необычайное, кружащее голову, случилось со мной. Клещи упали на пол, а я крепко прижал Жеку к себе, инстинктивно склонившись к её лицу. Она тоже вдруг изменилась. Закрыв глаза, она прильнула ко мне животом, и треугольник чёрных волос впервые в жизни прикоснулся к моему члену. Губы наши впились друг в друга, и поцелуй показался мне бесконечно глубоким — как в опьяняющую глубину, но на мгновение, в которое перестало биться сердце. Жека вырвалась, задыхаясь, запахнула халатик и долго смотрела пристально и, как мне показалось, с укором. Потом, вдруг не стесняясь наготы, обняла меня за шею, шепнула:

— Я думала, ты мальчик, ребёнок, а ты, оказывается, уже мужчина! — поцеловала рывком и оттолкнула — иди, иди...

Мне почему-то стало очень стыдно слова «мужчина», я и до сих пор не люблю слов, оканчивающихся на «-щина», может быть, из-за грубости звучания. А тогда это «мужчина» очень резануло

меня, и я как свалился с небес на землю, и ушёл в свою комнату, где улёгся в постель, долго стараясь сдержать колотившееся сердце и нервное напряжение. Может быть, я бессознательно ожидал, что Жека, приняв ванну, вдруг войдёт ко мне, и тогда произойдёт нечто совсем невероятное и неиспытанное.

Судьба не принесла мне этого дара, а заставила, как всё в моей жизни, взять его. Давно утихла возня Жеки в ванной, она ушла к себе, летняя ночь была тиха в пустой квартире...

Внезапно я перестал колебаться. Я решил сам пойти к Жеке. Однако, по тем моим летам, мне казалось ужасным позором, если я приду, а дверь будет заперта и меня, мальчишку, вовсе никто и не ждёт, а только чтобы посмеяться над незрелым щенком был этот многозначительный взгляд и жаркое объятие. Я подумал, что, подойдя к её двери, я только попробую ручку.

В тогдашних петроградских квартирах везде были медные ручки с защёлками, и, чтобы открыть незапертую дверь, надо было нажать на ручку вниз. Неслышно я покрался к двери Жеки, послушал — ни звука. Медленно, медленно я нажал на ручку, и дверь бесшумно раскрылась. В неполной летней темноте я разглядел Жеку, ле-

жавшую на кровати под лёгким одеялом. Затаив дыхание, но с бешено бьющимся сердцем я сделал два шага вперёд. Жека приподняла чёрную голову и прошептала, как бы опасаясь разбудить кого-нибудь:

— Запри дверь.

Всё дальнейшее произошло как в тумане. Я запер дверь на ключ и едва подошёл к кровати, как Жека отбросила одеяло. Я на секунду замер при виде её наготы, но она приподнялась, притянула к себе за руку, и я оказался с ней рядом, крепко обвитый душистыми руками. Трудно, а вернее, и невозможно вспомнить последовательность происшедшего. Впервые я почувствовал под собой женское тело одновременно с кружившими голову поцелуями. Почувствовал, как лёгкими изгибистыми движениями оно как бы вливается в моё, становясь всё ближе, всё прекраснее и всё желаннее. Я не запомнил даже, какое впечатление было у меня от форм тела, разве что груди, неописуемо нежные, упругие, но и не очень твёрдые, волшебной формы, с маленькими сосками, которые Жека заставила меня поцеловать по очереди. В целом же всё было как сияние волшебного ощущения какого-то единения со всем миром, чувство многогранной и всесторонней

теплоты, нежности и счастья, какого я никогда в жизни не испытывал, в особенности в моей не очень лёгкой и не очень-то нежной юности. Мне показалось на миг, что, может быть, так умирают, и вовсе не страшно, пусть больше ничего не будет, этого достаточно на всю жизнь.

Пожалуй, я не воспринял даже тело Жеки, как-то особенное и странное, каким я запомнил хорошо, навсегда, во всех подробностях тело моей юной гувернантки в Бердянске в 1916 году, которая приходила ко мне ночью нагая, чтобы я целовал её груди, плечи, живот и бёдра. Я не помню её имени и даже лица, кроме того, что она была очень юной и свежей, но прекрасное её тело — она была великолепного, крепкого сложения — с гладкой бархатистой кожей в 18 лет (ей столько и было!) осталось накрепко врезанным в мою память и впоследствии очень помогло в правильном восприятии женской красоты.

А Жека мне показалась скорее сотканной из чего-то неземного, пламенного, удивительно нежного... пока, пока, крепко обвитый её ногами, я не почувствовал, что вхожу в неё, в горячую и влажную глубину её женского существа, и это — предельно напряжённо, привлекательно и чудесно... всего несколько мгновений показалось

мне так, а затем естественный конец, под громкий вздох Жеки, сбросил меня с неба на землю.

Почему-то сразу стало очень стыдно. Всё кончилось как-то чудовищно не так, как нужно, и я, как в чём-то испачканный, отпрянул от Жеки. Угасло очарование, исчезло волшебство, осталась горечь стыда, что я нарушил нечто очень запретное, совершил постыдное дело и теперь навсегда утратил то, что притягивало меня в девушках, в красоте женщин. На счастье, Жека оказалась умной и чуткой. Понимая моё состояние, она отвернулась к стене и тихо сказала — иди теперь. Но приходи завтра сразу, не заставляй ждать долго.

Я прижал трусы к животу, ещё влажному от нас обоих, и поспешил в свою комнату, решив про себя, что я никогда больше не то что приду к Жеке, но и не посмотрю на неё от стыда. Завтра утром мне нельзя будет показаться людям — все увидят, какой я падший.

Уснул я, однако, мгновенно, но проснулся с тем же гнетущим чувством стыда и преступления против какого-то неизвестного божества, может быть, самой Красоты. Действительно, сначала мне казалось, что все поглядывают знающе и осуждают, будто на лбу у меня написано моё падение. А потом я как-то забыл об этом, однако,

вернувшись домой, старался не встретиться с Жекой в квартире. Она не зашла ко мне, и так наступил вечер. Я слышал стук её каблучков по пути на кухню, затем всё стихло. Я улёгся в постель, почему-то чутко прислушиваясь, и вдруг снова начала дрожать внутри могучая тяга к Жеке, опять переливчатой сетью ощущения необычайного и радостного стало стягиваться сознание. Мои терзания и стыд показались мелкими, смешными перед тайной женщины, перед невероятно сильными ощущениями, проникавшими в самую глубину моего существа от одного лишь прикосновения, поцелуя, изгиба гладкого и нежного тела.

Все решения больше никогда не переступить заветного порога рассыпались прахом, и я, как хищник в ночи, прокрался к двери Жеки и нажал ручку. Незапертая дверь отворилась, как и вчера, беззвучно. Прикрыв дверь, я замер, колеблясь, запирать или не запирать.

Жека негромко, но и не шёпотом сказала:

— Милый, иди.

Впервые женщина назвала меня так, вкладывая в это слово тот нежный оттенок призыва и ласки, с каким обращаются к возлюбленному. Снова красочная сеть удивительных чувств накрыла

меня с головой, и, как во сне, я приблизился к постели. И снова Жека отбросила одеяло и сильно привлекла меня к себе. Некоторое время мы лежали без слов и движенья, просто льня тело к телу. Потом, в поцелуях и жарком шёпоте, Жека раскрыла мне объятия своих стройных ног, и я уже знал, чего ожидать. Хотя вместе с концом снова явилось ощущенье падения, чего-то недостойно обрывающего великолепную сказку женского тела, желания, очарования, на этот раз я не ушёл, и Жека не отпустила меня. Скоро начался второй раз, за ним и третий — я ещё не умел многого и не вошёл в свою способность подолгу продолжать сочетание. Но этот второй вечер, вернее, почти вся ночь открыла собою целый ряд ночей, когда я всё больше и больше учился «быть мужчиной» — ненавистное мне слово. Прежде всего — быть активным участником страсти, используя свой член для то медленных, то быстрых и резких движений. Играть в очаровательную любовную игру поцелуев и объятий, наслаждаясь всей гибкостью, нежностью и красотой женского тела. Не быть животным, стремящимся избавиться как можно скорее от тёмной и непонятной власти желания, а человеком, для которого желание — лишь побудительная причина к наслаждению

красотой и тайной двойного сочетания.

Жека очень быстро приходила в экстаз. Её йони становилась влажной и после одного-двух раз как бы растоплялась в жаре страсти, становилась горячей, нежной и глубокой и как бы втягивала меня в самую глубь, податливо уступая каждому порыву. Я не знал, что это — скорее особенность, чем правило, и понял это только позже, с другими возлюбленными, тугие йони которых делались всё туже и неуступчивее с каждым разом, может быть, усиливая наслаждение, но и заставляя их вскрикивать и стонать в последние разы не меньше, чем сначала.

Жека не вскрикивала — вероятно, я и не был достаточно силён для полного соответствия её страсти. Она только часто дышала, а в моменты особенного наслаждения слабо стонала, полу-вздохом-полустоном.

Но всё это пришло потом, а пока я пробыл у неё до рассвета, и она стала моей несколько раз — ещё неумелых, но всё более сильных.

И я вернулся к себе уже без чувства падения и оскорбления мечты, хотя по-прежнему в душе жила ещё глубокая утрата того, что, казалось, должно было притти от женщины, наполнить меня счастьем и светом и резко переменить всю

жизнь. С каждым разом это чувство несбывшейся легенды утрачивалось, мельчало и наконец отошло совсем.

Вдвоём в опустелой квартире... У нас с Жекой начался настоящий медовый месяц, даже два, потому что жильцы начали собираться лишь к осени с дач и летних поездок. Днём я ходил на работу (временная работа по разборке какого-то архива торгового мореплавания). Жека не соглашалась приходить ко мне или пускать меня к себе днём, — только ночью, только в темноте, и, хотя ночи стали белыми, она задёргивала шторы (и всё равно было достаточно светло). Я уже не ожидал, что мне вот-вот откроется нечто неслыханно прекрасное (очевидно, идеальное состояние человека было бы именно в момент такого взлёта первой страсти), несказанно великолепное. Но постепенно всё великолепнее становилось наслаждение страстью, ароматом, поцелуями и всем слиянием обоих юных (ибо и Жеке-то было всего двадцать три — двадцать четыре года, хоть и казалась она мне уже «дамой») тел. Ушло навсегда колдовство сказочных ожиданий, пришло живое и пламенное колдовство подлинной страсти.

Жека многого сама не умела, но меня она не стыдилась и, уча, училась сама. И наконец, когда

я научился замедлению и размеренности полных движений моего линга (Жеке особенно нравилось то, что я подвергся операции обрезания — это было модно в десятых годах нашего века: ей казалось, что так сильнее действует на неё мой член) и начала проявляться природная половая сила долгого сочетания, Жека однажды вдруг со вскриками стала неистово извиваться, закидывая ноги. Я ещё не знал, что так у ней выражается полный оргазм, и даже чуть встревожился. Но она через минуту, лёжа с пылающими, как никогда ещё, щеками, шептала мне, что из-за меня многие женщины будут плакать.

Два месяца промелькнули очень быстро, и, когда вернулись соседи по квартире, приехал и Жекин муж, наши встречи приняли редкий, но ещё более обострённый опасностью характер.

Жека достала где-то японский альбом с разными позами, но тут выяснилось, что она так же, как и я, многого не умеет. Например, ей очень хотелось отдаваться, сидя на мне верхом, но ничего не получалось, пока я не сообразил простую вещь — надо было начать с обычной позы, а потом перевернуться и продолжать в новой позиции. Это привело Жеку в восторг, и она принялась фантазировать на разные лады. То просила вначале

мучить её, прикасаясь только кончиком линга к её ждущим и увлажнившимся «губам». То устраивала «поцелуйные ночи», когда запрещалось её брать до конца, а лишь мучить и мучиться самому в бешенстве обряда поцелуев от губ до ног и опять обратно, со спины и с живота.

Иногда ей приходила фантазия стать рабыней у старого паши. Это я исполнял, немилосердно мня её груди и бёдра, кусая губы и плечи, пока с криком «Больше не могу!» она не обвивала меня ногами, извиваясь со стонами так, что потом, стыдясь, отворачивалась от меня, говоря, что ей стыдно за своё поведение. Иногда вечер (вернее, ночь) «рабыни» заключалась в том, что я связывал ей руки полотенцем и клал задом на очень высокую подушку (или подушки) так, что голова её оказывалась далеко внизу, а я вонзал линга сверху, в самую её глубь, и потом она тоже стыдилась своих извиваний и криков. То она принимала меня в чулках, поясе, туфельках и кружевных панталончиках, которые я должен был бешено срывать.

Фантазия Жеки стала понемногу истощаться. Ещё прошли несколько ночей, в которых она завязывала себе глаза и просила быть с ней жестоким в страсти (это у меня не получалось) или

упорно не позволяла целовать её, а только брать сзади — это она называла «ночами кобылицы».

Когда всё же сплетни стали распространяться про нас и женщины в квартире заняли открыто враждебную Жеке позицию, ей пришлось съехать с квартиры. Она устроилась в очень уютном доме на той же улице Рубинштейна (Троицкой), поближе к Невскому, с маленькими квартирами. Мы отпраздновали ночь на новом месте тем, что Жека танцевала нагой, в одних лодочках-туфельках, замысловатое танго под музыку ещё только что начавшего привозиться из заграницы портативного патефона «Виктролы».

А вскоре и я получил чудесную квартирку на Каменноостровском 71/73, на верхнем этаже, из двух маленьких комнат. Это был предел мечтания, и с моей точки зрения — совершенная заграница (по тогдашним кинофильмам). Но это я сильно забегаю вперед.

Осенью 1923 года я поехал в Вырицу, чтобы помочь отцу в уборке картофельного урожая и раскорчевать поле под капусту.

Зимой, оставаясь возлюбленным Жеки, я кончал школу и мореходные классы, а весной уехал надолго в плаванье во Владивосток. Вернувшись домой, я не застал там Жеки, и женщины квар-

тиры со злорадством сообщили мне, что «Зоя Артемьевна изволила съехать после всего, что натворила... и как ей только муж прощает!».

От дальнейших вопросов я воздержался, а нашёл Жеку. Хотя я и тосковал по своей Кунико, всё же не настолько сильно, чтобы отказаться от всегда готовой Жеки. Я привёз из плавания, как и все матросы нашего корабля, японское железное кольцо (по размеру своего линга) с закругленными выступами. Первая же проба оказала на Жеку сильное действие, настолько сильное, что она потом стеснялась поднять на меня глаза и вспыхивала при одном воспоминании, что она, замужняя женщина, могла впасть в такой экстаз, как девчонка, вьющаяся под искусным любовником без отдыха в порывах и стонах.

Но встречи, естественно, стали реже — я был уже взрослее и занятее, кроме того, мне всё больше хотелось пойти на прогулку, в театр, кино, музей с интересной и милой сердцу спутницей. Нарастало сожаление и нечто вроде обиды, что меня стыдятся, что ли, что я приемлем только ночью — в этом Жека была непреклонна и ни разу не пошла на улицу со мною.

У меня стали появляться другие девушки, может, и не обязательно любовницы, но альянс с

Жекой, всё прощавшей, со всем соглашавшейся и всегда готовой возобновить отношения без всяких упрёков и напоминаний, был для меня очень удобен и спокоен. Вот почему я неизменно возвращался к ней на протяжении почти четырёх лет — до 1927 года, появления Люды и первой настоящей любовной катастрофы.

В 1925 году была оригинальная девушка — Лиза, в 1926 — и Зина (Зейнаб), и Е. П. М., но я обязательно после расставания с ними по разным причинам возвращался к Жеке. Так и не знаю, были ли у неё ещё любовники, кроме меня, — ведь надо же ей с кем-нибудь встречаться и днём, не стесняясь мальчишки, каким я оставался внешне (и каким, она хорошо знала, я вовсе не являюсь по ночам). Мой зелёный мальчишеский вид с 1926 года, даже раньше, после 1925-го — морского плавания на Каспии уже исчез, но всё равно, очевидно, в глазах Зои Артемьевны я был не подлежащим обнародованию любовником. И однако я её вполне устраивал, так как меня она не стыдилась, пройдя вместе большой путь в страсти, я готов был исполнить все её прихоти и ничего не требовал от неё, чего требовал бы взрослый возлюбленный.

Претензий у меня не было, ибо она по-преж-

нему оставалась для меня первой женщиной, открывшей мне храм своего тела и тайну половой любви. Это волшебство поблекло лишь после настоящей влюблённости и настоящей страсти с Людой О.

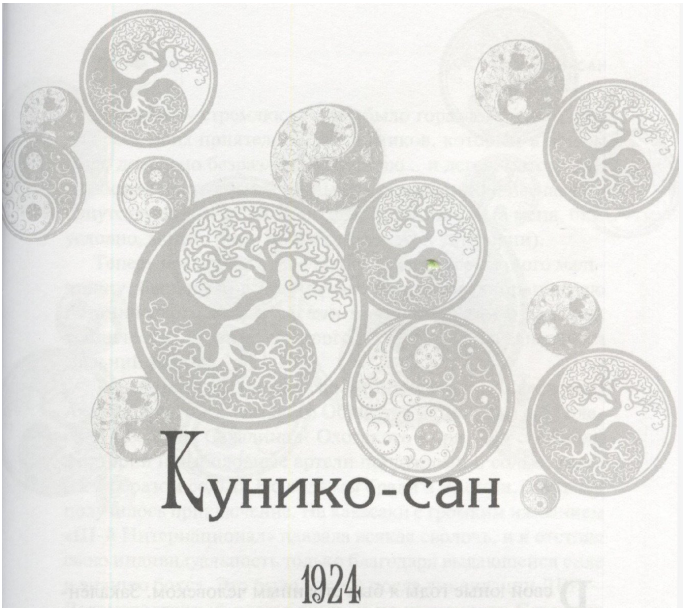
Для меня Царица Ночи сыграла двоякую роль, как, впрочем, всё двояко в нашем диалектичном мире. Я лишился всех цветов первых влюблённостей, долгих месяцев захватывающего очарования малейших приближений к возлюбленной, столь же юной, как и сам. С тех пор, как появилась во всей своей силе Царица Ночи, я перестал влюбляться и ухаживать за своими сверстницами, как то должно бы было быть в шестнадцать лет. «Скользящие» связи с двумя-тремя взрослыми и опытными девушками не оставили во мне заметных следов, а в основе имело место всегда возвращение к Жеке.

С другой стороны, при явно сильной моей сексуальности благодаря Жеке я избег тысячи неприятностей, осложнений от неопытной связи, иногда переходящей в никуда не годный ранний брак, как, вероятно, могло получиться бы с любой моей ровесницей.

У меня никаких неприятных воспоминаний о Зое-Жеке, наоборот, эта первая женщина, учив-

шая меня тактично и умно, обладавшая всем, что нужно желанной женщине, юной и темпераментной, навсегда оставила во мне чувство благодарности, чистого и тёплого напоминания о первых переживаниях моих как мужчины, возлюбленного и человека, с юных лет тянувшегося к красоте женщины, её тела, прекрасного в физической любви. Его, этого чувства, достаётся обычно очень мало на долю простых смертных, и я могу себя считать избранником Афродиты за всё то, что случалось со мной в служении ей.

И немалая доля в этом — ранний опыт, который дала мне Жека — пусть будет ей хорошо в жизни, если она ещё на этой земле, или за пределами нашего мира, если она ушла.



В свои юные годы я был странным человеком. Закалённый во всех невзгодах, не по годам возмужалый и сильный, с железными мышцами записного грузчика и с совершенно детской жаждой прекрасного и необычайного. Рановато начались и мои любовные истории — в шестнадцать лет я был возлюбленным двадцатитрёхлетней жены инженера и одной юной женщины странного происхождения и поведения. В десять лет моя

девятнадцатилетняя гувернантка приходила ко мне по ночам нагая и просила целовать её всю, что я с охотой и делал, очень рано узнав красоту женского тела. Ретроспективно, пользуясь моей фотографической памятью, я думаю, что она была одной из наиболее прекрасных телом девушек, каких только я знал и видел.

С такой подготовкой я, естественно, не мог совершать мальчишеских глупостей и попадаться на удочку просто неутолённого желания, столь сильного в этом, извините, жеребёнкином возрасте. Я знал уже, что прекрасно, чего я хочу, к чему стремлюсь, и это было гораздо труднее, чем для всех моих приятелей и сверстников, которым в общем было довольно безразлично качество... и легче, потому что я избежал постыдных и тайных разочарований и несчастий, сопутствующих темпераментным мальчишкам (а меня, безусловно, можно было причислить к этой категории).

Теперь представьте себе такого не совсем обычного мальчишку, бегавшего в Ленинграде в пальмовую оранжерею ботанического сада и часами мечтавшего там о далёких, тропических странах, которого это стремление занесло на Дальний Восток.

Там я поступил на парусно-моторную шхуну

(кавасаки) Акционерного Камчатского Общества матросом и стал плавать к берегам Сахалина и Охотского моря. Мы снабжали фактории и рыболовные артели продуктами и солью, главным образом солью. Но соль мы брали в Японии, и вот так получилось приключение. На кавасаки с громким названием «III-й Интернационал» плавала всякая сволочь, и я отстоял свою индивидуальность только благодаря выдающейся силе и знанию бокса. Это было вскоре после ликвидации ДВР — Дальневосточной республики, и на промыслах Сахалина и Аяна было много всяких беглых и просто пропившихся и опустившихся людей. Грубости и хамства не занимать стать, а женщины... когда-нибудь для психологического анализа, может быть, и стоит описать, до какого падения и животной низости может дойти женщина при малом интеллекте, спирте, трусости и лености.

Ну, всё это неинтересно и печально, особенно печально в восемнадцать лет, полных романтизмом и мечтами о красоте. Это лишь обстановка, фон, на котором всё происходило.

В один действительно прекрасный осенний день мы пришли в Хакодате забрать соль, а пришлось чинить наш доблестный, но страшно

потрёпанный мотор (тоже японский). У меня получилось четыре полностью свободных дня, наши рубли тогда ценились и свободно обменивались на иены, и я решил знакомиться с Японией, само собой разумеется, в относительной близости берега, то есть там, где действует морская книжка, а не требуется заграничный паспорт.

Хакодате — огромный порт на северном острове — Хоккайдо, но вся эта южная часть острова отделена горами от северной и совершенно средиземноморская, с иглистыми соснами, большими можжевельниками, широколиственными клёнами.

После бесконечных туманов, холодных дождей и бурь Охотского моря я попал в местность крымского типа. После одичалой и спившейся компании промыслов и кавасаки я очутился в стране изысканной вежливости, древней культуры, с уважением к человеку и его труду. После грязи и полуразрушенной полукочевой жизни рыбацких посёлков и факторий я оказался в чистейшем, благоустроенном городе и таких же пригородах. Контраст был очень велик. Наверное, он был даже ярче психологически, чем на самом деле.

Суда, подобные моему кавасаки, не заходили в главный порт, а шли на стоянку в бухту к востоку, там, где был маленький городок, название которого я сейчас забыл.[8]

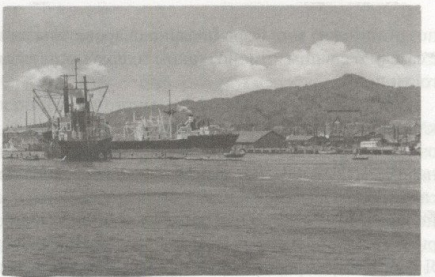
Я не отправился в Хакодате пропивать получку, а пошёл пешком по холмам к северу от городка, набрёл на старинный храм, побродил по священной роще огромных сосен, напился чаю в какой-то харчевне у чистого, как слеза, озерка и к ночи оказался километрах в двадцати-двадцати пяти от городка на невысоком плато, где были разбросаны отдельные посёлки удивительно красивых и чистых домиков с бумажными стенами. Над прудом с кувшинками, выдаваясь над водой на сваях, стояла маленькая гостиница. Я решил переночевать в ней и прожил все мои четыре дня путешествия на Киферу.

Как всё началось, даже точно не помню. Служанки гостиницы, очевидно, подрабатывали древнейшим ремеслом, и после ужина (я почему-то понравился хозяйке и хозяину, хотя знал десятка два слов по-японски и чуть побольше по-английски) мне была послана очаровательная девчонка с самым большим кимоно, каким толь-

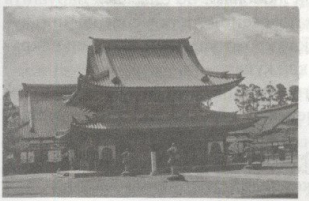
---

[8] Примечания: 8
Возможно, речь идёт о городе Хокуто.

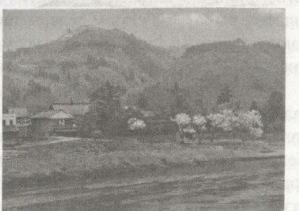
ко могла меня ссудить гостиница.



Примерно так выглядели Хакодате в 1924 г.



И этот храм тоже похож на один из тех, которые стояли на предгорьях Хаток за городом



И этот вид даёт примерное представление (за исключением цветущей сакуры)

Примерно так же выглядело Хакодате в 1924 году.

И этот храм тоже похож на один из тех, которые стояли на предгорьях Хаток за городом.

И этот вид даёт примерное представление (за исключением цветущей сакуры)

Девушка (как я узнал позже, много позже, по японской классификации аристократический тип «гошиу») была уж очень хрупка и кукольна, так что я никак не мог взглянуть на неё с мужской точки зрения. Она очень скоро поняла это сама. Едва я разделся почти догола и облачился в короткое, но душистое и чистейшее кимоно, как она быстро заговорила что-то, провела ручонкой по моему плечу и скрылась. Я был этому, признаться, лишь рад, так как не стремился к роману и вообще никогда, ни при каких обстоятельствах не пользовался покупной любовью, но опасался нарушить неизвестный мне этикет поведения гостя в совершенно чужой стране. А тут ещё такая крохотульная и хрупкая, накрашенная и причёсанная, как кукла.

Я растянулся на жёстких циновках и тоненьком ватном одеяле, закурил и стал переваривать впечатления дня. Внезапно куколка вернулась, ведя за руку не менее юное и очаровательное существо, круглолицее, с узкими лукавыми глазами и гораздо более крепкого сложения. (Тип «сатсума» — он есть в фильме «Человек человеку»[9], в так

[9] Примечания: 9

«Человек человеку» (1958) — фильм-концерт, состоящий из номеров зарубежных творческих коллективов, посетивших СССР в 1957 году во время VI фестиваля молодёжи и студентов.

называемом танце золотых рыбок, на самом деле — танце горы Хонаган[10]: исполнительницы-японки по фигурам как две капли воды похожи и друг на друга, и на мою возлюбленную.)

Я поднялся девушкам навстречу, и они захохотали, показывая на моё кимоно, приходившееся чуть ли не выше колен. Потом первая толкнула ко мне вторую и убежала. Неподвижная, застывшая в смущённой позе вторая девушка подняла глаза. Что-то было в этих тёмных глазах, вначале казавшихся непроницаемыми (на самом деле они так же выразительны, как и наши европейские), или в едва заметной грустной морщинке около маленького рта, из чего я понял, что древнейшая профессия ещё совсем не привычна девушке. Сильнейший порыв жалости и любви охватил меня, и я оказался в тот момент лучше самого себя.

Нежно, нежно я взял её руку, поцеловал её (в первый раз в жизни) и повёл к набитой чем-то твёрдым подушке, служившей сиденьем. Мы говорили, если можно назвать разговором обмен выразительными жестами и улыбками, весёлую и печальную мимику. Но я совершенно уверен,

---

[10] Примечания: 10
Возможно, имеется в виду храм Хонган-дзи в Киото.

что понимал её до конца, и она меня тоже. Один из двух светильников — ламп с бумажными колпаками стал угасать, и вдруг девушка погасила его. Она хотела задуть и второй, но я жестом остановил её. Покорно она задвинула лампу низенькой ширмой, и по комнате разлился розовато-серый полумрак.

Я увидел девушку, стоящую на коленях у моей нехитрой постели, стал с ней рядом и обнял за плечи. Мелкая дрожь била её как озноб, руки стали ледяными, дыхание прерывистым. Я стал гладить её жестковатые чёрные волосы, целовать руки и наконец стал целовать маленькие, удивительно правильные ступни ног. Она пришла босой, а не в некрасивых толстых японских чулках. С лёгким криком удивления девушка спрятала ноги, вдруг прижалась ко мне, обняла руками за шею и, обхватив ладонями мои щёки, стала пристально всматриваться мне в глаза. Я снова погладил её по волосам, поддаваясь порыву нежности, стал целовать её глаза, щёки, маленькие ушки.

Со странным возгласом, значения которого я не понял, но в котором звучала решительность, девушка откинулась на подушки, одновременно высвободив руки из широких рукавов кимоно,

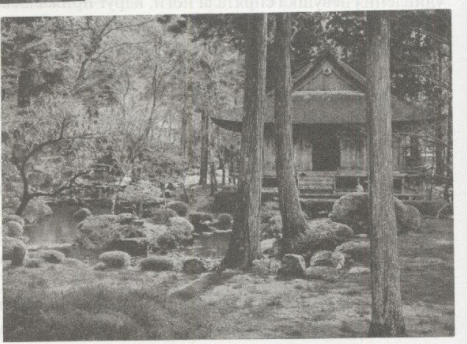
под которым она была совершенно обнажённой. Смуглое жёлтое тело в тусклом свете показалось мне тёмно-золотистым, ярким на тёмном фоне одеяла. Девушка закинула руки за голову, вытянулась как струна, крепко зажмурив глаза.

Что-то отважное и вместе беспомощное было в этой отдающей себя полностью позе. Сердце у меня забилось, и дыхание прервалось во внезапном ощущении какой-то необычности, редкости происходящего. Всё последующее не обмануло меня, хотя первоначально это чувство пришло, по-видимому, от красоты девушки. Очень трудно описать это пленительное и радостное сознание необычности встреченного — самое главное, что оно оказалось безошибочным.









Что из того, что я скажу, что вся фигура девушки обладала особенной пропорциональностью, удивительной для несколько коренастых, укороченных с европейской точки зрения её пропорций. Нежные очертания красивых плеч и удлинённой шеи почему-то очень гармонировали с общей укороченной пропорцией верхней части тела. Иностранцы считают, что самые красивые девушки Японии — в Киото, а сами японцы — с Хоккайдо. Я же был на Хоккайдо.

Узкие бока сужались сильно вниз к длинной талии или, вернее, переходили в неё. Ямка пупка — высокая, не как у знакомых мне женщин. Глубокие западины по сторонам, ограничивавшие бёдра от живота, пересекали тело по всей ширине наискось от лобка до спада талии. Сила широких бёдер казалась неожиданной и очаровательной, и резкие лиловые впадинки паха расходились как-то сразу широко, отчего «треугольник Афродиты» имел тупой угол — черта, также мною до той поры не видимая. Узкий серпик густейших чёрных волос подчёркивал треугольник богини, обходя плоский холмик золотисто-смуглого живота. Её невысокие, сближенные и какие-то очень нежно и правильно очерченные груди поразили меня, как и треугольник богини, резкой

темнотой, почти чернотой своих сосков, пожалуй, слишком резких для таких нежных линий.

Юное гладкое тело совсем без волос, ничего не скрывавшее... только оттенённое лиловатыми тенями глубоких западинок между грудей, подмышками тонких, скрещённых под головой рук и в складочках паха. Что-то очень древнее, от чётко вырезанных из жёлтой пальмы японских статуэток, было в девушке. Я не могу сейчас восстановить точного впечатления и, пытаясь описать особенности её сложения, теряю главное — это чудесное ощущение тайного, запретного и особенного, которое исходило от неё вместе с чисто-сексуальной желанностью.

Я распростёрся на полу, головой к постели, и стал нежно и сильно целовать её всю, ласково проводя загрубелой рукой по её удивительно упругой коже, в смутном опасении поцарапать её своей ладонью матроса. Сначала лежавшая в каком-то оцепенении, с сжатыми губами и плотно закрытыми глазами, девушка удивлённо приподняла голову, и я увидел странный блеск её глаз, а тело стало вздрагивать всё сильнее с каждым поцелуем. Я подсунул под неё руки и, слегка приподняв, поцеловал в треугольник Афродиты. Девушка вся выгнулась дугой, несколько секунд

оставалась в оцепенении и вдруг вырвалась от меня и, подхватив своё кимоно, лёгким бесшумным прыжком скрылась из комнаты.

Обескураженный слишком сильно для того, чтобы рассердиться, я только что начал сознавать всю величину утраты, как девушка явилась снова. Она приложила палец к губам на мой вопрос, отошла к восточной стороне комнаты, где сквозь бумажную стенку пробивался лунный свет, поставила какую-то чашку, укрепила перед ней наперекрёст две маленькие курительные палочки и подожгла их. Затем, сбросив кимоно, сложив ладони и опустив голову с растрепавшимися густыми чёрными волосами, девушка опустилась на колени перед чашкой. Она оставалась так несколько минут, шепча едва слышно какие-то слова, и я, всё ещё лёжа на полу, следил за её молитвой — это явно была молитва или, быть может, клятва — с удивлением и восхищением.

Вдруг девушка выпрямилась, встала и пошла ко мне, закинув назад голову и облизывая пересохшие губы. Узкие и ещё полуприкрытые глаза не отрываясь смотрели на меня с диковатым фанатическим выражением. Она бросилась на постель, крепко обвила руками мою шею, и всё её тело, такое горячее, что я подумал на миг — не

больна ли она, накрепко прильнуло ко мне. Она отдалась мне с такой до конца открытостью и таким самозабвением, что и я забыл обо всём.

В прежние годы я отличался силой во всех отношениях, а девушка обладала очаровательным женским достоинством, вернее, двумя, делающими страсть для мужчины ещё желаннее и сильнее, и она нарушила правила японского приличия, как в том мне смущённо призналась наутро, — не смогла удержаться от нежных стонов и тихих вскриков.

Пасмурное холодное утро остановило всенощное безумство. Сильный ветер, такой обычный для Японии, крепчал, глухо шумел вдали, и домики отзывались ему характерным шелестящим звуком вибрирующих рам и твёрдой, как пергамент, бумаги. Кунно-сан или Кённо, Кунико (приблизительно так звали её — очень трудно передать произношение, тем более непривычному уху) осторожно высвободилась, когда я снова заснул, и выскользнула из-под одеяла, но я успел охватить её под колени и притянул назад. Мы стали шутливо бороться, потом она сделалась очень серьёзной и на все мои попытки задержать её только качала головой. Я уступил, и девушка убежала быстро и бесшумно. Я встал, хлопнул

в ладоши, появилась вчерашняя «аристократическая» девушка. Умылся горячей водой, съел невероятно скудный завтрак и отправился к хозяйке. Последовал примерно такой разговор:

— Я — Кунно-сан — три дня ещё (это на пальцах) — сколько?

Отдав любезно кланяющейся старой японке тридцать иен и обеспечив тем себе гостиницу и еду тоже, я подсчитал оставшиеся капиталы. Их было всего несколько иен, но древний инстинкт повелел купить подарок возлюбленной, хотя бы оставшись без одной иены. Я дошёл до большой дороги, сел в разваливающийся автобус к великому удивлению сельских жителей, ехавших на базар (представьте себе — такая долговязая фигура втиснулась среди этого небольшого по росту населения). Побродив по лавкам, я в конце концов нашёл приемлемые по цене чудесные голубые бусы, которые должны были очень пойти к смуглому телу и чернющим волосам Кунно-сан.

Я не знал, носят ли бусы японки, но всё же это был красивый дар памяти. Вернувшись в своё селение — оказывается, оно было неподалёку от курортного местечка, выходящего на берег моря (конечно, я предварительно ещё плотно поел в портовой харчевне с европейской едой), я пошёл

в свою комнату и хлопнул в ладоши. Меня это забавляло и казалось чем-то похожим на детскую сказку: хлоп — и появилась служанка. Появилась «аристократка», и я попросил её позвать Кунно-сан.

Та прибежала, запыхавшись, и, глядя на неё, я понял, что хвалёная непроницаемость и загадочность азиатских лиц — это чепуха. Просто очень хорошее воспитание заставляет японцев скрывать свои чувства и прежде всего сдерживать мимику (к чему мы, кстати, совершенно не приучены). Очертания вообще всякого монгольского лица делают его менее подвижным, живым, чем европейское (тоже не всякое, есть такие каменные морды, что хуже любого самого тупого монгольского). Японское лицо более скульптурно, если оно красиво — то оно кажется точёным по каким-то строжайшим законам — разрез глаз делается круче, скулы — выше, уши — тоже выше, а брови ниже к переносице. Всё это твёрдое и неподвижное, но за этой основной формой лица горят, играют и светятся тонкие, яркие и быстро сменяющиеся оттенки переживаний, выраженные глазами, взмахами ресниц, едва заметными движениями точно очерченных полноватых и тёмных губ.

Может быть, я говорю как-то расплывчато, но это трудно описать.

Короче, я ясно прочитал в её лице, что она так же рада мне, как и я ей. Я протянул ей бусы. Она слегка вскрикнула, взяла обе мои руки, сложила их и погрузила в них лицо, потом вскочила, бросилась к зеркалу и снова ко мне. Я настойчиво потянул её к себе, но Кунно-сан вдруг стала сопротивляться и быстро-быстро заговорила. Я ничего не понял и покачал головой. Она снова затараторила, спохватилась и стала объяснять жестами, что нам надо куда-то итти.

Я согласился, и Кунно-сан убежала, вернулась в другой, более яркой одежде и повела меня за руку.

Мы выскользнули через обращённый к ивовой рощице двор гостиницы. За деревьями девушка побежала. Я бегал очень хорошо и, конечно, не отстал от неё. Мы перебежали какой-то мостик через ручей, пересекли какую-то дорогу и свернула с неё по широкой тропинке. Начался подъём, и девушка замедлила шаг, слегка задыхаясь.

Скоро мы пришли в рощу сосен, величаво шумевших под ветром, нёсшим запах моря — оно грохотало где-то вдали — здесь, под скалами, усиливался прибой. Группа домиков не с бумаж-

ными рамами, а более прочных, деревянных, стояла в роще.

Кунно-сан уверенно пошла направо, к домику, стоявшему отдельно от других, под четырьмя соснами, как под сенью храма. Кунико оглянулась, но кругом было совершенно пустынно — вероятно, это были домики курортного местечка, ныне сезон кончился и всё осталось покинутым. Девушка поднялась на цыпочки, не достала и показала мне на балку под навесом входа. Я сунул туда руку и достал изогнутый деревянный предмет, оказавшийся ключом. Девушка ловко отперла дверь, вошла и поманила меня за собой. Я остановился в недоумении, тогда она прильнула ко мне и возбуждённо что-то заговорила, показывая в сторону посёлка. Я понял, что она не хотела быть со мною в домике гостиницы, где всё насквозь слышно, а она ведёт себя неприлично. Ей хотелось быть совершенно свободной, чтобы ничего её не связывало и не мешало. И действительно, достав где-то циновки и тюфячки для постели, девушка отдалась мне, ни о чём не заботясь и не сдерживаясь.

Шум ветра и сосен, грохот волн были аккомпанементом её страстным вскрикам.

Это не была уже познанная мною ранее страсть

молодого здорового животного, которая накрывает, как волна, с головой и заставляет стремиться скорее, скорее сбросить её с себя. И не ленивая страсть искушённой женщины, постепенно разгорающаяся, но, в общем, предоставляющая мужчине ублажать себя без лишних трудов со своей стороны.

Девушка отдавала мне каждую клеточку своего тела, и я чувствовал, как каждая её мышца стремиться ко мне для полного соединения. И в то же время не было яростного неистовства. Её губы прижимались к моим, но вместо нашего европейского поцелуя была ласка её полураскрытых губ, как бы очерчивающих контур моего рта, гладивших его, крепко прижавшись к нему, и языком тоже. То же самое движение делали соски её грудей, скользивших по моей груди, как бы описывая круги. Её гладкие бёдра вертелись, обнимая меня. Но каждое движение было не резким, не быстрым, а каким-то долгим, замедленным, точно тело Кунно-сан застывало в каждой позе, в каждом движении, чтобы до конца исчерпать ощущение. От этого всё тело девушки изгибалось плавно, как в танце, гибкими волнообразными движениями.

Эта бесстрашная и беззаветная отдача себя в

любви одновременно и воспламеняла, и сдерживала меня, настраивая на что-то незнакомо высокое, точно служение могучему божеству, в руке которого оказались мы оба. Я никогда раньше не подозревал, что страсть может быть таким высоким взлётом и тела, и души, а не чем-то тёмным, от чего неплохо избавиться, хотя это и захватывающе прекрасно.

Я не знал — было ли это выученное искусство, тысячелетним опытом доведённое до совершенства (вряд ли — где бы ему быть тут, в этой захолустной местности), или же индивидуальная особенность Кунно-сан, да и зачем мне было это знать. На секунду мелькнувшая ревнивая мысль о том, скольких возлюбленных здесь, в курортном посёлке, могла уже услаждать девушка, угасла, когда она вдруг достала откуда-то мои бусы (она их не надела). Кунно-сан свернула их в кольцо, приложила к моему рту и заставила поцеловать себя всю через них, а потом отдалась мне через это кольцо свёрнутых бус. Только после того она одела их себе на шею.

Удивлённый странным суеверием, я лишь много позже в очередном приступе тоски по Кунно-сан понял значение этого символа (я ведь был очень, непозволительно юн). Как устроена жизнь

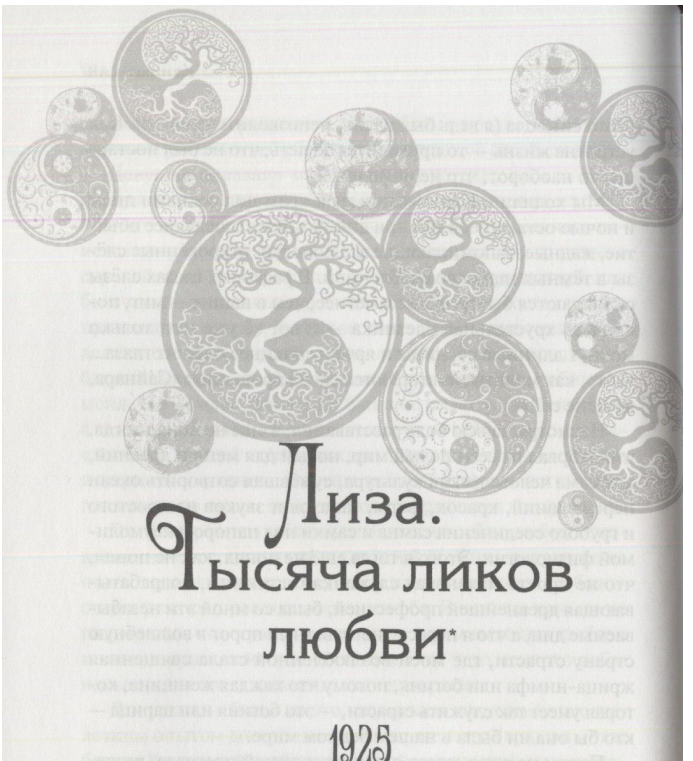
— то приходится жалеть, что не был постарше, то наоборот, что не помоложе.

Мы ходили с Кунно-сан в наш храм под соснами днём и ночью оставшиеся мне три дня. А затем... последнее объятие, жадные, запоминающие всё поцелуи, откровенные слёзы в тёмных глазах возлюбленной. В раскосых глазах слёзы скатываются быстрее и незаметнее, чем в наших — миг, появилась хрустальная слезинка — и вот её уже нет, только мокнут длинные ресницы и ярче, отчаяннее блестят глаза... часто, как молитва повторяются слова прощания: «Сайнара, яс мене сай».

Несмотря на всю боль расставания, я ещё не понял тогда, что оторвал от себя целый мир, новый для меня и древний, как сама человеческая культура, сумевшая сотворить океан переживаний, красок, форм, запахов и звуков из простого и грубого соединения самца и самки под напором неумолимой физиологии. Этого я тогда ещё не понял, как не понял, что не просто маленькая служанка гостиницы, подрабатывающая древнейшей профессией, была со мной эти незабываемые дни, а что я переступил заветный порог в волшебную страну страсти, где моей возлюбленной стала священная жрица-нимфа или

богиня, потому что каждая женщина, которая умеет так служить страсти, — это богиня или царица — кто бы она ни была в нашем бедном мире.

Потом не раз я думал о непреодолимой преграде, разделившей наши две враждебные страны, да и вообще с нашими наглухо захлопнутыми границами я оказался не ближе к Кунно-сан, чем инженер Лось к своей Аэлите после прилёта на Землю. Я бывал ещё на Дальнем Востоке и, стоя на берегу моря, посылал привет острову Хоккайдо, безымянному для меня посёлку и безответные вопросы — как ты живёшь, Кунно-сан? Где ты? На земле ли ещё ты?



Лиза. Тысяча ликов любви*

1925



Лиза – странная девушка из особняка на Галерной (они жили в огромном пустом княжеском особняке вместе с матерью, и я временно тоже поселился там на несколько месяцев)

1925 г. 29



Лиза, дочь очень состоятельных до революции родителей, давних дворян, была похожей на Энн Хейвуд[11]. Она была рыжая, с сужавшимся вниз «лисьим» личиком, как у моделей Зинаиды Серебряковой[12], с точёной фигуркой, маленькими грудями и очень стройными ногами, с крупными бёдрами (обычный мой вкус, не иначе). Мы сошлись как-то неожиданно для обоих, потанцевав на одной вечеринке и прогуляв ночь по Петроградской стороне.

Странная девушка из особняка на Галерной... Они жили в огромном пустом княжеском особняке вместе с матерью, и я временно тоже поселился там на несколько месяцев.

А дальше было очень много прогулок и ночей в моей квартирке, где Лиза трогательно отдавалась мне, молча и плавно покачивая бёдрами, как будто трудилась подолгу и сосредоточенно. Она была старше меня, на немного, но в ту пору гораздо образованнее и мечтательнее.

В одном особняке на Аптекарском острове, стоявшем пустым в 20-х годах и принадлежавшем неизвестно кому, бежавшему за границу

---

[11] Примечания: 11
Хейвуд Энн (род. 1932) - британская актриса

[12] Примечания: 12
Серебрякова Зинаида Евгеньевна (1884-1867) - русская художница.

или погибшему, по отрывочным сведениям, между 1910-1916 годами было общество Антэроса или кружок древних тайн физической любви, который изучал и по книгам и на практике все искусства страсти. Группа архитекторов, художников и артистов, исключительно молодых и телесно красивых. Они восстанавливали обряды храмов Астарты и Атаргатис, финикийских «ночей луны», лесбийских обычаев и приапических неистовств с каменными и деревянными членами статуй Приапа, соревнования на силу страсти, продолжительности её в духе древнегреческих и александрийских вечеров Котитто — богини гетер. Было изучено искусство Камасутры — все позиции и средства усиления, тибетские обряды Ябум[13]. Знаменитые эллинские танцы кентавров, когда мужчины танцевали нагими с палками, на которые прикрепляли конские хвосты и огромные фаллусы, которыми можно было действовать как своими. Нагие женщины после танца обязаны были отдаваться «кентаврам».

Об этих кружках остались лишь отрывочные

[13] Примечания: 13

Ябум, Яб-юм — в буддийской иконографии Тантраяны полное состояние Просветления, полное раскрытие всех присущих уму качеств в единстве качеств мужского и женского начал; изображение божеств и будд в любовном соитии со своими супругами.

сведения современников, и теперь уже всё забыто. Но однажды, ещё в 1925 году, мы с Лизой пробрались в этот особняк, о котором мы узнали от старого мужа сестры. Глухой забор, заросший, совершенно запущенный сад, но дом в глубоком упадке был совершенно цел. Это неудивительно — в те годы в Петрограде никто жильё не грабил, а тем более не разоряли бессмысленно, не били, не ломали [NB! написать об этом как-нибудь], а наоборот, всё сберегалось, квартиры стояли с мебелью, особняки были целы и охранялись имущественными комхозами[14], и вообще никто попусту не лазил, дикой деревни в городе не было, а ворья было немного в сравнении с теперешним временем.

Мы прошли тихо через сад к выступу веранды бывшего зимнего сада. В углу между стеной и венецианским окном была маленькая забухшая дверца, которая оказалась незапертой. Лиза пригнулась, скользнула в неё и поманила меня за собой. Мы вошли в зимний сад, от которого остались лишь горшки и вазы заплесневелой земли, не растрескавшейся кусками и звонко затрещавшей под ногами. Лиза прислонила палец к губам,

[14] Примечания: 14

Комхозы — в межвоенный период название организаций, управляющих коммунальными хозяйствами.

извлекла из одной вазы массивный ключ, которым открыла входную дверь внутрь особняка.

Мы ступили в полутёмную переднюю, тусклый свет в которой озарял висевшие часто ряды рогов и какие-то восточного вида стойки или узкие лозы, обрамлявшие вход на лестницу вверх. Тщательно заперев дверь на массивный засов, Лиза взяла меня за руку, и мы тихо поднялись по лестнице, слабо скрипевшей под осторожными нашими шагами. Меня удивило, что ни на перилах, ни на ступенях не было слоя пыли, какой мне не раз приходилось видеть в брошенных дачах и квартирах. Мы прошли какой-то зал без мебели, освещённый широкими аркадами окон, и снова Лиза где-то нашарила ключ, которым открыла низкую не по барскому особняку одностворчатую дверь в толстой стене в дальней (от окон) стороне зала. Здесь она остановилась перед непроглядной тьмой. «Вставь пробки», — она показала налево, за дверь. Я зажёг спичку и ввинтил в предохранительном щитке две лежавшие на нём пробки.

Загорелся неяркий молочно-муаровый свет, и мы пошли по узкому коридору, как бы огибавшему какое-то округлое помещение. Вскоре налево обозначилась узкая и высокая дверь, перед которой был привинчен большой выключатель.

Лиза повернула его и осторожно открыла дверь, тихо подтолкнув меня вперёд, и тотчас за мной щёлкнул запор двери. Я осмотрелся со странным чувством удивления, почти страха. Овальная комната представляла собою многогранник, каждая грань которого была великолепным зеркалом от потолка до пола. Потолок тоже был закрыт полосами громадных зеркал. Никакой мебели не было, кроме очень широкой тахты, стоявшей в геометрическом центре комнаты. Все стены казались беспредельно далёкими, уходящими в трудно передаваемую словом глубину повторяемости, а мы оба, освещённые ярким свечением откуда-то сверху, из грота потолка и стен, умноженным стократно, может быть, тысячекратно. Причём боковое зрение позволяло видеть Лизу и себя сразу с нескольких сторон, с боков, сзади, спереди.

— Что это? — недоумённо спросил я.

— Комната зеркальной любви или тысячеликого Эроса, — ответила Лиза хрипловато и чуть сдавленно, что было у неё признаком великого волнения и страсти.

Я понял. Мальчишеское любопытство, любовь к приключениям, ожидание особенных ощущений взволновали меня, и я молча кивнул головой.

Тогда Лиза вынула из сумочки тонкую батистовую простыню, ловко расстелила её на тахте и вдруг прижалась ко мне в долгом поцелуе. Через минуту мы оба, совершенно нагие, были на ложе в объятиях друг друга. И сотни любовников со всех сторон повторяли каждый наш жест.

То, что могло бы быть безумием и ужасом, при силе страсти ещё более умноженного желания дробилось в тысячах образов, и оно достигало ещё неизведанной силы. Когда Лиза раскрыла бёдра, открывая мне свою йони, то сотни Лиз, увиденных спереди, сбоку, сзади и сверху (в потолке), открыли свою сокровенную тайну, и сотни любовников вводили свои члены в них. Когда Лиза перевернулась, оказавшись верхом, то я видел спереди и в зеркале сверху её тугие губы, обхватившие член, трепещущие мышцы живота, покачивания крутых бёдер, раздвигаемые дыханием напряжённые груди.

А глядя за неё вперёд, я видел все извивы гибкого тела, плавные, почти торжественные вращения задов тысячи Лиз, а боковым зрением — крепкую посадку сильных, выпуклых спереди бёдер, и молитвенно устремлённые вверх соски грудей, и поднятое вверх лицо с раскрытыми, издающими мелодичные стоны губами. И по-

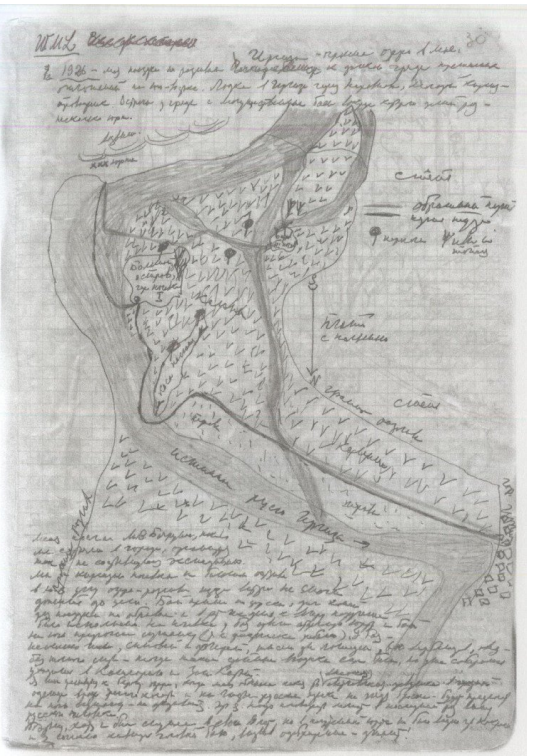
том, когда она стояла на коленях, прижав рот к головке члена, и все сотни Лиз сбоку, сверху, сзади целовали своих любовников в уходящие глубоко вдаль, за пределы зрения, ряды членов, и затем с полубезумным криком она раскидывала снова бёдра, открывая жадные нагие губы йони (у Лизы была странная привычка удалять волосы с лобка и йони). И снова ряды «меня» — яростных любовников вонзали ряды лингамов в эту череду жаждущих йони, и только стоны Лизы были одинокими в этой странной сумасшедшей тайне одержимых страстью и творящих её открыто и яростно людей.

Я за те часы, что мы провели в этой зеркальной комнате, узнал и запомнил больше о формах (скульптурных) человеческих тел в страсти, чем за всю предыдущую и последующую жизнь.

Только ещё раз удалось нам с Лизой провести вечер в этой зеркальной комнате страсти. Потом, я не помню, или Лиза не могла, или я, несколько дней встреча не состоялась. А потом я уехал в экспедицию, как всегда, и после возвращения доступа в особняк больше не было — кто-то его занял.

Так и не знаю, что сталось с комнатой зеркального Эроса.


Зина-Зейнаб
1926



Слева сверху вниз: возвыш[енность]; юрты; Большой остров, где ночёвка I; камыши; коса песчаная; трава; истинное русло Иргиза; прошлый разлив. Справа сверху вниз: степь; обратный путь; путь туда; карагачи; ивы и тополя; остров III ночёвки; плато в полынью; степь; граница разлива; камыши; трава; гор. Иргиз

Тысяча девятьсот двадцать шестой — моя поездка по разливам Иргиза[15] (огромное озеро в мае) к далёкой гряде третичных отложений на юго-востоке. Лодка в Иргизе через верховья, молодой киргиз-проводник. Встреча у гряды с могущественным баем, вокруг которого целый род — несколько юрт.

Меня послал М. В. Баярунас[16], пока мы стояли в городе, организуя так и не состоявшуюся экспедицию. Мы с киргизами ночевали на большом острове в юго-восточном углу озера-разлива: из-за ветра не смогли доплыть до цели.

Бай принял нас по-царски, дал коней для поездки на обрывы. И в тот же день к вечеру поручение было исполнено. На ночёвке у бая отвели отдельную юрту, и бай на ночь предложил служанку, фактически рабыню.

У бая — несколько жён, сыновей и дочерей, тысячи две лошадей, 600 верблюдов, овец — без точного счёта, — тогда такие степные владыки ещё были, но уже собирались уходить в Киргизию и Западный Китай.

---

[15] Примечания: 15

Иргиз — река, приток Тургая, Казахстан.

[16] Примечания: 16

Баярунас Михаил Викентьевич (1882—1940) — геолог, стра-тиграф, палеонтолог. Руководитель экспедиции 1926 года.

Я шёл умываться к берегу озера, когда меня обогнала какая-то высокая светловолосая девушка в грязной одежде, вроде тёплого халата, и на плохом русском языке, не глядя, бросила:

— Будет предлагать на ночь служанку — не отказывайся. Это я. Надо поговорить, может, в последний раз вижу русского человека.

Поэтому, хотя я был смущён в свои девятнадцать лет, но в полутёмной юрте не было видно, что покраснел, я согласно кивнул головой баю, вызвав одобрительное:

— Джигит!

Ещё до того бай восхищался моим «Зауэром» — 12 калибр, 3 кольца[17] — по дороге я стрелял уток, и тяжёлое ружьё клало влёт наповал. Проводник приходил в бешеный восторг и, несомненно, рассказал это баю.

Я немного уже говорил по-казахски.

Ночью я лежал в волнении, чувствуя приключение. Девушка явилась поздно, когда я уже её не ждал и плошка с бараньим жиром была погашена. Она слегка замешкалась и виновато сказала:

---

[17] Примечания: 17

Вероятно, имеется в виду двуствольное охотничье ружьё «Зауэр» 12-го калибра, с тройной системой запирания. Ружьё имеет клеймо в виде трёх замкнутых между собой колец, показывающих, что при изготовлении использовалась крупповская сталь.

— Меня давали вам двоим, так я сначала побывала на ночёвке у твоего спутника — чтоб нас не прервали.

Я как-то слегка отодвинулся, а девушка горько сказала:

— Не бойся, не полезу сама, коль брезгуешь — да и как тебе не брезговать — молодой, не порченый. Но вот о чём хочу тебя просить — может, выручишь как, откупишь у бая? Я ведь русская...

И девушка, которую звали Зиной, рассказала, что она — из староверов с Чуйской заимки (р. Чуя), которые в восстание Амангельды в 1916 году были перебиты, а её с другими детьми разобрали киргизы. Ей тогда было 13 лет, а сейчас 23. 18-ти лет она стала наложницей бая, но скоро он отверг её — за неумелость, холодность и главное — за большую «аму»: «Ведь у них всех кутаки маленькие», — со спокойной ненавистью пояснила Зина.

Потом её стали «давать» гостям — к счастью, бай был скуп и не очень любил не нужных ему гостей. Потом ею владел старший пастух бая — на зимовке всё время, а вот как сейчас, летом — только когда приезжал к баю на 2—3 дня с летних пастбищ. Она была служанкой и в то же время развлечением для двух мальчишек — сыновей

бая, примерно по 15-ти лет, от разных жён.

И она замолчала, а я привлёк её к себе, жалея, и почувствовал крепкое, горячее тело и слёзы на её щеках, а она придвинулась ближе и, отстраняясь, зашептала:

— Нет, не надо, не надо, я могу закричать от тебя, и тогда они услышат и поймут, что у нас хорошо, и бай не отдаст меня тебе, а заломит цену.

Я удивился, так как думал, что она хочет убежать со мной, а так на что я, препараторишка, мог её купить?

— Убежать? — горько усмехнулась Зина, — я пробовала, и пробовала потом камчи (плётки). У них кони, ружья, слуги, сыновей здесь шестеро — о нет.

— Тогда как же? — спросил я.

— Обменяй меня на ружьё! — умоляюще шепнула Зина. — Я слышала, как бай хвалил его — буду тебе отрабатывать — купишь новое, спаси только меня! Ты не знаешь, что я выдержала! Унижают, бьют, издеваются... Прозвали ит-джанан (собачья возлюбленная)... — и девушка отчаянно разрыдалась.

Растерянный, я как мог утешал её и, успокоив, спросил — почему же так? Она приблизила своё лицо к моему, так что я ощутил жар её щёк, и

сказала:

— Мальчишки уж очень меня доняли — как черти, по очереди, до тошноты, а мне вставать чуть свет, измучилась я. стала с ними драться — я сильная. Ну, они обучили кобеля, знаешь — тайпан?

— Знаю, — кивнул я, — борзая порода.

— Так вот, связали и поставили на четвереньки, а пёс тот клятый... — Зина тяжко перевела дыхание. — И сам бай смотрел — от сраму я утопиться хотела — не дали. И после этого куда ни пойду — бежит за мной, прыгает, лижет — а все смеются, зовут ит-байтал[18] — собачьей кобылой. А прежде дразнили «кисар» — яловой — по счастью, что я не беременею от косоглазых. Ну, я пойду, а то подозрительно им будет, долго мы с тобой.

Зина ускользнула в темноту, а я долго лежал вне себя от возмущения и думал, как сделаться с баем. Ружьё своё я очень любил, но разве тут можно было думать о вещи?!

Наутро я стал прощаться с баем, благодарил его. Мой проводник и переводчик решил остаться погостить, и я должен был возвращаться один. Бай предложил продать ружьё. Я сначала возражал,

---

[18] Примечания: 18

Ит (казах.) — собака, байтал (казах.) — кобылица.

разыграв необычайную ценность ружья. Бай предлагал лошадей, овец, юрту... Наконец, помедлив, я выставил своё условие отдать мне Зину.

— Зейнаб тебе? — изумился бай. — Зачем тебе эта баба? Иль понравилась? — сощурился цепко его узкий глаз.

— Нет, баба плохая, — небрежно отвечал я. — Сам знаешь, наверное, ама велика.

Бай расхохотался, а я продолжил:

— Но ведь она моей породы — у нас есть закон — друг друга выручать. Я увезу её к своим, и тебе она зачем? Если бы была хорошая баба, а то я пробовал вчера — корова!

И бай, и проводник принялись оглушительно хохотать. Я добавил вскользь, сейчас экспедиций мало, а если большая экспедиция встретится — выйдут неприятности, надо продать.

Бай посовещался с сыновьями, продолжительно шептался за занавеской и наконец объявил, что согласен. Огорчённый (и в самом деле), я отдал своё верное ружьё, снял патронташ со стенки юрты и подал баю, вынул запасные патроны из сумки.

Проводник пошёл со мной к лодке и, доставая оттуда свой мешок, тихо сказал:

— Поедешь — не ночуй на острове, а плыви

левее к тому берегу. Там есть протока, спрячься днём в камышах и снова плыви, держа на Глаз Джалбарса (Арктур), и попадёшь к городу. Я слышал, сыновья шептались, вроде они засаду хотят сделать, отбить Зейнаб — наверное, переплывут на конях протоку на остров — отнимут. Что у тебя? Одни ноги.

Я поблагодарил киргиза. На миг подумал о провокации, но в громадном болоте у левого берега засады не спрячешь, похоже на правду.

Никто не провожал нас, и я отпихнул лодку, дал Зине правильный шест, а сам сел на вёсла, уверенно погнал лодку по широкой протоке, стараясь не смотреть в сияющие, полные слёз глаза Зины. Девушка не могла говорить — так сдавлено было горло волнением.

В молчании я гнал лодку по разливу больше часа, пока юрты не скрылись из виду и берег не отошёл далеко. Тогда я резко повернул налево, и лодка с разгона влетела в камыши. Зина чуть не уронила шест от неожиданности. Я объяснил, в чём дело, и она, встав на корме, стала энергично, хоть и нервно толкать шестом, пробиваясь через камыши. Я сменил её, лодка путалась в узких проходах, и наконец мы, измученные и мокрые от пота, выбились на узкую протоку, уходившую

наискось на северо-запад.

Я сел к вёслам и ещё часа три грёб без отдыха. Наконец впереди над стеной камышей показалось несколько низких деревьев, побелевших от помёта хищных птиц. Я опять бросил вёсла, взял шест и погнал лодку в камыши. Ещё полчаса тяжкого труда — и мы причалили к маленькому островку — затопленному песчаному бугру.

— Ну, вот здесь будем до ночи. Отдыхай, а я искупаюсь, хоть вода и холодна ещё (был май) — весь насквозь мокрый, — сказал я.

— Нет уж, буду и я тоже купаться, — девушка некоторые слова произносила с трудом, и её странный акцент при этом усиливался. — Может, у тебя рубашка какая есть? Мне не терпится эту рвань сбросить и грязь с себя всю смыть. Юбку широкую и кофту вот дали, а больше ничего шайтаны скупые, ну да ладно, что отпустили. Я не знаю, как уж тебя благодарить и Бога молить, — и Зина вновь разрыдалась так же отчаянно, как и тогда ночью в юрте.

— Ладно, ладно, — пробормотал я, — вот бери, — и я достал из сумки смену «белья» — футболку и широкие трусы.

Зина схватила их, остановилась и кивнула на мой охотничий нож на поясе, с которым я не

расставался.

— Остёр?

— Как бритва!

— Срежь мои косы!

— Что ты! — возмутился я, беря рукой одну из длинных светло-русых кос, но тут же заметил, что она сплошь усеяна гнидами.

— Видишь, — сказала девушка, — режь, да покороче, отрастут.

Я срезал её волосы, и она, встряхнувшись, подошла к воде.

— Хочешь, я отойду туда, — я показал на дерево, — а ты мойся.

— Вот ещё, буду прятаться от тебя — да тут и некуда. Косоглазые над голой смеялись и насильничали, а что мне тебя бояться.

И девушка сбросила одетую прямо на голое тело рвань, взяла мыло и пошла к воде. Во второй раз в своей жизни я видел так открыто нагое женское тело, и опять оно было прекрасно.

Я помню только твёрдые девические груди с почему-то тёмными сосками, длинные стройные ноги, красивую линию бёдер, отсутствие волос, выбритых или выморенных на лобке. И я не думал, что пройдёт всего лишь два года, и опять передо мной в четвёртый раз будет стоять нагая

женщина (и тоже на реке), ещё более прекрасная и на этот раз — любимая, которая причинит мне больше страдания, чем все другие, бывшие и будущие в моей жизни.

Зина мылась долго и яростно, пока, посиневшая и дрожащая, не вышла из воды и, надев мою футболку и трусы, не уселась на солнышке. Потом быстро искупался я, и мы поели лепёшек и сыра, запив водой, — я боялся разводить костёр.

Мы сидели рядом, греясь на вечернем солнце, и, укрывшись от ветра, говорили. Я присматривался к очень сильно загорелому лицу Зины, неправильному, с крупными чертами и круглыми белыми зубами, с очень густыми и широкими чёткими бровями и яркими светло-карими глазами, красиво оттенявшими её светло-русые волосы. Сейчас оно освещалось такой радостью, что становилось красивым вообще.

Зина, или Зейнаб, училась в школе до восстания. Потом, уже прислугой и фактически рабыней бая, она очень много кочевала — по всему южному Казахстану, особенно в кочевой части Бетпак-Дала, и в Киргизии, в горах. На днях они должны была уйти и кочевать на юг, постепенно

переходя по джайляу[19] в Таласском хребте, а потом, возможно, и в Китай, через Чуйскую долину, Терскей и Сарыджаз.

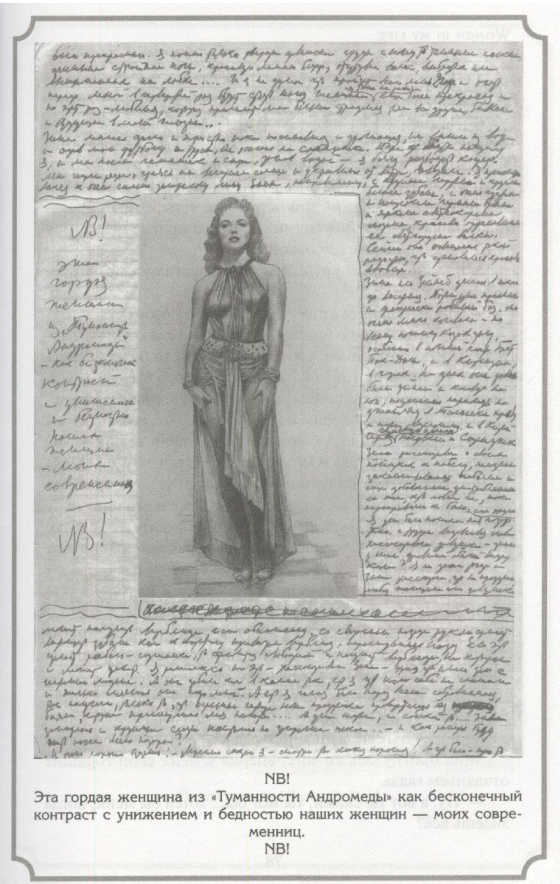
Зина рассказывала о своих попытках к побегу, неизменно заканчивавшихся побоями и ещё добавочным употреблением её теми, кто ловил её, пока переправляли к баю.

— Я уже было пошла на ещё другой позор, — тихо, с трудом выдавливая слова, рассказывала девушка, — знаешь у них древний обычай выдёргивания кола?

Я не знал тогда, и Зина рассказала, что на празднике любая женщина или девушка может получить верблюда, если обнажённая, со связанными позади руками сумеет вытянуть зубами кол, к которому привязан верблюд, перегнувшись назад. Если это сумеет рабыня — служанка, то становится свободной и получает верблюда, на котором и может уехать.

---

[19] Примечания: 19
Джайляу (тюрк.) — летнее пастбище.



NB!
Эта гордая женщина из «Туманности Андромеды» как бесконечный контраст с унижением и бедностью наших женщин — моих современниц.
NB!

— Я решилась на это, — рассказывала Зина,

— думая, что имею дело с честными людьми. А они забили кол в камни так, что я чуть шею себе не сломала, и только смеялись они надо мной. А что я голая была перед всеми собравшимися, так получила только то, что остальные четыре ночи праздника провертелась под баями, которым приглянулась моя нагота. А уже потом, с собакой-то...

Зина запнулась, и крупные слёзы покатились по загорелым щекам.

— И как теперь буду жить после всего позора?

— И очень хорошо будешь! — уверенно сказал я. — Смотри, ты какая хорошая! А что было — про то будешь знать только ты сама, ну вот я ещё, но я что — скоро уеду и — всё. Только уж помни мой тебе совет — никогда, никому не рассказывай о собаке, вообще о том, как ты... как тебя..., ну, не целочка, подумаешь! А более помни — люди ведь к этому очень любопытные, да и молва пойдёт на всю жизнь. И, конечно, как только получишь документы, уезжай сразу же отсюда в Россию, навсегда, чтоб забыть всё и чтоб никто не знал. Будешь работать, учиться. Я на днях возьму аванс и дам тебе на проезд, куда хочешь до [слово утрачено] в Ташкент.

— О нет, не туда, я поеду на Кубань, только...

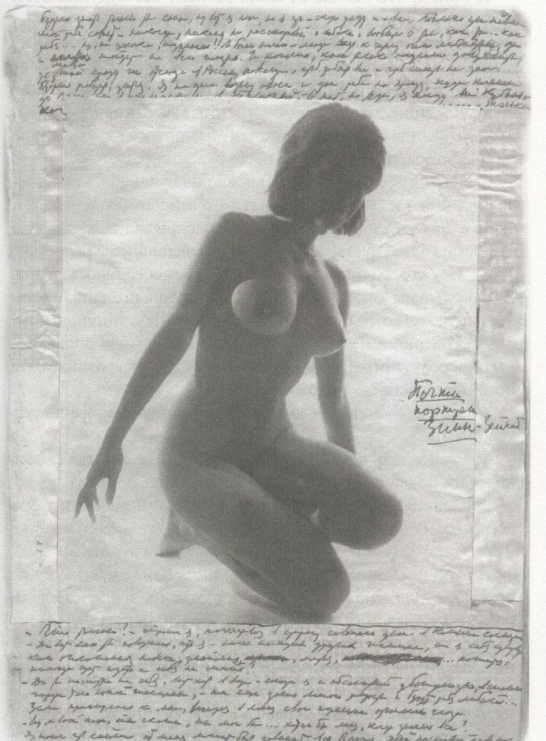
— Что только? — спросил я, поглядывая в сторону севшего уже в камыши солнца.

— Да вот как ты говорил, что я — ничем не хуже других женщин, а я себя чувствую как опоганенная навеки, золой мыться — никогда этот позор с себя не смыть!

— Да ты посмотри на себя, вот хоть в воде, — сказал я с абсолютной уверенностью, вспоминая гордое тело юной женщины, — ты ещё дашь много радости и будут тебя любить.

Зина пригнулась ко мне, вперяя в меня свои горящие отчаяньем глаза.

— Ну, а вот ты скажи, ты мог бы… хотел бы меня, когда знаешь всё?



Почти портрет Зины-Зейнаб

Я понял, что сейчас от меня зависит всё будущее этой несчастной девушки.

— Мог бы, могу и хочу, — шепнул я, привлекая Зину к себе.

Она стремительно приникла ко мне, обхватывая мою шею, и я поцеловал её в обветренные жестковатые губы. Зина ответила мне диким поцелуем, потом вдруг сникла и, помертвев, опустилась на песок.

— Что с тобой? — испуганно вскричал я, видя, как побелели её щёки и закатились глаза, — очнись!

И я брызнул на неё водой. Зина раскрыла глаза, сначала отсутствующие, пустые, потом быстро налившиеся радостью.

— Неужто, солнышко моё? — не веря себе, спросила она. Я только молча кивнул головой, ошеломлённый силой чувств, не соответствовавшей моим собственным ощущениям.

— И верю, и не верю, — шепнула Зина, — хорошо, испытаем себя, потом, когда отмоюсь как следует, отойдёт эта погань вся. Да ведь надо ещё доехать!

— Доедем! — уверенно сказал я, чувствуя необычайную храбрость.

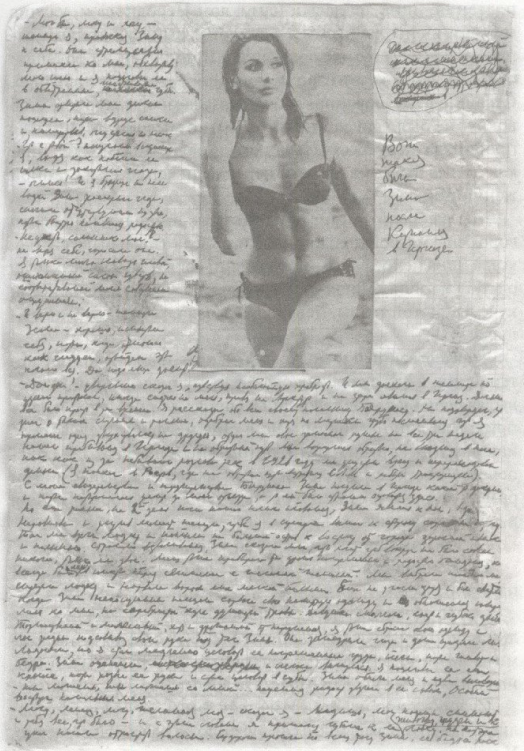
И мы доехали в темноте по узкой протоке, ино-

гда садясь на мели, правя на Арктур, и на заре явились в Иргиз.

Дальше всё было просто в те времена. Я рассказал обо всём своему начальнику Баярунасу. Он подтвердил, что уже знал о таких случаях и раньше, одобрил меня и, хотя по-мужски грубо посмеивался, что я променял одну двустволку на другую, отдал мне своё запасное ружьё на все эти недели нашего пребывания в Иргизе и на обратный путь.

Мы вернулись обратно на ночёвку в поле, так как из-за небывалого разлива рек в 1926 году мы упустили время и перерасходовали деньги (я поехал в Ростов, где на обратном пути встретился с Л. М. и работал трактористом).

С моим свидетельством и поручительством Баярунаса Зина получила в Иргизе какой-то документ и потом поторопилась уехать до моего отъезда, а то ей было страшно оставаться здесь.



Вот такая была Зина после купания в Иргизе

Но ещё раньше, на второй день после нашего ночного плавания, Зина явилась к нам в дом Неровнова и, улучив момент, шепнула, чтобы я в сумерках вышел к старому сараю на лугу. Там мы взяли лодку и поплыли на большой остров к востоку от города, заросший ивами и полынью. Страшно взволнованная, Зина сказала мне, что хочет, чтоб вокруг не было совсем никого, только мы двое. Меня тоже пробирала та дрожь настоящего и радостного ожидания, как всегда бывает в юности перед сближением с желанной женщиной.

Мы выбрали тайное место, спрятали лодку и нарвали ворох ещё мягкой полыни. Ещё не угасла заря и было светло, когда Зина непослушными пальцами сорвала свою нехитрую одежду и, обнажённая, повернулась ко мне на серебристой куче душистой травы. Девушка молчала, хотя и глубоко дышала.

Торжественный и молчаливый, хотя и дрожащий от нетерпения, я тоже сбросил свою одежду и лёг рядом, подсовывая свои руки под тело Зины. Она зажмурила глаза и даже прикрыла лицо ладонями, но я стал медленно целовать её напряжённые груди, плечи, потом живот и бёдра. Зина оцепенела и слегка выгнулась. Я поцеловал её

ещё крепче, потом развёл её руки и стал целовать в губы. Зина обняла меня и едва выговорила:

— Ты можешь, ты можешь со мной...

Искренняя радость звучала в её словах. Особый восторг наполнил меня.

— Могу, милая, могу, желанная моя, — сказал я, — видишь, мои поцелуи снимают с тебя всё, что было, — и с этими словами я прижался губами к её животу, грудям и к лобку, на котором уже начали отрастать волосы.

Судорога прошла по всему телу Зины, её бёдра раскрылись, и она отдалась мне с совершенно беззаветной страстью. У ней не оказалось ни холодности, ни какой-то большой «амы» — девушка была совершенного строения и прекрасна в своей доверчивой открытости.

Извиваясь, она иногда вскрикивала по-киргизски «иа, алла!», смущалась, пряча лицо у меня на груди, шептала, что никогда не думала, что «это» может быть так хорошо.

Когда я стал целовать её в какой-то раз, Зина вдруг отстранилась, уперевшись руками в мои плечи, и очень серьёзно, глядя прямо в глаза тёмным и загадочным в лунной ночи взглядом, спросила:

— Ты говорил правду, поклянись!

Я поклялся.

— Так я не порченая, как тебе я? Не измяли меня насильники? Гожусь я, чтобы любили, чтобы женились... — голос девушки замер от волнения.

Я медленно провёл рукой по гладкому упругому телу, коснулся плеч, груди, очертил талию и плавную линию бёдер, провёл по стройным ногам.

— Смотри сама, какая ты хорошая!

Зина вздохнула глубоко, вскидывая голову, и подняла вверх руки, потом вдруг внезапно уронила их, прикрывая лицо.

— Это хорошо, что ты так говоришь, сокол мой, богом посланный, на мои молитвы ответивший, но тело сверху — это половина. Я хочу... я спрашиваю, как я там... внутри, говори, только честно и не стесняясь меня, ведь я верю тебе, как богу.

— Ну, если веришь, тогда слушай, — я привлёк Зину к себе и стал шептать, что у неё всё в порядке.

— Утешаешь? — и веря, и не веря, спросила Зина.

— Ну так смотри сама! — сказал я, раздвигая коленом её бёдра. Она сопротивлялась, не понимая, потом, глубоко вздохнув, раскрылась мне. Я стал медленно входить в неё.

— Видишь, — спрашивал я, ощущая тугое сопро-

тивление её йони, — чувствуешь? — я продолжил медленно вдавливать член, выдвинул его назад, вдвинул снова. — Теперь понимаешь, что ничего с тобой не случилось, не испортили тебя. И если сейчас туго, всего несколько дней как ты освободилась от мальчишек и от гостей, то что же будет, когда пройдёт время? Говорю, всё забудешь!

— Да! Да! Милый, милый, — громко зашептала Зина и вдруг бешено стала «поддавать», вертясь и вскрикивая.

— Вот видишь? Видишь? — нежно твердил я, но мои слова уже не доходили до Зины. Плотно закрыв глаза, девушка издавала ритмическое «а-а! ах!..», извиваясь на душистом ложе.

Прошло несколько таких свиданий в полынном нашем саду. Мне хотелось, чтобы Зина уехала раньше нас, так как я боялся джигитов бая, возможно, ещё кочевавшего где-то за разливами Иргиза. Наш хозяин Неровнов должен был ехать с грузом с Беляевой[20], и отвезти Зину на Челкар взялся сосед, везший с сыновьями груз туда.

Немного поплакав в последнюю ночь, Зина уехала на рассвете, и через четыре дня я получил от неё маленькую записку, а сосед сообщил, что

---

[20] Примечания: 20

Беляева Елизавета Ивановна (1894—1983) — палеонтолог, в то время сотрудник Геологического музея АН СССР.

при нём она села в поезд на Самару. Зина была вне опасности.

Через несколько дней перевелись на Челкар и мы все, оставив в экспедиции лишь Беляеву и Прохорова[21].

Я, как уже писал, уехал на юг, навестил маму, потом работал трактористом на Кубани, потом уехал в собственную экспедицию — поездку на гору Богдо. Как-то забыв о том, что Зина может мне написать, я, переехав на другую квартиру, — на этот раз на великолепный Каменноостровский — на улицу Красных Зорь, в отдельную квартирку наверху, забыл справиться о почте на прежней квартире.

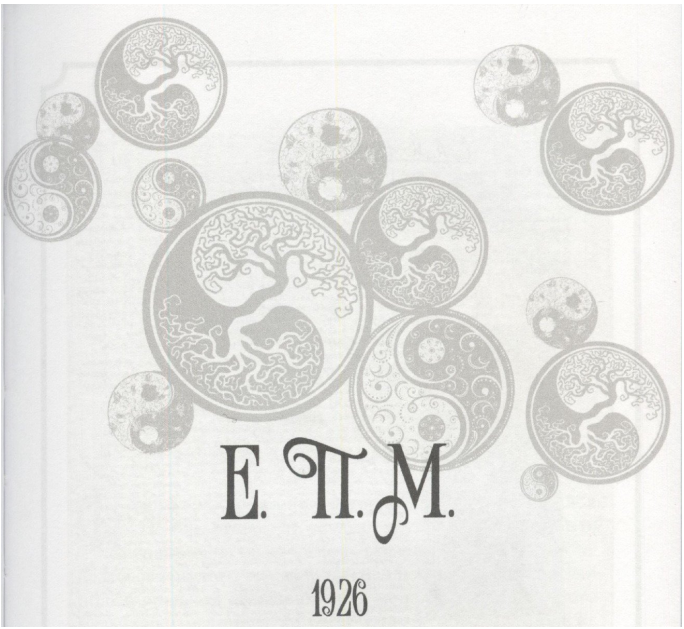
Лишь несколько месяцев спустя мне передали письмо от Зины, где она писала, что работает и скоро уезжает учиться, но куда примут, ещё не знает. Девушка просила ответить ей поскорее, ей очень нужно было знать, где я и что я... но все сроки уже прошли. Под ожившими впечатлениями, огорчённый, я разорвал письмо.

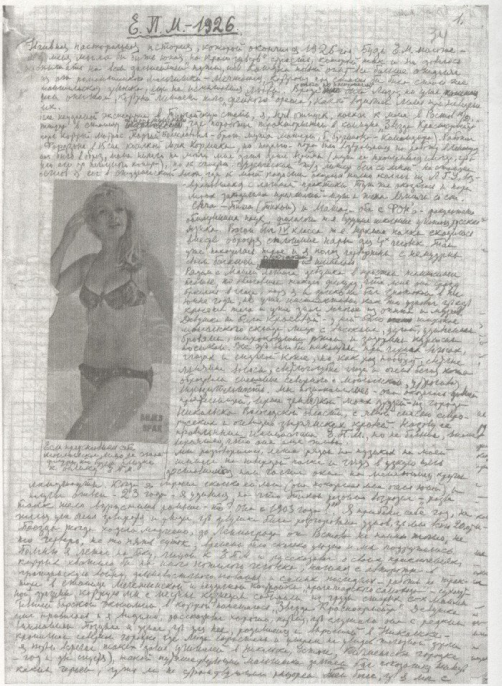
Другого не было.

---

[21] Примечания: 21

Прохоров Михаил Гаврилович (1885-1934) — препаратор, монтировщик.


E. T. M.
1926



Если представить себе монгольское лицо на этой фигуре, то будет близко к облику Е.П.М.

Наивная пасторальная история, которой окончился 1926 год. Будь Е. М. моложе — у меня могла бы быть юная — «на краю чувств» страсть, которой так и не довелось испытать на всём дальнейшем пути, ибо каждый новый опыт всё больше отдалял меня от романтического мальчишки-мечтателя, которому под стать бы была столь же романтическая девушка, ещё не испытавшая любви. Вроде того «по настроению» была Лиза, но уже с тем опытом, который лишает того «фейного» ореола, какой возможен лишь при неведении других.

После неудачной экспедиции в Тургайскую степь я, взяв отпуск, поехал к маме в Ростов-на-Дону, оттуда в станицу Милютинскую, где поработал трактористом в коммуне «Звезда Красноармейца», руководил которой матрос Георгий Болеславович[22] — брат мужа матери — бывшего будённовца-командира. Работал на

[22] Примечания: 22

Змигродский Георгий Болеславович, 1881 г. р., уроженец г. Кронштадт, русский, из дворян, беспартийный, капитан 2-го ранга царского флота, техник завода «Электроприбор». Активный участник Гражданской войны на стороне красных. Арестован 8 марта 1935 г. Расстрелян в г. Оренбург 26 октября 1937 г.

«Фордзоне»[23] в 15 сил косилкой «МакКормика»[24], но недолго — пора было возвращаться на работу в Ленинград.

Денег было в обрез, мама ничего не могла мне дать даже взаймы (муж её проигрывался иногда, что и довело его до печального конца), но, к счастью, студенческий ж/д литер был со мной. На станции Ростов я сел в студенческий вагон, где, к моей радости, оказалось полно коллег из Л.Г.У.[25], возвращавшихся с летней практики. Тут же оказалась и пара моих закадычных приятелей — муж и жена вятичи[26] со станции Свеча[27].— Тиша (Тихон) и Маша — оба с ФОНа — факультета общественных наук, филологи, будущие школьные учителя русского языка.

Вагон был IV класса, то есть верхние полки

---

[23] Примечания: 23

«Фордзон» («Fordson») — торговая марка сельскохозяйственных тракторов производства США. С 1922 по 1926 год СССР закупил таких 20 000 тракторов.

[24] Примечания: 24

«МакКормик» («McCormick») — торговая марка сельскохозяйственной техники производства США.

[25] Примечания: 25

Л.Г.У. (ЛГУ) — Ленинградский государственный университет, ныне СПбГУ.

[26] Примечания: 26

Вятичи — здесь: жители Вятской земли, ныне Кировской области.

[27] Примечания: 27
Свеча — железнодорожная станция в Кировской области.

сходились вместе, образуя сплошные нары для четырёх человек. Там уже находилось трое, и я полез четвёртым с немудрым своим багажом, рюкзаком и шинелью.

Рядом с Машей лежала девушка в простом тёмно-синем платье, но облегавшем такую фигуру, что мне она сразу бросилась в глаза, хотя я и далеко не был знатоком в те юные годы, но уже инстинктивно как-то узнавал, что есть красота тела, и уже знал многое из опыта и музеев.

Девушка не была красивой — у ней было широкое монгольского склада лицо с высокими, дугой, удивлёнными бровями, широковатым ртом и задорным курносым носиком. Всё это было бы пикантным при чёрных волосах, глазах и смуглой коже, но как раз наоборот, светлые льняные волосы, светло-голубые глаза и очень белая кожа образовали смешение северного с монгольским, приводя к утрате выразительности. Мы познакомились — она оказалась давней приятельницей, вернее, землячкой моих друзей — из города Никольска Вологодской области, с явной смесью северорусских и, очевидно, зырянских кровей. Назову её правильными инициалами Е.П.М., но не больше, весьма вероятно, что она ещё жива.

Мы разговорились, лёжа рядом на пузиках на

моей шинели на твёрдой полке и глядя в узкую щель доставшейся нам части окна на меняющиеся кругом ландшафты. Когда я спросил, сколько ей лет (она показалась мне очень юной), и получил ответ — 23 года — я удивился, на что Тихон резонно возразил — разве такое тело взрастишь раньше-то? Она с 1903 года!!! Я прибавил себе год, не желая уж очень завираться, и увидел, что девушка была разочарована, узнав, что мне всего 20 лет.

Поезда тогда ходили медленно, до Ленинграда от Ростова — не помню точно, не то четверо, не то пять суток, времени было сколько угодно, и мы подружились. Помню, я лежал на боку, лицом к Е.П.М., и рассказывал о своих приключениях, которых хватило бы на иного пожилого человека, начиная с автороты в Гражданскую войну, дальневосточного плавания и самых последних — работы на тракторе в станице Милютинской и неудачной постройки «пролетарского самохода» — сухопутной дрезины, которую мы с местным кузнецом собирали из груды старых сельскохозяйственных машин бывшей царской экономии, в которой помещалась «Звезда Красноармейца».

Девушка мне нравилась, и я, видимо, рассказывал хорошо, потому что слушала она с

редким вниманием. Позднее я узнал, что для неё, родившейся и выросшей в Никольске — крошечном северном городке, где люди вырастали и умирали, не увидев железной дороги (я потом встречал таких даже учителей в Никольске, Устюге, Кичменгском городке год и два спустя), такой путешествующий мальчишка должен был показаться невесть каким героем, чуть ли не странствующим рыцарем. Тем более что я мог с чистой совестью записать себе «рыцарский» поступок с Зиной. По ещё одолевавшей меня мальчишеской застенчивости, я не сразу рассказал об этой совсем недавней, всего двухмесячной давности истории.

Поезд приближался уже к Москве, все спали, в окно едва пробивался бледный лунный свет, и мерцал огарок толстой свечи в проходе над соседним отделением. Е.П.М. лежала с открытыми глазами, заметила, что я не сплю (мы, как и все в таком вагончике, спали, конечно, не раздеваясь), потянулась и попросила ещё что-нибудь рассказать. Шёпотом, чтобы не разбудить спавших, тесно прижавшись друг к другу, Тихона и Машу, я спросил — о чём.

— Что-нибудь о девушках, которых ты любил, — сказала Е.П.М.

— Как любил? Моя первая любовь Н.Н.М. (опять М — подумал вдруг я), — моя одноклассница, синеглазая маленькая брюнетка. Ужасно был «втрескавшись», как говорили у нас в школе.

— А потом, что с ней?

— Не знаю, — пожал плечами я.

— Так ведь это совсем недавно было, два года назад?

— Так ведь сколько с тех пор я путешествовал, и вообще.

— А всё-таки что у тебя с ней было?

Я рассмеялся, и девушка зажала мне рот маленькой рукой.

— Только и посмел поцеловаться несколько раз на вечеринках и выпускном бале.

— И всё? — разочарованно протянула Е.П.М.

— И всё.

— Так я не это имею в виду, а настоящее — до конца. Или таких не было?

— Было, — ответил я, мысленно подсчитывая: «Царица Ночи», Кунико, Лиза... Зейнаб, и улыбнулся про себя — выходит по одной любви на год.

— Четыре было таких, — немного смутившись, но подбодрённый теплотой, наконец ответил я, и девушка охнула.

— Зачем врёшь, хвастаешься!

— Зачем? — спросил я грустно и искренне, и Е.П.М. поняла, что я говорю правду.

— Так расскажи про самую... последнюю. Когда это было?

— Два месяца назад, в Тургайских степях, — ответил я и принялся рассказывать, как я лишился любимого ружья, «приобрёл» Зину-Зейнаб и расстался с нею.

Е.П.М. слушала, затаив дыхание, и, чтобы яснее различать шёпот, придвинулась ко мне совсем близко, так что я чувствовал тепло её тела, не прикасавшегося ко мне. Дыхание её участилось, когда я рассказал, как пришла ко мне ночью Зейнаб, присланная для «угощения» гостя, и едва сдерживала восклицания возмущения, когда я рассказывал о дальнейших злоключениях несчастной пленницы. Когда я говорил о ночном плавании, чтобы избежать засады, о купаньи Зейнаб, Е.П.М. протянула руку и нервно сжала мою, а когда я кончил повествование, она порывисто поцеловала меня. Я обнял её за плечи и, прижав к себе, ответил долгим поцелуем в губы. Девушка рванулась из всех сил и, задыхаясь, шепнула:

— Не смей, я поблагодарила тебя за Зину, а ты...

— А я поблагодарил тебя за тебя, — ответил я, снова с железной силой притянул к себе Е.П.М.

После короткого сопротивления она сдалась, и её губы ответили мне сначала слабо, а потом сильно, как губы молодой женщины. Мы целовались долго и голодно, как встретившиеся после долгой разлуки, шептались и наконец уснули, во сне приткнувшись друг к другу.

Утром Маша и Тихон поздравили нас шутя с «законным браком», и Е.П.М. краснела, отворачивалась, фыркала, отбиваясь шлепками. Однако я увидел, что её немного резануло замечание Маши: «Молодоват суженый-то!» — даже в форме шутки.

С этой ночи наше знакомство перешло во влюблённость, и мы сблизились, насколько позволяло бытие на вагонной полке, среди товарищей и весёлой студенческой компании, много рассказывали друг другу о себе и целовались по ночам, и Е.П.М. всё теснее прижималась ко мне, обнимая меня за шею, и я чувствовал её всю под тонким платьем — она не носила лифчика и не нуждалась в нём, под платье надевала только (как я узнал потом) короткие штанишки.

Так мы доехали до Ленинграда (в Москве перецепляли другой вагон, но мы все снова оказались

вместе, но уже в вагоне III класса, где полки были раздельны, и хотя мы с Е.П.М. забрались наверх — всё равно нас разделила «пропасть» между полками. Зато мы подолгу стояли у окна и в тамбуре, а летние сумерки становились всё дольше, и хотя белые ночи окончились, заря с зарёй ещё сходились на северном небе.

Е.П.М. была из Никольска и должна была возвращаться туда учительствовать. 1926-27 учебный год был её последним (IV курса, потом курсов тогда не было). А я был III курса (только что перешёл весной) и собирался бросать био- для перехода на геологический.

Возвращение в Ленинград обернулось одной неприятностью. Мы, петроградцы, в первые годы нэпа были избалованы изобилием свободных квартир и не привыкли ценить своё жильё. Рассчитывая на долгую экспедицию, я не хотел платить за комнату и отдал её, а сейчас по возвращении оказалось нелегко сразу найти хорошее жильё. И я поселился временно на старой квартире в единственно свободной проходной комнате, неудобной ни для занятий, ни для уединения. Этот случай насторожил меня — я увидел, что Ленинград стал заполняться людьми, и решил заняться поисками постоянного жилья. Эти поиски

в конце концов привели меня к находке великолепной отдельной квартирки на ул. Красных Зорь, 71, которую я передал после «трагической» любви к Люде и моего ухода от неё.

Но всё это было ещё впереди, а сейчас я устроился в неудобном жилье, куда даже не мог пригласить свою новую знакомую. Е.П.М. сама жила в общежитии на Мытнинской, но там был летний ремонт, и она приютилась у подруги в помещении детского сада Л.Г.У. (или ясель, я тогда не разбирался в этих делах), который выехал за город и был пуст. Вот это обширное помещение позади ФОНа и было моей квартирой, куда меня пригласила Е.П.М. «на чашку чая». Совершенно одна во всём большом здании — это может показаться странным, но то были времена большой свободы отношений, сочетавшейся с уважением к женщине, тем более к девушкам, которые чувствовали себя в полной безопасности и в мужской компании, и одиноко прогуливаясь по улицам, и оставаясь наедине с юношей. Никакой садистско-бандитской мерзости, несмотря на прошедшие войны, ещё не развелось в России. Тем более, Ленинград — город старой интеллигенции и кадровых рабочих — был совершенно свободен от каких-либо массовых хулиганств

(что не значит, что не было бандитизма вообще, но не на улицах и не часто — лишь для богатых, может быть, было опасно ходить в роскошных манто, а уж для студентов...).

И мы много бродили с Е.П.М. по Ленинграду, главным образом по островам, в эти тёплые ночи конца июля и начала августа. Не могу сказать, чтобы я был сильно влюблён в Е.П.М., но нежданно привлекла меня красота её тела.

Девушка заранее объявила мне, что она меня не любит, просто я ей нравлюсь, но я молод для неё, а у неё в Никольске есть жених, тоже учитель, старше её на пять лет, и она сберегала себя для него во всё время своего учения в университете. Что мне оставалось делать после такого предупреждения? Да я и не стремился обязательно овладеть ею. Зачем? В наших встречах мы становились как-то всё ближе и открытее, не переходя последней грани, но ведь я был странный романтик и как-то способен переключаться на красоту, которая давала мне очень полное ощущение радости и даже просто счастья. Вероятно, в душе я всё мечтал о юной фее, и не моя вина была в том, что все четыре встреченные мною женщины поспешили мне отдаться — каждая, правда, по своим особым обстоятельствам: Царица Ночи

— по неудовлетворённости от старого мужа; Куникo — потому что считала себя обязанной и не представляла, как иначе; Лиза — из лихости; Зина — из благодарности и чтобы увериться в том, что ещё желанна. А я — так и не нашёл света и счастья долгой игры сближения, влюблённости, таинственности... зато приобрёл существенный опыт и «тренировку».

Помню, когда в первый раз поцеловал её не украдкой в вагоне, а свободно в уединении и притянул к себе, я был поражён тонкость её талии — такой я ещё не видел даже у очень юных девушек — своих одноклассниц по недавней школе (с Людой и тем более Мириам я ведь ещё не встречался — эти подарки или беды судьба мне ещё готовила).

— Ну и ну! — воскликнул я, — дай-ка я померяю, — и я обхватил талию Е.П.М. пальцами обеих рук, и их немного не хватило, чтобы свести вокруг этого тонкого стана. И это удивительно сочеталось с широкими крутыми бёдрами и высокой пышной грудью — самая инстинктивно любимая мной комбинация.

После наших прогулок в парке или музее, поездок за город в Петергоф или Детское Село, Павловск мы возвращались в её жилище в пу-

стом детском саду, пили чай и снова гуляли по набережным Невы мимо сфинксов и памятника Крузенштерну, пока не видели у Масляного Буяна[28] ржавый бок лежащего «Трансбалта»[29] — огромного парохода у Горного института.

Мой отпуск кончился, и я стал работать, но сразу после работы, не задумываясь, как обычно, бежал в близкий Университет, где ждала меня девушка. Когда прогулки отложились до вечера, нам стало трудно расставаться, и я стал ночевать в той же комнате, заставленной детскими кроватями. Е.П.М. помещалась в такой кроватке, а я отыскал старый продавленный кожаный диван, невесть из какой барской квартиры, передвинул его из передней сюда же и спал на нём. Для сна было не так уж много времени — мы засиживались часов до трёх ночи, целуясь и разговаривая. Наши объятия, несмотря на запрещения Е.П.М.

---

[28] Примечания: 28

Масляный Буян — масляные склады в юго-восточной части Васильевского острова. Склады огибал прорытый с целью противопожарной защиты канал, называемый Масляным или Маслобуянским. Засыпан в первой половине XX века. В тексте речь идёт, по-видимому, именно о канале. Ныне на месте канала проходит улица Масляный канал.

[29] Примечания: 29

«Трансбалт» — грузопассажирский пароход, построенный в 1899 году в Гамбурге и приобретённый в 1905 году Морским ведомством России. Погиб 13 июня 1945 года, торпедированный американской подводной лодкой «Spadefish» в проливе Лаперуза.

и моё клятвенное обещание, становились всё смелее. Или я приходил к её кроватке и, встав на колени, ласкал её под грубой рубашкой (не было тогда тонких комбинаций у бедных студентов! И попробуй-ка я подарить что-нибудь такое!..), пока не поднимал высоко рубашку и открывал её груди с их маленькими, бледно-розовыми, дерзко поднятыми вверх сосками, и тогда целовал их. А однажды я вместе с поцелуями стал ласкать соски языком, и девушка замерла так, что я подумал, не потеряла ли она сознание. Но последовавшее за этим крепкое объятие её рук и поцелуй, тоже с языком, по-новому, убедил меня в том, что Е.П.М. вовсе не равнодушна к моей страсти.

Удивительный цвет кожи был у неё — молочно-опаловый, как бы светящийся изнутри. В светлую летнюю ночь мне казалось (а может быть, так и было?), что тело девушки светится в полумраке. Гладкая её кожа совсем почти была лишена волос, даже в тех местах, где их должно быть много, — треугольник богини и подмышки Е.П.М. покрывал нежный шелковистый пушок.

Е.П.М. не носила никаких поясов — её чулки держались на пояске из резинки, к которому была пришита обычная резинка с пряжками. Коротенькие штанишки, простая рубашка — вот

и весь нижний бесхитростный наряд, который нисколько не был важен на прекрасном теле, а наоборот, почти ничего не скрывая, только подчёркивал её фигуру.

Е.П.М. понравились мои поцелуи, когда я стоял на коленях у её постели, и я стал повторять их, в то же время целуя всё больше мест на её теле и от плеч и грудей спускаясь всё ниже по женскому животу. Е.П.Н. впадала в какое-то оцепенение и лежала вся напрягшись, с плотно зажмуренными глазами, а я осторожно сдвигал вниз резинку штанишек, целуя её над лобком и в складочки паха, где её нежная кожа была особенно нежна. Сначала девушка замирала, а потом вся выгибалась мне навстречу. Однажды я, очень воспламенившись, одним резким движением руки (в момент, когда она приподнялась) сорвал штанишки, опустив их ниже колен и обнажив её великолепные бёдра. Е.П.М. замерла, даже её дыхание остановилось, но я покрыл поцелуями её бёдра и треугольник богини. Девушка стала дышать часто-часто, её плотно сжатые колени ослабли, и я просунул руку между ними, подложив свою широкую ладонь под её гладкий зад, а другой рукой обняв за шею, притянул её голову и крепко поцеловал в губы. Наш поцелуй длился так долго, что девушка

будто лишилась сознания, но тут я почувствовал, как крепко её бёдра обняли мою руку и йони, горячая и влажная, прижалась к сгибу руки. Едва переведя дыхание, я поцеловал её снова и ощутил, как её бёдра слегка задвигались вокруг крепких мышц моего широкого предплечья, ещё сильнее прижимая йони к нему. И вдруг с усилием воли Е.П.М. оттолкнула меня, отодвинулась, натянула на себя маленькое детское одеяльце и отвернулась к стене. Её дыхание, частое, с чуть слышным всхлипом, не позволило мне понять — смеётся она или плачет. Вдруг она села, прикрываясь одеялом до подбородка, и устремила на меня упорный взгляд широко раскрытых глаз — она смотрела на меня так в какие-то важные для себя минуты.

— Зачем я тебе? — очень серьёзно спросила она.

— А я тебе? — ответил я контрвопросом.

Девушка опустила ресницы:

— Нравишься мне, вот в чём моя беда.

— Беда? А, я понимаю, — недовольно сказал я, хмурясь, — а вот ты вовсе никакая не беда, а очень хорошая.

И я коротко, пожалуй, резко рассказал Е.П.М. о своих мечтах о красоте, о необъяснимой тяге

к прекрасному женскому телу, о том, как ещё мальчишкой — школьником ходил в музеи и украдкой любовался, краснея и смущаясь, «Лежащей вакханкой» Гёте[30] в Эрмитаже, «Венерой» Витали[31] и «Укротительницей змей» Бернштама[32] в Русском музее.

— И кто же больше похож на меня, вернее, я на кого похожа?

— Пожалуй, на вакханку Гёте, но не совсем, зато я знаю одну статую, совсем похожую на тебя.

Я имел в виду одну прекрасную статую обнажённой женщины, стоявшей заложив руку на затылок и смотрящей вполоборота на два соседних пустых пьедестала в заброшенном саду чьего-то пустого дома на Каменном острове. Я открыл её, увидев через провал в заборе, и изредка навещал. Тогда не существовало ещё мерзкого хамья, разбивавшего и поганившего статуи, и статуя стояла несколько лет, а затем внезапно исчезла — её куда-то увезли примерно в 1928 году.

---

[30] Примечания: 30

Имеется в виду статуя Гёте Г. «Спящая вакханка», мрамор, 1827. Эрмитаж.

[31] Примечания: 31

Витали И. П. «Венера», мрамор, 1852. Русский музей.

[32] Примечания: 32

Бернштам Л. А. «Укротительница змей», мрамор, 1893. Русский музей.

Я так и не знаю, чья это статуя и чья дача.

Е.П.М. потребовала, чтобы я её отвёл туда сегодня же. Я, распалившись, хотел целовать её снова, но она тихо, скорее, печально напомнила мне об уговоре.

— Так у нас с тобой быстро дойдёт до конца, а ты знаешь — я не могу.

Её тихая печаль подействовала на меня сильнее всего, и я больше не трогал её в эту ночь.

Вечером следующего дня, едва я вернулся из Академии и мы пообедали в столовой Университета, мы пошли на Каменный остров, путаясь в лабиринте жилых и нежилых построек, пока не нашли отверстие в заборе. Уже вечерело, и я торопился, чтобы Е.П.М. увидела статую при хорошем свете.

Полная тишина стояла в заброшенном саду.

Мрамор статуи посерел и покрылся пятнами лишайников, а постамент — свежим жёлтым мхом. Она стояла у берёзы, между большими кустами запущенной, выродившейся сирени. Великолепная нимфа выпрямилась как перед прыжком, одну руку подняв к волосам, а другую опустив вниз, делая лукавый и отстраняющий жест. В самом деле, она очень походила на Е.П.М. и пышной высокой грудью, с дерзко поднятыми

сосками, и резким перехватом узенькой талии, и крутыми дугами бёдер, и силой стройных ног. Я с всегдашним восхищением подвёл подругу к моей давней «приятельнице»:

— Смотри, разве это не ты? А знаком я с ней с 1922 года.

Е.П.М. замерла, входя в свою сосредоточенную неподвижность, и смотрела на статую так долго, что стало смеркаться. Тогда она обошла её со стороны кустов и вдруг сказала мне, чтобы я посмотрел, нет ли кого кругом. Я ответил, что никого тут не бывает.

— Ну, отвернись на минуту, — сказала девушка.

Я, думая, что ей нужно что-нибудь, послушно стал смотреть на гаснущее небо...

— Иванушка! — вдруг хрипло, взволнованно окликнула меня Е.П.М.

Я обернулся и остолбенел.

На соседнем с нимфой постаменте стояла абсолютно нагая Е.П.М., приняв с удивительной точностью позу статуи. Её молочно-опаловое тело буквально светилось в сумерках, и я стоял, зачарованный живой красотой, будто моя нимфа ожила по моему желанию, как Галатея.

Девушка вздрогнула и вздохнула:

— Хватит смотреть, устала.

Я бросился к ней, чтобы снять её, обнял за бёдра и прильнул губами к «треугольнику богини», приходившемуся как раз на уровне моего лица. Девушка резко дёрнулась, соскочила на землю и скрылась за пьедестал, где оставила свою одёжку. Я снова отвернулся, чтобы дать ей одеться, хотя уже совсем смерклось.

Мы вылезли через дырявый забор и молча пошли по широкой аллее, давно не метённой и покрытой веточками и прошлогодними листьями. Первой нарушила молчание Е.П.М.

— Похожа я?

— Да, совсем, — убеждённо сказал я.

— Вот видишь!.. — и девушка умолкла.

— Что видишь? — спросил я.

— Видишь, нам нельзя быть вместе, я — такая, и ты...

Е.П.М. снова умолкла.

Не совсем понимая её, я стал протестовать, вспомнил о своём возрасте, о том, что ещё снова надо учиться на геологическом, о своих экспедициях и главное — что Е.П.М. — 1903-го, а я — 1907-го года: в 1926 году это была серьёзная разница, особенно в смысле устройства жизни для девушки, которую я вдобавок ещё не любил

по-настоящему. Это знала и она, и я, не спрашивая. Да и она сама настолько стеснялась своего увлечения мною, что тоже не полюбила по-настоящему — просто, наверное, была очень одинока.

Всё это сообразив, я решился (в этом возрасте мы все очень решительны).

— Так что же, ты не хочешь больше видеться? — задал я тяжёлый вопрос.

Мы уже вышли на свет редких фонарей, и я увидел, что у Е.П.М. перехватило дыхание, и она остановилась. После тяжкого молчания она тихо сказала:

— Я хочу, но не могу. Не могу больше. Скоро занятия, а весной мне ехать в Никольское — насовсем.

Рука об руку, как дети, огорчённые и молчаливые, мы дошли до ворот Университета. Я проводил девушку к детскому саду, и она долго целовала меня, не отпуская. Наконец, усталый от долго сдерживаемой страсти, я пошёл домой со странным чувством облегчения.

Однако история эта имела ещё два конца. Я скучал по Е.П.М., но более не приходил к ней. Помогло ещё то, что два знакомых мне автомобильных механика П. и Ш. пригласили меня на помощь в разборке автокладбища, откуда можно

было собрать и пару автомашин, и несколько моторов. Заработок был по тем временам баснословный, он и позволил мне выписать «Харлей»[33] через Севзапгосторг — тогда были и такие возможности! Но работа была всерьёз — после Академии, наскоро пообедав и — за полночь, так как надо было как можно скорее «разработать» эту «золотую россыпь», пока не добрались до неё конкуренты (потому и меня пригласили, а то не видать бы как своих ушей).

В этой бешеной работе моя разлука с Е.П.М. совсем показалась мне пустяком, и я вернулся к памяти о ней лишь через полтора месяца, когда наш важный швейцар Геологического музея подал мне конверт.

— От кого? — спросил я, разглядывая незнакомый почерк.

— Какая-то девочка приносила, — ответил швейцар.

Я вскрыл письмо, и оно оказалось первым, полученным мною от Е.П.М.

---

[33] Примечания: 33

«Харлей» — мотоцикл фирмы Harley-Davidson Motor Company производства США. Вероятнее всего, имеется в виду модель 1926 или 1927 года выпуска, с двухцилиндровым V-образным двигателем объёмом 74 кубических дюйма (около 1200 кубических сантиметров) серии FD с зажиганием от магнето либо серии JD с аккумулятором. (Примечание А. Афанасьева.)

Она просила повидать её как можно скорее в известном мне месте, то есть в детском саду. «Россыпи» авточастей были уже разработаны и вывезены к нашему «боссу» П., и теперь работа не была столь стремительной, да и мы больше волынили, отдыхая после напряжения полутора месяцев. Я пошёл вечером в детсад, оказалось, что Е.П.М. устроилась на работу туда и получила комнату на верхнем этаже, над помещениями.

Девушка встретила меня так, как будто мы не разлучались, — бросилась ко мне, обняла за шею и вся прильнула ко мне. Я ответил поцелуем, но потом всё же спросил — что изменилось?

— Ничего, — как-то беспечно отвечала Е.П.М., — просто очень соскучилась по тебе, а ты?

— Я тоже, — не совсем искренне отвечал я, и девушка опустила глаза и вдруг ахнула, увидев мои перераненные в спешной слесарной работе, чёрные от въевшегося масла руки.

— Что тебя удивило? Ведь когда мы познакомились в вагоне, у меня были такие же руки после трактора. А потом занялся автомобилями.

— В вагоне, — мечтательно сказала Е.П.М. и тут обняла меня с небывалой силой.

Мы целовались как прежде, потом я сходил на Петроградскую через Биржевой мост и принёс

нам поужинать, взяв даже бутылку вина — тогда мы не пили ничего крепче 16 градусов, а девушки и подавно.

После чая я собрался домой, но Е.П.М. стала уговаривать меня побыть ещё.

— Переночуй, если хочешь, — тихо сказала она, когда я возразил, что неудобно от неё уходить поздно, — да и в квартире никого нет, две уборщицы спят внизу, а воспитательница всё ещё с детьми за городом. Меня взяли авансом, перед приездом детей, чтобы я приготовила помещения.

Я решил остаться — какой-то новый оттенок в отношении Е.П.М. ко мне заинтриговал меня. Нацеловавшись, мы улеглись — у девушки теперь была настоящая кровать, и сюда же перекочевал старый кожаный диван с толстыми стальными бортами из передней, уже служивший мне ложем.

Я лёг, в окно светил высокий фонарь, хорошо освещавший постель Е.П.М., и я видел её широко раскрытые глаза, уставленные на меня, и разметавшиеся по подушке косы, заплетённые на ночь. Девушка смотрела на меня молча, закрывшись одеялом до подбородка, молчал и я. Вдруг она сказала:

— Ты не сказал мне спокойной ночи.

— Сейчас, — ответил я, вскакивая и садясь в одних трусах.

— Нет, нет! — воскликнула Е.П.М. — Не приходи. Я сама скажу тебе.

И с легким топотком босых ног, прикрывая обнажённую грудь, девушка перебежала комнату, одним дыханием поцеловала меня и побежала было назад, но я поймал её и посадил на колени, как много раз до этого, стал целовать, согревая спину ладонями и откидывая её назад на руках, целовал и ласкал кончиком языка соски грудей. Е.П.М. скоро забылась, щёки её запылали, глаза зажмурились, и она стала выгибать спину, подставляя мне сами груди. Я, продолжая сидеть, поднял её на руках, чтобы поцеловать живот и бёдра, она вытянулась струной, и я отодвинул на ноги мешавшие мне штанишки и стал сильно и долго целовать её треугольник и нежные складочки паха. Е.П.М. крепко держала меня за плечи, потом вся сникла, как неживая, и я вновь опустил её к себе на колени. Штанишки соскользнули с её ног, и девушка оказалась совершенно обнажённой, что привело меня в раж, и я ласкал, целовал, сдавливал её в железных (буквально, при моей силе) объятиях.

Е.П.М., не разжимая век и не отнимая рук от моей шеи, стала понемногу, потом сильнее покачивать и вертеть бёдрами, чувствуя мой член сквозь тонкие трусы. Девушка, не зная ещё мужчину, делала это бессознательно, а я полусознательно, правда, скорее инстинктивно, чем обдумав, приподнял её и сдвинул трусы. Её йони стала соприкасаться с моим членом, даже в этом неудобном положении они искали друг друга, и головка немного вошла во влажные горячие губы. Я забыл обо всех добрых намерениях, взял ногу девушки, приподнял её и перекинул через себя. Е.П.М. оказалась верхом на моих коленях, и тут мой член вошёл в неё глубоко, она вскрикнула и стала отстраняться, но я уже не смог остановить яростного самца, в которого превратился. В мгновение ока, не спуская девушки с колен, я бросил её на диван и оказался на ней, всадив напряжённый, как кол, член на всю глубину, потому что Е.П.М. не могла ни отодвинуться, ни уклониться. Она громко вскрикнула от боли и неожиданности, расцарапала мой живот, пытаясь освободиться, но я, подняв её ноги на борт дивана (так оказалось, когда мы упали на него), лишил её возможности сопротивления и нацело овладел ею.

Потом мы долго лежали молча — Е.П.М. не глядя на меня и не говоря ни слова, пока не встала, бросилась, накрываясь моим одеялом, из комнаты, а я с ужасом (это была моя первая невинная девушка) увидел на простыне огромное (или оно показалось таким), чёрное в тусклом свете пятно крови. Я испугался, что своей несдержанностью сделал Бог знает что, но меня скоро успокоил тихий, грустный, но спокойный голос Е.П.М., которая из-за двери велела мне подать ей простыню и всё, что там испачкалось.

Я отправился на смену ей, и, когда вернулся в комнату, девушка, ставшая женщиной, лежала в своей постели, глядя вверх и не обращая на меня внимания. Я тоже молча улёгся и тоже лежал на спине, молча и переживая угрызения совести.

— Ты будешь меня презирать теперь? — вдруг тихо спросила Е.П.М.

— Боже мой, за что? — воскликнул я так горячо и искренне, что девушка ответила менее уверенно:

— За мой позор — я пришла сама и отдалась тебе, как... — она умолкла, прикрыв лицо рукой.

— Как милая возлюбленная, как желанная, — закончил я, — если уж есть здесь чья вина, так это моя. И то не очень — уж слишком ты хороша,

чёрт и тот не выдержит, — сказал я так убеждённо, что через пальцы блеснул чуть повеселевший глаз девушки.

— Если есть в чём тебя упрекать, так только в том, что сгрёб меня как медведь, силища такая, я и охнуть не успела.

— Ахнуть-то успела, — угрюмо сказал я, и Е.П.М. вдруг фыркнула и, помолчав, тихо сказала:

— Значит, я за тебя замуж вышла... не думала... Хоть и чуяла, что так всё у нас не пройдёт. Ну, если муж, то иди ко мне, муженёк! — не то нежно, не то насмешливо сказала она.

Я не понял сразу, что она смеётся над собой, а не надо мной, и неохотно, слегка обижаясь, пошёл к ней.

Она лежала без рубашки, и пылающее её тело во весь рост прильнуло ко мне на узкой постели. Я стал гладить её щёки и нежно целовать.

Немного спустя она спросила:

— Это что, всегда так будет?

— Как? — не понял я.

— Больно так.

— Вовсе нет, не знаю, как сейчас, а потом совсем не будет, больше никогда.

Е.П.М. вздохнула, прижимаясь ко мне и раскрывая колени под моими коленями. Она боязливо

сжалась от прикосновения к её йони, всхлипнула и слегка застонала, когда я осторожно и нежно снова вошёл в неё.

— Ещё больно, — шепнула она, но я надолго задержал член в её йони, медленно лаская её и нежно целуя, и понемногу она стала отвечать мне.

Потом мы оба заснули в объятиях друг друга, а утром Е.П.М. отдалась мне уже как настоящая женщина, так крепко обняв меня ногами, как верховую лошадь, и самозабвенно целуя меня.

С этого утра Е.П.М. резко переменилась. Её сдержанность и серьёзность уступили место самой пламенной страсти. Мы совсем перестали гулять. Я приходил с работы не задерживаясь, и девушка нетерпеливо ждала меня. Она бросалась мне навстречу, я запирал дверь, обнимал её, крепко прижавшуюся ко мне и замершую в поцелуе, затем снимал через голову её единственное платье, чтобы не перемять его. Она оставалась в одной полоске из узких резинок и чёрных чулках (бюстгальтера она никогда не носила, а штанишки не надевала в ожидании моего прихода) и тут же отдавалась мне, не успевая снять даже туфли, один раз, другой, и после этого мы одевались снова, ели, разговаривали, раздевались, и опять

всё начиналось сначала.

Е.П.М. постепенно становилась искуснее. Она уже не только замирала, крепко обняв меня ногами, а стала извиваться, выгибаясь и виляя бёдрами, а сквозь её учащенное дыхание всё чаще прорывались лёгкие стоны. Она отдавалась мне днём, вечером, ночью и утром по нескольку раз, потом я уходил в Академию, а она возвращалась к своим делам в детском саду (занятия на старших курсах начинались лишь в октябре). Но девушка больше никогда не называла меня мужем, как в первую ночь. Так прошёл примерно месяц или немного больше, с единственным естественным перерывом по женским причинам, чему она была очень счастлива, опасаясь беременности, хотя она (не я) принимала какие-то меры.

Однажды я пришёл в обычное время и увидел Е.П.М. в слезах. Я не мог дознаться причины, и девушка тут же отдалась мне с особенным неистовством, сама сорвав с себя всё до последнего. Лишь позднее, отойдя от моих поцелуев, она сказала:

— Так, получила одно письмо, — и вдруг, приподнявшись на локте и глядя, по обыкновению, на меня пристально и в упор, закончила:

— Ты можешь исполнить мою самую большую,

огромную просьбу?

— Конечно, — без раздумья отвечал я.

— Ты можешь куда-нибудь уехать хоть на месяц?

— Ты серьёзно? Зачем?

— Очень серьёзно, слушай, милый, — и она стала объяснять мне, что мы обязательно должны расстаться, иначе у неё будет катастрофа, да и к тому же она обязательно забеременеет. Я спросил, имеет ли письмо отношение к Никольску, и она отвечала утвердительно.

— Пойми, я не в силах расстаться с тобой, если ты меня сам не понимаешь!

— Один раз уже пробовала, — угрюмо сказал я, — и я помогал.

— Да, это была моя ошибка, моя слабость, — в голосе Е.П.М. зазвучали слёзы.

— Так я не виню тебя ни в чём, моя желанная, — ласково сказал я, — виноват и я нисколько не меньше тебя. Оба хороши, — рассмеялся я, и Е.П.М. впервые за вечер улыбнулась.

На следующий день я сказал академику Суш-

кину[34], что не прочь съездить на гору Богдо[35] даже на свой счёт для поисков яиц стегоцефалов — такой проект обсуждался ещё летом, но не достали денег.

Пётр Петрович высказал опасение, что поздно.

— Ничего, на юге ещё не будет холодно, впрочем, и лучше, если в этих жарких степях будет прохладнее.

Сушкин не только охотно согласился (он в то время как раз работал над стегоцефалами с Богдо), но и выхлопотал мне 50 рублей на «полевое довольствие». Ферсман[36] в качестве и. о. непременного секретаря подписал решение Президиума, и я получил 50 рублей (билет без плацкарты туда и назад стоил 36 рублей). Такова была Академия наук СССР в 1926 году.

Через три или четыре дня я уехал после бешеного прощания со мной Е.П.М.

---

[34] Примечания: 34

Сушкин Пётр Петрович (1868-1928) — русский и советский зоолог и палеонтолог, академик АН СССР.

[35] Примечания: 35

Богдо — гора Большое Богдо в Астраханской области России, близ солёного озера Баскунчак, самая высокая точка в Прикаспийской низменности (146,6 м).

[36] Примечания: 36

Ферсман Александр Евгеньевич (1883-1945) — российский и советский минералог, кристаллограф, геохимик, профессор, академик РАН (1919) и вице-президент АН СССР (1926-1929).

Тёплое начало осени на Баскунчаке, упорная работа с утра и до темноты на склонах горы Богдо под постоянным чистым и сухим ветром, в запахе полыни и нагретого камня, переборка тысяч плит известняка. Уютный дом в патриархальной семье, где меня приняли как родного. Правда, спасаясь от блох, я ввинтил четыре крюка в потолок веранды и подвесил на верёвках крышку топчана, на которой устроил свою постель.

Каждый вечер, раздеваясь донага, я забирался наверх и зато спал как бог, никем не тревожимый, покачиваясь, под свист ветра, залетавшего на веранду.

Ел тоже как бог — огромная чашка великолепных помидор плюс такая же чашка свинины + стакан водки. Свинина — такую сейчас не ест никто! Сколько угодно арбузов и огурцов — те и другие три рубля воз на базаре в Верхнем Баскунчаке.

За месяц такой здоровой жизни я поздоровел, как бык, поправился от всех излишеств и автомобильной работы, и месяца любви Е.П.М.

Я пробыл ещё дней десять сверх месяца с неохотой расстаться с просторами Баскунчакской, плоской, как тарелка, степи и своим орлиным уединением на склонах одинокой горы Большое

Богдо, но холод становился всё сильнее, напоминая о необходимости возвращаться, и в октябре я вернулся в Ленинград, уже хмуровато-дождливый.

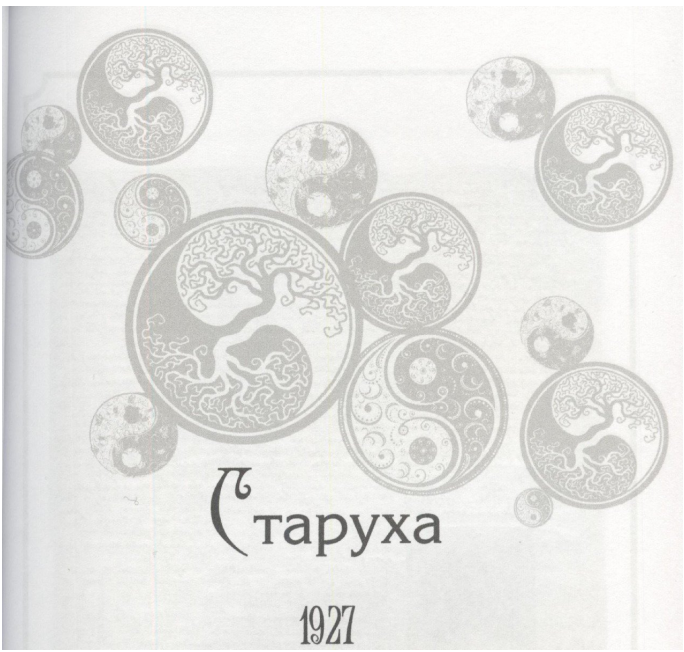
Верный обещанию, я не увиделся с Е.П.М. больше, но судьба ещё раз свела нас поздней весной 1927 года, когда я неожиданно проезжал на почтовом через город Никольск, родину Е.П.М.

Я знал, что она уехала туда ещё в апреле, знал адрес (через Тихона) и не мог удержаться, чтобы не зайти к ней. Я застиг девушку в большом пустом доме (родителей почему-то не было — не помню, что она мне сказала).

Мы очень немного поговорили, потом я посадил её на свой тарантас, и она немного проводила меня за город (я ехал в Вахнево на р. Шарженьге), пела свои любимые старые романсы. Из них помню «Дорогой длинною, погодой лунною...» и «Ты едешь пьяная, ты едешь бледная...». Потом мы расстались на повороте.

Увлечённый раскопками, первым большим успехом в открытом местонахождении стегоцефалов в Большой Слудке на Ветлуге и деревне Вахнево на Шарженьге, я был совершенно счастлив, но судьба уже готовила мне новые превратности с Афродитой — новый и роковой дар

— Люду, хотя до этого мне пришлось испытать ещё одно приключение (в 1927 году) со старухой-хозяйкой. А в Ленинграде меня ждали белые ночи, мой новенький «Харлей» и подножка судьбы в виде Люды.





Небольшая история о «старухе».

В 1927 году я ездил в свою вторую в жизни очень успешную палеонтологическую экспедицию — на Север, где открыл местонахождение стегоцефалов. Самый далёкий маршрут в конце экспедиции был недолгий, я уже закончил раскопки (всего ассигнований было 1200 руб.). Мой поход на реку Лузу в урочище Чёрный Бор, где также были выходы пермфауны[37]. Я ехал на лошадях по маршруту Коржа[38] — Лальск[39] — станция Луза и застрял на несколько дней в Лальске из-за проливных дождей, ливших неделю без перерыва.

Ямщик отвёз меня в дом, где он обычно останавливался, — старинный дом бывшего шорника. В Лальске — крохотном (тогда) городишке никакого квартирного кризиса не было, и дом был в полном владении вдовы шорника, устроившей в его огромном дворе нечто вроде склада для приезжавших знакомых ямщиков и тем про-

[37] Примечания: 37

Имеется в виду фауна пермского периода.

[38] Примечания: 38

Коржа — река, приток Лузы. При впадении Коржи в Лузу находится поселок Коржа (Коржинский) Прилузского района республики Коми.

[39] Примечания: 39

Лальск — город, ныне посёлок городского типа в Лузском районе Кировской области.

мышлявшей.

Дом был большой, двухэтажный (собственно, со светёлкой наверху, как обычно на севере), за высокими гладкими воротами. Хозяйка — очень строгая, как сказал ямщик, показалась мне (тогда мне было 20 лет) неказистой старухой с выступающими скулами, лицом с морщинами (на мой взгляд), в тёмном, монашеского вида платке (в доме было ещё много икон). Ко мне она отнеслась приветливо, поместила в верхнюю светёлку, кормила (всё за плату, конечно) и согласилась, чтобы я прожил у неё несколько дней, пока установится погода для исследования отложений из глин у самого уровня воды — нужно было, чтобы породы более или менее высохли.

Дома я отдыхал, разговаривал с хозяйкой, удивлялся её грудному чистому голосу, оживлённому блеску глаз. В доме никого, кроме её племянницы — тощей белобровой скучной девочки, не было. Дочка хозяйки была замужем за железнодорожником на станции Луза, как она мне рассказала.

На второй день с утра всё то же серое небо, постоянная туманная пелена и частые завесы унылого прямого дождя. Я попросил у хозяйки что-нибудь почитать. Она сказала, что где-то был

комплект «Нивы»[40], и мы пошли на лестницу против моей светёлки, где в получердачных клетях стояли какие-то запылённые шкафы, а на них вороха всякого хлама. Хозяйка велела мне подставить табуретку, сбросила сапоги, в которых только что выходила на двор, и полезла наверх, поднимаясь на цыпочки и передавая мне какие-то старые псалтыри и ветхие коробки, которые я складывал рядом на полу.

Нагибаясь и поднимаясь, я как-то внимательно посмотрел на её ноги и поразился. Как ни юнец я был тогда, но безупречная красота её стройных ног с гладкой юной кожей была мне понятна и заставила залюбоваться.

— Ты чему удивился? — спросила она, протягивая мне очередную пачку хлама, которую я не взял сразу.

— Очень ноги у вас красивые! — сказал я, смутившись.

— Вот ещё что выдумал! — не очень сердито сказала она и отвернулась к шкафу.

— Да в самом деле! Ей-богу! — заверил я.

---

[40] Примечания: 40

«Нива» — самый популярный иллюстрированный русский еженедельный журнал для семейного чтения, издававшийся с 1869 по 1918 год. Страницы «Нивы» имели сквозную годовую нумерацию для последующей брошюровки годовых комплектов. Обложки для них высылались редакцией.

— Ну ладно, подумаешь, какой знаток! Что я тебе, кобыла?

Обидевшись, я умолк, а хозяйка, покосившись на меня, потянулась ещё выше и, пошатнувшись, ступила на край табуретки, которая поехала назад. Я мгновенно подхватил женщину под бёдра, а другой рукой за талию, чтобы не дать ей упасть назад, от меня. Она инстинктивно ухватилась за мою шею и на секунду прижалась ко мне грудью. Я коснулся её груди лицом, с новым изумлением чувствуя, что её грудь твёрдая, как не у всякой девчонки, талия тонка, а бёдра крепки и круты. Остолбенев от изумления, я продолжал держать её на весу — это был для меня пустяк, так как я уже в ту пору был силён, как конь.

— Пусти же, чего ты! — она упёрлась в мою грудь, оттолкнулась и, вырвавшись, спрыгнула на пол.

Я заметил, что она зарумянилась и опустила свои тёмные глаза. Я тоже отступил, поднял упавшую табуретку и отвернулся.

Хозяйка, помолчав, снова влезла на табуретку, взялась было за связку каких-то бумаг, но остановилась и оглянулась на меня.

— Что ты какой стал?

— Какой такой? — нехотя пробурчал я.

— Ну сам знаешь! — сказала хозяйка, и лукавинка в её голосе ободрила меня.

— Так и вы знаете, — я уставился на неё в упор, — что... что вы хорошая очень!

— Ишь ты, кто тебя научил в бабах понимать? Скажи по правде, думал, я старуха?

Я только кивнул головой.

— Так с вами, молодыми, возраста не понимают, пока не научатся. А что, я понравилась, что ли?

Я почувствовал, что краснею, но решил не сдаваться и сказал твёрдым голосом:

— Да! — как отрубил.

— Ишь ты! — не то возмутилась, не то одобрила хозяйка. — Да вот тебе и книги.

Она подала пожелтевший, но хорошо сохранившийся, видно, мало читанный комплект «Нивы» за какой-то старый год.

— Подай мне всё назад!

Я передал ей снятый сверху хлам, и она, поставив его на место, обтёрла руки о передник и взглянула на меня сверху с той же лукавинкой.

— Ну, сними меня, что ли, как ты такой сильный.

Я с радостью подхватил её и задержал на руке, а она, пристально глядя на меня, вдруг нежно погладила меня по лицу.

— Так понравилась? — тихо спросила она, не делая попытки освободиться.

В ответ я только кивнул головой и прижал к себе так крепко, что женщина охнула.

— А что, ежели ночью да приду к тебе? — шепнула она и резко извернулась, соскальзывая на пол.

— Конечно, приходи! — радостно сказал я, уже загоревшийся желанием и любопытством, обнял её за плечи и прижал к себе.

— Ладно, ладно, я пошутила! — оттолкнувшись от меня и подхватив табуретку, она сбежала по лестнице вниз, где была кухня, за печкой — её жильё и клетушка для племянницы плюс необитаемая, но украшенная фикусами и дорожками горница.

Я листал старую «Ниву» и чувствовал себя както неловко — казалось предосудительным, что я только что обнимал «старуху». Но воспоминание о прикосновении её горячего, крепкого, молодого тела заставляло кровь приливать к моему лицу и сердце учащённо биться.

За ужином (я спустился вниз в обычное время и сидел, наблюдая за хлопочущими женщинами, пригреваясь от сытости у тепловатой печки — она не топилась, но всё же на каменке давала

немного тепла) хозяйка (забыл, как её звали, кажется, Евдокия) спросила, сколько мне лет.

— Двадцать, — честно ответил я, как ни хотелось мне быть постарше.

— Э, гляди-ка, вровень с моей дочкой! — усмехнулась хозяйка, и я, чуть покраснев, опустил глаза перед её особенным, пристальным, непроницаемым, но мне казалось — насмешливым взглядом.

Лишь потом я сообразил, когда она сказала, что вышла замуж 18 лет, что ей 39 и никак не больше сорока, но это ведь «старуха» для двадцатилетнего, особенно когда её лицо было с морщинами от нелёгкой жизни, широкие скулы — признак зырянской крови — и чёрные волосы несколько ещё старили её, а неприметная одежда северной крестьянки скрывала её великолепную фигуру (теперь-то я знаю, что, если соответственно одеться и причесаться, она могла бы пользоваться успехом и не у таких, как я — случайных встречных, а опытных знатоков).

Дождь продолжал итти, и «сомкнутая» северная заря не появилась, светлая июльская ночь была гораздо темнее обычного, хотя и на дворе можно было свободно всё разглядеть.

Я поблагодарил хозяек и пошёл из-за стола —

мы говорили часов до девяти вечера. На обратном пути со двора я столкнулся в тесном коридоре с хозяйкой, загородил ей дорогу и, волнуясь, сказал:

— Так придёте?

Она протянула руку в полумраке, я взял её и почувствовал сильное пожатие пальцев.

— Спасибо тебе, вижу, что по-настоящему ты ко мне тянешься, без кокетованья, — шепнула она, — там увидим.

И исчезла за дверью.

Я поднялся наверх, зажёг свечу и примерно час читал «Ниву», чутко прислушиваясь к молчаливому дому, но, кроме однообразного шума дождя, ничего не было слышно. Изредка какое-то поскрипывание или потрескивание дерева старого дома заставляло вдруг взволнованно биться сердце и прерываться дыхание, но... ничего.

Я откинулся на постели, погасил свечу и вглядывался в светлый прямоугольник маленького оконца, чувствуя, как отходило напряжение, и я успокаивался, что она не придёт. И вдруг я ничего не услышал, а увидел бесшумно приоткрывшуюся дверь, белый силуэт, мелькнувший в чёрном её зиянии, лёгкое звяканье запертого крючка. Хозяйка подходила, склоняясь и вглядываясь в

моё лицо на подушке.

— Не спишь? — тревожно спросила она, увидев мои раскрытые глаза, и по неровному, перебивами, дыханию я понял, что она взволнована вряд ли меньше меня.

— Нет, жду тебя, — невольно называя её на ты, сказал я, приподнимаясь, но её рука надавила мне на грудь.

— Лежи, лежи, — с этими словами она скользнула под лёгкое одеяло, которым я был прикрыт до пояса.

Я обнял её за талию, привлёк к себе и сразу почувствовал упругую теплоту тела с приятным, каким-то сильным запахом. Я скользнул рукой по толстой льняной рубашке, беря её под колени, а она уткнулась мне в грудь, тяжело дыша, и я почувствовал, что женщина вся дрожит.

— Ты думаешь, небось, я такая, слаба на передок, как вы, мужики, охальничаете? — шепнула она.

— И вовсе нет, — так же прерывисто ответил я, — почему ты дрожишь со мной, маленький, значит, нет в тебе ни привычки, ни опыта, ни смелости такой.

— Ах ты, хороший мой, смотри-ка! Недаром сразу почувствовала — легко с тобой.

И хозяйка крепко обняла меня, целуя в губы. Я ответил ей крепко, скользя рукой по горячему под рубашкой телу.

— Нравлюсь? — снова спросила она, слегка выгибая спину.

— Да, очень! Сними эту рубашку! — приказал я, приподнимая выше колен её ноги.

— Ой, что ты! Зачем тебе? — испуганно шепнула она.

— Ничего, просто ты красивая очень, и я хочу тебя поцеловать там, — я положил руку на её удивительно твёрдую грудь.

— Что ты, разве здесь цалуют?

— Цалуют, — сказал я, — когда нравится и когда желанная.

— Желанная? Ты меня так назвал? Повтори ещё! — сдавленным голосом потребовала хозяйка.

— Желанная ты и милая! — сказал я с самой страстной убедительностью.

Она снова выгнула спину, и я поднял рубашку до её подбородка, а затем и сильным рывком вверх снял совсем. Она тихо охнула, прикрываясь одеялом, но мои руки уже скользили по её совсем юному, гладкому, сильному телу, очерчивая крутые бёдра, красивый живот... коснулись лобка. Скользнув с подушки, я поцеловал её удиви-

тельные широко-конические груди, прикусывая тугие, почти чёрные в сумраке соски.

— Что ты делаешь, точно маленький, — смущённо начала она, но вдруг страсть одолела, и женщина с полувздохом-полустоном раскрыла бёдра, привлекая меня к себе. Я, уже сгоравший от желания, не заставил себя ждать.

— Ох! Боже мой, да ты...

Голос её прервался, тело натянулось как струна, и женщина несколько секунд лежала в оцепенении. Затем она ещё шире раскрылась мне навстречу, обнимая меня ногами.

— Ах, ох, — голова её запрокинулась с подушки, движения стали порывистыми и сильными.

Когда всё кончилось, она, больше не заботясь о холоде, прильнула вся ко мне, положив голову мне на плечо.

— Счастливая я стала! — она поцеловала мне тело, — но ты-то, хорош бычок! А с виду мальчишка, обманул меня.

— Разве плохо? — ответил я, ласково сжимая её груди.

— Дак нет! — она обвила меня руками за шею, и я почувствовал, как новое желание нарастает во мне.

На этот раз она уже не думала ни о чём, кроме

желания, принимая меня без удержу.

— А ты вот так!

Я выдернул подушку из-под её головы, подсунул под неё и заставил взбросить ноги мне на плечи. Вскрики истинной страсти были доказательством, что это положение ей было лучшим — я глубоко вонзился в её жадную йони, не тугую, но горячую, влажную и трепещущую. Я крепко мял её груди, и она, впадая в экстаз, извивалась, виляя задом и забывшись совершенно. Опомнилась лишь спустя некоторое время после того, как кончила, и, увидав себя на подушке, закрыла лицо руками.

— Грех какой, стыдобушка, никогда со мной такого не было! Или ты слово знаешь?

— Знаю, что слово — любить женщину всем телом и всю, чтоб без остатка.

Она ничего не сказала, только отвернулась, уткнувшись в плечо, как и в первый раз. Так в серой мгле дождливой ночи мы соединялись ещё несколько раз, пока не заснули.

Я очнулся от резкого движения хозяйки и увидел, что совершенно светло.

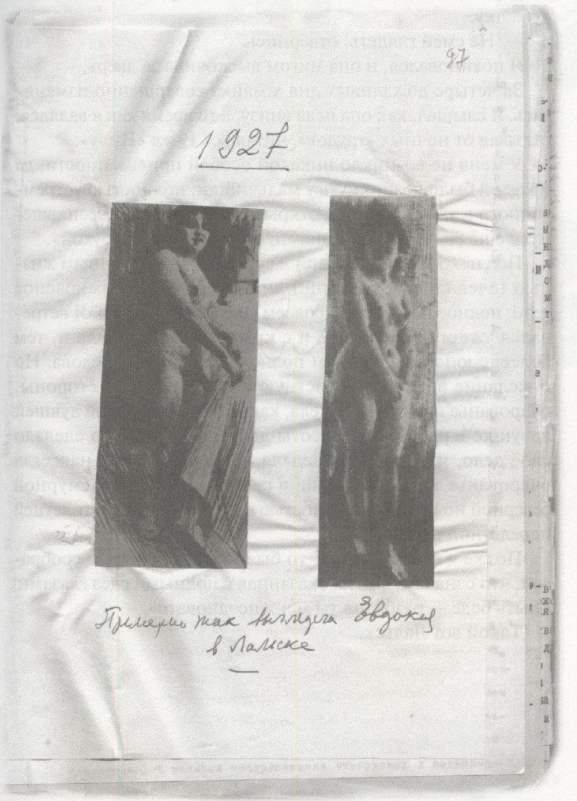
— Горе, горе, отдай скорее! — торопливо шептала она, прикрывая обнажённую грудь и забыв, что одеяло сползло и она всё равно голая ниже

пояса.

— Что отдай?

— Рубашку, экой ты!

— Ничего не случилось, сейчас найдём, — и с этими словами я с силой отогнул её руку и поцеловал коричневый сосок левой груди. Она вырвалась, выскочила из постели и накрылась одеялом, но я нашёл за подушкой и подал ей рубашку.



Примерно так выглядела Евдокия в Лальске

— Не смей глядеть, отвернись.

Я повиновался, и она мигом выскочила за дверь.

За четыре дождливых дня хозяйка совершенно изменилась. Я слышал, как она пела внизу, в то время как я валялся, отдыхая от ночных «трудов», читая всё ту же «Ниву».

У меня не возникло никакой особой привязанности, да и как ей было возникнуть у мальчишки, полностью устремлённого в экспедицию, к открытиям, к тому же стеснявшемуся ещё связей с женщинами, особенно со «старухой».

Под некрасивой одеждой и суровым, попорченным жизнью (очевидно — сладкой!) лицом оказалось прекрасное тело, полное неизжитой, совсем ещё юной страсти. Я встречался уже и со страстью, и с красотой лица и тела и, тем более, с юностью в самом полном смысле этого слова. Но и желание в ответ на яростную отдачу себя с её стороны, очарованье прекрасного тела, какое бы впору самой лучшей девушке в расцвете «красоты дьявола» — всё это сделало своё дело, и дождливая неделя прошла, оставив навсегда очарованье женской любви в светлом сумраке пасмурной северной ночи, с беззаботностью и полнотой двадцатилетней перелётной птицы.

Позже я понял, что ей-то было куда труднее, и сообразил, что означала фраза, сказанная с полными слёз глазами: «Быть беде — разбудил ты меня поздновато».

Такой вот Лальск.





Загорелая и телом похожа на Люду

Люда (Людмила) была «вторая», потому что у меня раньше была невеста Люда, внезапно умершая от менингита. Вторая Люда вовсе не была похожа на первую. Та — совсем юная девушка, бронзоволосая, с длинными косами и тёмно-карими глазами. Вторая — с короткими пепельными волосами и странными золотисто-серыми, какими-то прозрачными, как у кошки, глазами и чёрными, узкими, будто крашеными бровями, очень молодая, но очень искушённая женщина.

Самое сильное переживание моей молодости, и крушение самой пылкой страсти, и увядание сказочного ореола вокруг женщины, неизбежного для каждого юного романтика, — словом, первое настоящее столкновение с глубинами собственной души и безднами жизни — всё это принесла мне вторая Люда. Даже удивительно, какие малые причины могут вызвать огромные и далеко идущие последствия... Но это, разумеется, от того, что малые они лишь внешне, внутренне же, очевидно, произошли большие переживания, впечатления, перемены, вызвавшие и большие внешние сдвиги!

Волею судьбы я не знал наивной и очаровательной влюблённости, когда впервые в образе юной, только что расцветшей «красотой дьяво-

ла» девушки, ещё ничего не знающей о любви, появляется на жизненном пути юноши его первая мечта-любовь, полусказка-полувидение. Слишком ранний опыт с Царицей Ночи — юной, двадцатитрёхлетней женой инженера, соседкой по квартире, с которой очень быстро исчезли сказочные ощущения первого прикосновения к обнажённому женскому телу, его тайне, первого ощущения настоящих поцелуев, словом — исчезла вся до полусмерти захватывающая сказка раскрытия мира любви к женщине.

Всё это мелькнуло в какие-нибудь две-три ночи и заменилось опытом страсти, в которой постепенно я обучался искусству того, что на Востоке называется умением любви, а у нас — развратом.

И не было сказки, не было воплощения весны жизни и безмерной радости от встречи со всей глубиной нежной тайны девического расцвета. Так я расплатился за раннее знание — быть мужчиной в шестнадцать лет!

Тогда, в нэповские годы, я был владельцем мотоцикла, заработанного мной сверхурочными работами в качестве автомеханика и выписанного прямо из Америки через Севзапгосторг (тогда это было можно). Мощный 18-сильный «Харлей» с коляской в общем мало отличался от современ-

ных машин и был великолепным мотоциклом, слишком даже быстрым для плохих дорог того времени. Я часто ездил на нём в Петергоф, потому что Петергофское шоссе было в хорошем состоянии (асфальта тогда на нём не было и в помине — щебень и булыжник!).

В тот роковой (звучит писательски, но это именно так) вечер я повёз своих двух друзей в Петергоф. Въехав в парки по «разрешённой» аллее, я остановился у запретного знака и, высадив приятную чету, пожелал им хорошо веселиться (был не то карнавал, не то ещё какое-то празднество). Сам я погулял, не отходя далеко от машины, размялся и, вернувшись к «Харлею», уселся боком на седло и закурил, раздумывая, где я по дороге видел камни или кирпичи.

Ехать с пустой коляской очень муторно — при каждом повороте направо (коляска у меня была справа, как обычно у американских машин) коляска лезет вверх, норовя опрокинуть машину, и приходится сильно замедлять ход у поворотов. Взять с собой какого-либо приятного попутчика, видимо, не удавалось — гулянье разгоралось, и наверняка никто не хотел ещё возвращаться в Ленинград. Сам я не любил многолюдных сборищ, да и куда мне было деваться с почти двадцатипу-

довой машиной?

Прислушиваясь к музыке и машинально следя за редкими стремившимися к центру парка прохожими, я настроился на мечтательный лад. Место, где стоял мой «Харлей», не было освещено фонарями, но белая июньская ночь давала возможность видеть всё не только вблизи, но и вдали. Сомнамбулически уставившись взглядом вдоль аллеи, я унёсся в неведомую далёкую страну (обязательно — тёплую, обязательно — с сияющим голубым морем). В глубь парка вела аллея, обсаженная липами, густая листва которых казалась в белой ночи совершенно тёмной и таинственной. В контраст с этим, ровный песок аллеи казался ещё светлее, и будто лунная дорожка уходила вдаль между крутыми тёмными стенами. Сейчас там, откуда несутся звуки грустноватого танго, появится неведомая девушка — жительница далёкой и тёплой страны... Она подойдёт ко мне, её глаза засияют от радости, она скажет...

Что она скажет, я не додумал. Усмехнувшись своей неисправимой мечтательности, я извлёк папиросу, решив выкурить ещё одну и ехать домой. Подняв глаза от коробки, я увидел девушку. Она быстро шла по аллее, направляясь к пере-

крёстку, за которым стоял я.

Вначале она показалась мне высокой, но потом я разглядел, что её французские каблуки очень высоки, и, по-видимому, она среднего роста. Стриженые волосы развевались под лёгким ветром густой гривой, и освещение белой ночи не давало возможности определить их цвет, так же как и цвет её короткого, свободного по некрасивой моде тех времён платья. Лишь вблизи я увидел, что платье было серым, в тон её светлым пепельным волосам. Стройные, но сильные, с хорошими мышцами, тонкими щиколотками и круглыми коленями, её ноги были без чулок и упруго переступали по податливому песку, в котором тонули её каблуки.

Девушка остановилась, явно разглядывая меня. Я, как всегда молодые дурни, приосанился, выпрямляясь во весь свой основательный рост и продолжая курить с невозмутимым видом. Девушка оглянулась назад, к чему-то прислушиваясь, и вдруг решительно направилась ко мне. Не успела она дойти до перекрёстка аллей, как из левой поперечной аллеи выскочили двое мужчин.

С возгласом:

— Вот Людмила! Вот где беглянка! — они пре-

градили путь девушке.

— Пустите, я не хочу! Я ухожу! — отвечала та гневно звенящим высоким голосом.

Двое схватили её за руки, та рванулась с неожиданной силой. Я решил вступиться.

— Эй, вы! — громовым голосом заорал я, бросая папиросу и принимая угрожающий вид.

Пришельцы видимо опешили. Девушка воспользовалась заминкой, вырвалась и побежала легко и быстро к моему мотоциклу.

— Прошу вас, очень прошу... увезите меня отсюда... вы поедете в город? — слегка задыхаясь не от бега, а от волнения, обратилась она ко мне.

— Очень хорошо. Всё равно мне нужен груз... — ответил я, — я еду в город.

— О, как хорошо! только... сейчас, да?

— Конечно, сейчас! Садитесь! — я отстегнул передник коляски и помог ей сесть туда, но тут до машины добежал один из мужчин, помоложе, коренастый и светловолосый, с очень красивым лицом.

— Эй, куда? Вы что это делаете? — завопил он, подскакивая к мотоциклу и хватая девушку за плечо.

Я оттолкнул его, вложив в этот толчок всю свирепую силу своих хорошо развитых мышц. Не

ожидавший такого нападения незнакомец полетел, что называется, турманом, высоко взметнув в воздух ноги в нескольких метрах от машины.

Мой «Харлей» заводился с одного нажатия педали, и не успел тот ещё подняться, как восемнадцать сил рванули машину с места. Оглянувшись, я увидел обоих преследователей девушки, оторопело стоявших посредине аллеи. Ещё несколько секунд — и они скрылись за поворотом.

Положение преследователей было безнадёжно. Машины в ту пору были очень редки, да и догнать меня какому-нибудь старому частному таксомотору было непосильной задачей. С ревущим мотором я влетел на подъём к шоссе, развернулся у столетних деревьев и выехал на шоссе. Можно было ехать, не зажигая фару и даже без синего огонька на баке над приборами.

Перейдя на равномерный бесшумный ход и закуривая, я услышал сдержанный смех девушки, повернулся и посмотрел на неё. Она ответила мне задорным взглядом, и её глаза в белой ночи показались мне совсем тёмными и очень глубокими.

— Как хорошо получилось, как хорошо! — негромко сказала она. — И я ещё ни разу в жизни не ездила на мотоцикле... А что это за «груз», о котором вы говорили?

Я объяснил. Девушка расхохоталась.

— Ах вот что! Значит, я вместо груды кирпичей! Хорош комплимент! Ну что там, спасибо, что взяли... и как ловко посрамили их! Прямо не знаю, что бы я стала делать, если бы вы отказались.

— Почему бы мне отказаться. Впрочем... я согласился без задержки потому... — я хотел сказать, что потому, что она мне понравилась, но остерёгся и добавил, — потому, что вы не назвали меня неизбежным «молодым человеком»!

— Неужели, — с разочарованным видом протянула она.

— Да нет, конечно! — решился я. — Просто вы совпали с моим видением и... и понравились мне...

Девушка стала допытываться, что за видение, и я доверчиво рассказал ей свою очередную фантазию там, в Петергофской аллее. Девушка слушала, неотрывно смотря навстречу бегущей под мотоцикл серой дороге. Она долго молчала, так долго, что я подумал, что она задремала, но, наклонившись к ней с седла, рассмотрел сжатые губы и нахмуренные в раздумье брови.

Девушка встретила мой взгляд твёрдо и прямо, потом, внезапно решившись, заговорила. Она просила меня устроить её куда-либо на ночлег

к моим знакомым. Она не хочет возвращаться домой или к своим друзьям, где её могут быстро разыскать. Раз уж мы встретились, совсем неизвестные друг другу, то, может быть, именно потому, что я «совсем со стороны» и помогу ей спастись из дому на некоторое время. От чего — она не говорила, но в те времена ворьё было редкостью и шпиономания последующих лет отсутствовала, так что я не подумал и не придумал ничего подозрительного, в чём и оказался впоследствии совершенно прав. Но лучше бы я не был прав! Вернее, не был бы рыцарем.

Я молчал, раздумывая, а девушка тревожно всматривалась в меня в ожидании ответа. Вдали показались огни Путиловского завода.

— Если это трудно... — начала девушка.

— Вот что, — перебил её я, — в конце концов, вы можете устроиться у меня.

Девушка покачала головой и сделала резкий отрицающий жест.

— Подождите. У меня двухкомнатная квартира. Я живу совершенно один. Вы можете устроиться в одной из комнат на то время, какое вам нужно.

— О, как чудно! — воскликнула она, смутилась и закончила, — я понимаю, что это наглость — так одолжаться. Но это так важно для меня, вы не

можете представить!

— Раз важно, то, значит, решено. Едем ко мне.

Мотоцикл повернул направо от заставы и понёсся вдоль канала, потом мы поехали к Мариинскому театру. Пустой Ленинград был чудесен в эту тёплую и безоблачную белую ночь. Ещё не было одиннадцати часов, но этот рабочий район уже улёгся спать.

Девушка наклонилась вперёд и тронула холодноватыми пальцами мою правую руку на руле.

— Кто вы такой, чудесный незнакомец? — нараспев, с шутливым пафосом спросила она. — И сколько же вам лет?

Это был больной вопрос, так как я был очень молод, хоть и казался старше.

— Я — препаратор Геологического музея... Академии Наук, — серьёзно ответил я, — а лет мне двадцать один.

— Бог мой, — не удержалась моя спутница, — я думала, больше. Владелец такой машины и отдельной квартиры!

Я только усмехнулся. В те времена ленинградцы не страдали от недостатка жилплощади, но, конечно, отдельная квартира всё же была нечастым явлением для двадцатилетнего щенка. Я вспомнил, как я разыскал чисто случайно оча-

ровательную заброшенную квартиру на шестом, полу-мансардном этаже великолепного дома на Каменноостровском — тогда улице Красных Зорь. Знакомство с управдомом и некоторая сумма денег — и я сделался обладателем даже мебели, брошенной прежним владельцем, покинувшим голодный Питер в дни блокады и где-то сложившим свои кости или удравшим за границу. Всё ценное было уже похищено, но всё же широкая тахта, шведское бюро, кожаное кресло и два шкафа дали отличную основу. К ним была добавлена необъятная двуспальная кровать из светлой сосны — предмет издевательства всех добрых знакомых, небольшой ковёр и моя гордость — шкура огромного тигра. С тех пор я сменил много жилищ, но эта квартирка из двух комнаток метров по пятнадцать была самой уютной, светлой, обещающей.

И здесь дело не только в молодости — нет, — в искусстве архитектора. То ли лёгкие, из гофрированных стёкол, двери, то ли квадратная форма комнат с низкими и широкими окнами из цельных стёкол, большая удобная ванна с душем и маленькая кухонька с кладовой, служившей фотокомнатой, то ли вообще прекрасный вид из окна на реку и парк... Конечно, тогда не было

газа, но я и не готовил, обедая не дома. Не было и лифта, но взлететь на шестой этаж не составляло затруднения.

— Теперь жду взаимности, — пошутил я, вернувшись к настоящему.

— Я — Люда О., неудавшаяся студентка, мужняя жена, двадцать лет, — в тон мне, но как-то приглушённо, будто стесняясь, отвечала девушка, — вот мы и познакомились. Но где же ваш дом? — поспешно добавила она, явно стараясь помешать дальнейшим расспросам.

Мы в это время промчались с Садовой на Марсово поле и поднялись на мост. Отсюда всего несколько минут — и мы остановились у большого серого дома на улице Красных Зорь, рядом с бывшим заводом «Дека»[41].

Люда подождала на улице, пока я загнал машину в сарай на заднем дворе, и мы оба прошли вытоптанным садиком наискось в подъезд. Изображая преследуемых, мы поднимались очень тихо, прячась на каждом этаже за выступы лестничных площадок.

На моём этаже уже царила мёртвая тишина. Я

---

[41] Примечания: 41

«Дека» — завод акционерного общества электромеханических сооружений, названный по начальным буквам фамилий владельцев (Дюффлон и Константинович).

открыл дверь и поманил девушку за собой. Она вошла на цыпочках, едва пристукивая высокими французскими каблуками своих открытых чёрных туфелек, с каким-то одной ей понятным волнением осмотрелась. Я провёл её по всей маленькой квартирке. В комнате, которую я отвёл для своей спальни, она на секунду задержалась у моей широченной кровати, и какая-то угрюмая тень пробежала по её оживлённому лицу. Но через секунду она отвернулась и весело продолжала знакомиться с моим действительно уютным обиталищем.

— Как хорошо, — воскликнула, окончив осмотр, Люда, — и вы в самом деле хотите приютить меня?

— Хочу, раз вы дали мне понять, что это для вас важно.

— Но почему?

— Потому что я всегда люблю помогать людям и чувствовать себя потом вроде калифа Гарун аль Рашида... помельче, разумеется, по масштабам, но моё удовольствие от этого не меньше!

— И только это?

— Нет, не только, — честно признался я, глядя прямо в прозрачные глаза моей гостьи, — ещё и то, что вы мне понравились!

— Очень? — слегка нахмурилась Люда.

— Пожалуй, очень, — немного подумав, согласился я.

— А почему с «пожалуй»?

— Как бы это объяснить, — замялся я, обдумывая то, что мне самому было неясно, — вы совсем не соответствуете моему вкусу, идеалу, что ли, — я, например, не люблю блондинок... и тем не менее вы мне очень нравитесь... вопреки...

— Верю, — чуть улыбнулась Люда, но как-то невесело, — а скажите... есть он, то есть она... идеал?

— Не то чтобы идеал, но ближе к нему, чем вы, — слегка смутившись, отвечал я, вспоминая свою Царицу Ночи, — это есть!

— Как, здесь?

— Нет, не здесь. Даже никогда. У ней — своё, у меня — своё, — уклончиво ответил я по естественному желанию избежать подробностей.

— Но всё же, — Люда замялась, помолчала и продолжала отрывисто и опустив голову, — вы позвали меня не для того... нет, не так... вы не захотите?

Широко улыбнувшись, я положил руку на плечо девушки. Не видя моей улыбки, она резко отшатнулась.

— Вот как раз насчёт этого и не надо так — отшатываться. Смотрите на меня!

И я постарался объяснить девушке, что я по натуре не лихой донжуан и очень сам не люблю этой породы, что мне ещё мало лет и я не успел стать циником, что я вообще «не голоден», если можно так сказать, потому что...

— Потому, что женщины вас любят! — закончила за меня Люда. — Я этому верю, — помолчав, сказала она, и я так и не понял, верит ли она моим словам или тому, что женщины меня любят, — хорошо...

И внезапно она низко склонилась передо мной, почти став на одно колено.

— Беглая рабыня просит покровительства могущественного Гарун аль Рашида!

Весело засмеявшись, я легко поднял девушку.

— Весь дворец халифа к услугам беглянки, — широким жестом я обвёл небогатую обстановку квартиры, — но что-то вы на рабыню не похожи.

— Ну, не рабыня... а — одалиска, — сказала Люда и вдруг сильно покраснела, отвернулась и тихо закончила: — нет, пустяки... Но где же назначено будет моё пристанище? — попыталась вернуться она к прежнему шутливому тону.

Я показал на спальню.

— А можно мне в вашем кабинете? — попросила Люда. — Уж очень роскошна кровать... и вообще, вы привыкли...

— Ни к чему я не привык, бывший моряк и путешественник в настоящем, — властно ответил я, — я заметил, что кровать вам действительно не понравилась. Но она удобна, и кроме того — спальня в глубине квартиры, что лучше для конспирации. Да и кроме шуток, если ко мне придут — естественно будет принимать в кабинете и не тревожить вас, просить скрываться во избежание... как это... кривотолков!

— Вы правы во всём, как и настоящий халиф! А теперь позвольте мне воспользоваться ванной и приготовить чай — дружба и покровительство, дружба и женская забота с моей стороны.

Я отправился на улицу Красных Зорь за покупками съестного, а в кухне уже зашумел примус. Я чувствовал, что в мою жизнь вошло нечто новое, и был доволен приключением. Получить очаровательную хозяйку без всяких внутренних и внешних обязательств, которых я в то время ещё боялся как огня, ещё не найдя единственной, а уже получив две серьёзные сердечные раны — разлуки с японкой и смерти первой Люды.

Когда я вернулся, то в кухне уже был накрыт

стол, заварен чай, а Люда, какая-то удивительно свежая и гладкая, лежала на животе на тигровой шкуре и, болтая в воздухе голыми ногами, неотрывно читала одну из моих любимых книг.

— Ой, как хорошо! И вдруг, будто во сне... — приветствовала она меня, — и книга, кажется, великолепна!

— Я её очень люблю! Но пойдёмте ужинать. Не знаю, как вам, а мне очень есть хочется.

Люда призналась, что она тоже голодна, и поднялась мгновенным движением, изогнувшись своим гибким телом, как спущенная пружина. Она провела ладонями по смявшемуся платью — одному из тех бесформенных произведений моды того времени, что скрывали дефекты любой фигуры, но также скрывали и все достоинства. Критический осмотр не удовлетворил девушку.

— Лишне спрашивать, есть ли у вас утюг?

— А вот и не лишне — есть! Впрочем, пойдёмте.

И, повинуясь внезапному порыву, я подвёл девушку к шкафу в спальне и извлёк свою память о Дальнем Востоке — роскошное японское кимоно чрезвычайно приятного розового цвета, такого густого и тёплого, что, казалось, он горит, с белыми цаплями и ветвями сакуры — цвету-

щей вишни. Я хранил его как память о Дальнем Востоке — безличную, но для меня воплотившую красоту Японии. Я был беден и не избалован настоящими хорошими вещами после своего детства. Поэтому никто не надевал эту вещь, из которой я думал даже сделать экран или гобелен, и я сам удивился желанию дать его надеть едва знакомой мне девушке.

Люда тихо ахнула, схватила его и скрылась в кабинете. Через минуту она уже вертелась перед зеркалом в передней, восхищаясь этой действительно очень красочной и экзотической вещью. Щёки Люды разрумянились в тон кимоно, и грива её густых светло-пепельных волос как-то очень совпала по цветовому звучанию с серебристыми цаплями и цветами вишни, оживлёнными отражением победной розовизны ткани.

Я с удовольствием смотрел на девушку, а Люда, сознавая своё очарование, кокетливо повела глазами, подарив меня тем глубоким многообещающим взглядом, который вообще-то может и ничего не обещать, кроме горделивого сознания своей привлекательности. Но не успел я раскрыть рта, как Люда повела меня в кухню, чтобы выполнить извечное женское дело — кормить.

За ужином она попросила рассказать о кимоно

и как я его купил. Я предался воспоминаниям и, вероятно, рассказывал неплохо, потому что девушка слушала меня не отрываясь. Мы перешли в кабинет, и Люда растянулась на шкуре, а я удобно устроился на диване и, набивая трубку за трубкой, говорил. Мы, грешные представители мужского рода, чувствуем себя очень счастливыми, когда есть хорошенькая и внимательная слушательница, и ещё лучше, когда действительно есть что ей порассказать.

Мягкий свет настольной лампы, синеватые слои ароматного дыма кепстена[42] и едва заметный, но беспокоящий запах незнакомых духов... Замечательный контраст тонкого рисунка и гармонии чистых красок кимоно и грубо красивых чёрных и жёлтых полос тигровой шкуры... А над этим — прозрачные глаза, потемневшие, ставшие загадочными в неярком освещении. Волнистые пряди её волос в милом беспорядке...

Я больше люблю длинные косы, во всяком случае любил тогда, в юности, когда мой вкус был очень архаичен по всем статьям, так сказать, но такие густейшие стриженые волосы, как у Люды, мне тоже понравились. В них чувствовалась

---

[42] Примечания: 42
Кепстен — трубочный табак марки «Capstan».

какая-то сила, как в гриве льва!

И, поддаваясь тихому очарованию разговора и вновь найденного женского друга, я стал откровеннее. Рассказал о своих мечтах, поисках экзотических приключений, о японской девушке, о печали неизбежного разочарования или, если нет, то не менее неизбежной разлуки.

Я рассказывал, а безмолвная Люда всё ниже опускала голову, будто поддаваясь грусти моих воспоминаний. Я заметил это и стал говорить об интересных и задорных приключениях своих и моих друзей, но девушка как-то притихла.

— Вы, наверное, устали, — оборвал себя я, поднимаясь с дивана, — извините меня, я увлёкся, да вы и слушали как-то очень хорошо, понимая.

— О, да! Я поняла! Мне это тоже близко, — тихо сказала Люда, не меняя позы и продолжая задумчиво смотреть на лампу.

Потом внезапно девушка вскочила своим неуловимо быстрым движением и выжидательно встала передо мной.

Я отдал ей второй ключ от двери и объяснил, что она может спать сколько угодно, а я в девять утра уйду на работу после гимнастики и завтрака из полустакана сливок и трубки. Вернусь не раньше восьми вечера... принесу с собой для

ужина, а вот с обедом у меня плохо — ем только в столовой... впрочем, могу принести ей чего-нибудь мясного.

— О нет, я приготовлю сама... завтра я выйду только в магазин и буду ждать к ужину, — неуверенно сказала Люда, но я с удовольствием согласился.

Действительно, весь день на работе не покидало меня предвкушение, что я приду не в пустую свою квартиру, а там будет «некто» — овеянная тайной, почти похищенная мною леди. И никто не будет знать, а мы будем мирно ужинать вместе и разговаривать. Поэтому я отказался от двух предложений пойти в кино или на прогулку и поспешил домой, не засиживаясь, как обычно, в своей препараторской допоздна.

Люда встретила меня в кимоно, сказав извиняющимся тоном, что её платье не выгладилось как следует, но что она завтра достанет свои вещи, что она уже звонила подруге, и я бы сделал очень доброе дело, если бы поехал к её подруге — она хочет избежать расспросов.

Я думаю, что дело было не в расспросах — просто девушка хотела продемонстрировать «нового возлюбленного», придав своему бегству романтическую подоплёку, чтобы скрыть какое-то

серьёзное крушение своей прежней жизни.

Всё это я понял немного позже, а сейчас принял это за страх быть обнаруженной теми неведомыми, которые преследовали Люду в Петергофе.

Вечером я возвращался домой с тёплым чувством того, что меня ожидает в моей одинокой квартире, — уют совместного ужина, интересный разговор, задумчивый и нежный взгляд прозрачных, топазовых, как назвал бы их Джек Лондон, глаз.

Я не был искушён в длительном общении с прекрасным полом, так как оставался совершенным мальчишкой, очень далёким от всяких матримониальных дум и желаний. В то же время в науке страсти нежной[43] я был учён не по возрасту и обладал большим опытом. Ещё десяти лет, целуя свою юную воспитательницу, всю обнажённую, прибегавшую ко мне по ночам, я узнал, что такое прекрасное и пылающее страстью тело, хотя оно и могло пробудить во мне тогда лишь глухой отзвук захватывающего жадного интереса ранней зрелости, наступившей в шестнадцать лет. Как раз в это время так случилось, что моей возлюбленной стала моя соседка по дому (прежней

[43] Примечания: 43

«Наука страсти нежной» — цитата из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

квартире) — жена одного видного инженера. Мне было шестнадцать, ей — двадцать три, но, по-видимому, её это вполне устраивало, потому что связь наша длилась почти пять лет, с перерывами на время моих экспедиций или коротких увлечений другими женщинами. На это она не обращала внимания, как будто знала, что всё это было несерьёзно и что я неизбежно вернусь к ней. Действительно, так и случалось, так и было до сих пор, о которых идёт речь.

Действительно, эта страсть привязала меня надолго к Ж. Она ничего не требовала от меня, кроме страсти и нежности, не ждала даже верности, всегда была готова встретить меня, но только в маленькой комнате на Троицкой улице, принадлежавшей её матери. Она никогда не выходила со мной, даже не соглашалась на загородные поездки или вечерние прогулки. Она не принимала от меня никаких подарков, чтобы не возбудить подозрения мужа.

Ж. считала, что, только хорошо законспирированные, наши отношения могут длиться так долго, как это нам захочется, и, конечно, была права. В своей матери она нашла полную союзницу, очень ласково относившуюся ко мне. Когда я стал мудрее, я понял, что, вероятно, со стороны

матери это было позднее раскаяние в том, что она настояла на браке её дочери, тогда совсем юной, с пожилым, но отлично зарабатывавшим вдовцом.

Помню, как, часто-часто дыша, она плавно покачивала бёдрами в глубоком экстазе, а потом, отдыхая, любила, когда я играл с тёмными сосками её грудей и кольцами волос. Мне было хорошо с ней, и я забывал многие свои огорчения, и даже разлука с японской милой стала много легче в объятиях Царицы Ночи.

Но то, что было у меня сейчас, — очаровательная девушка дома, влекло меня и без всяких особых причин — это было именно тем, чего мне так долго не хватало. Правда, неизвестно, станет ли Люда моим компаньоном по выходам во внешний мир... но почему-то мне казалось, что станет, вне зависимости от какой-либо любви между нами.

Я не ошибся.

Взлетев к себе на 6-й этаж, я обнаружил пустую квартиру. Сердце у меня упало сильнее, чем я думал, — горечь разочарования показалась беспричинно сильной. Но тут я со вздохом облегчения заметил у себя в спальне чемодан, стоявший у постели, а на подоконнике — другой,

меньший. Значит, Люда достала свои вещи и осталась тут... Да вот и она.

Осторожно звякнул замок, открываемый непривычной рукой, и появилась запыхавшаяся Люда с ворохом покупок. Скоро ужин на кухонном столе был сервирован прямо-таки с праздничной роскошью.

— Слушайте, Люда, — хмуро начал я, и девушка сразу насторожилась, — если вы думаете, что так надо платить за гостеприимство... — я не кончил, видя краску, залившую лицо девушки, и продолжал мягче, — вряд ли ваши достатки больше моих, и зачем? Право, без этого...

— Что без этого? — тревожно спросила Люда.

— Без этого ваше присутствие — большое удовольствие для меня. Честно! Так что будем считать сегодняшний ужин — праздничным, по поводу нашего знакомства, и на этом — кончим. Ей-богу, крепкий чай и булка с маслом — вполне хорошая еда, а если с чайной колбасой, то и совсем роскошь, — весело сказал я, кладя руку на руку Люды.

Девушка повернула свою ладонь и ответила мне согласным и сильным пожатием.

— И не надо тревожиться... Всё хорошо, ладно?

— Я... мне показалось... и я испугалась... мне так

хорошо здесь, после...

— После чего?

— О, как-нибудь потом. Хорошо?

— Конечно! — пожал я плечами, — хотя не скрою, что моя таинственная принцесса сильно интригует меня. Я ведь зверски любопытен!

— Когда узнаете, увидите, что ничего действительно интересного здесь нет. Только разве гадостное. Право, так!

— Непохоже на вас! — возразил я.

— О, что вы знаете! — страстно воскликнула Люда.

Я замолчал и не возвращался более к этому предмету.

Прошло ещё два дня. Люда обратила внимание на мои усердные занятия гимнастикой. Я увлекался системой Мюллера[44] и утром и вечером выполнял весь свод упражнений, обливаясь холодной водой в любое время года и всегда чувствовал себя превосходно. Люда отнеслась к этому занятию скептически. Тогда я взял её за

---

[44] Примечания: 44

Система Мюллера — система физического развития, разработанная датским спортсменом И.-П. Мюллером. Мюллер составил комплекс упражнений без отягощения и опубликовал в книге «Моя система» (1904). Книга завоевала огромную популярность в мире. Отдельно Мюллером были разработаны комплексы упражнения для детей, Для дам, для «армии и флота».

локти и поднял над головой на вытянутых руках. Девушка вскрикнула от неожиданности — движение было молниеносным, но секунду спустя весело рассмеялась. Я подбросил её к потолку, поймал и осторожно поставил на пол. Люда притихла и, помолчав, сказала:

— Знаете, это совсем как в далёком детстве — когда отец подбрасывал меня, а я замирала от страха и восторга... Только не надо так больше делать, хорошо? Я не обожаю конскую силу в мужчинах... предпочитаю красоту...

Я никогда не считал себя красивым, и замечание девушки больно укололо меня. Поддаваясь мальчишескому гонору, я поманил её в кабинет, достал один из альбомов со снимками прежних лет и извлёк оттуда диплом конкурса красоты (и такое устраивалось в прежнем Ленинграде!).

— Это что? — недоумённо спросила девушка и, когда я пояснил, принялась безудержно хохотать.

Обиженный до крайности, я взял «диплом» и принялся прятать его, покраснев от досады, но Люда отняла картонку снова.

— Какой вы ещё мальчик! Когда-нибудь вы перестанете понимать каждое замечание буквально и обязательно принимать всё на свой

счёт. Но как же это было?

Я рассказал про конкурс, происходивший в помещении бывшей думы, как приятели, студенты с антропологического отделения, уговорили меня пойти туда.

Как трудно было преодолеть мальчишескую застенчивость, и я оказался там только под конвоем приятелей-антропологов, которые уже раньше обмеряли меня на практике в числе других добровольцев-студентов. Как предстал я совершенно нагой перед громадной комиссией конкурса.

— И что же? — нетерпеливо спросила Люда.

— Вот это, — я показал на диплом, — третий приз!

— А кто был первый?

— Первого никому не присудили — не нашлось среди участников красивого и телом, и лицом. На втором долго спорили, что главное — красота лица или тела, и присудили одному студенту-электротехнику. А мне — за телосложение.

— А почему не второй?

— Физиономией не совсем вышел, хотя и нашли какие-то античные пропорции. Потом, некрасивы руки — видите, широкие ладони и пальцы от тяжёлого труда с детства, да ещё пальцы искривлены от ранения в восемнадцатом году...

потом шея развита слабее, чем плечи и особенно брюшной пресс. Я думаю, что взял, главным образом, брюшным прессом — по античному канону, спасибо Мюллеру! Это ведь редко у кого в наше время... ну, да вам что здесь интересного...

— Как раз наоборот! Я ведь неудавшийся скульптор, керамик, училась в Академии художеств и кое-что понимаю. Интересно, у вас есть ваши фото — так...

— Немного есть, — подал я девушке альбом конкурса и некоторые антропологические снимки. Люда долго смотрела его, потом вернула, не сказав ни слова.

Она рано ушла к себе. В этот вечер мы не сидели за разговорами, как обычно, допоздна, а потом ещё шли бродить на Неву в светлой мгле летних ночей.

Но на следующий день мы поехали на «Харлее» в Павловск — любимое моё место, где уцелела одна из романтических попыток наших предков возродить умершую славу эллинизма. Заросшие пруды, красивые сочетания разных деревьев на круглых полянах, украшенных статуями богов и богинь, муз и граций, и почти полное безлюдье в то время, когда и людей-то в Ленинграде было немного, и жили они после голодных лет и войны

суетно, шумно, с большой едой, выпивкой, танцами, — в общем, далеко от умирающей античной прелести уцелевших остатков ампира петровско-екатерининско-елизаветинских времён.

Уже поздним вечером, набродившись досыта, наглядевшись в щёлки заколоченных павильонов и погадав на статуях Аполлонова круга[45], мы сидели с Людой на берегу пруда у каменного замшелого мостика. И внезапно девушка запела. Это было впервые, что Люда пела, и я поразился её чистому и сильному голосу. А песня — бог мой, это была любимая «Липа вековая»[46], связанная с памятью умершей Люды. Теперь вторая Люда, не моя, чужая, но уже чем-то близкая, повторяла мне её трижды, пока не спросила, в чём дело.

Я рассказал ей очень короткую, грустную повесть под шелест древних ив, клонившихся над мостиком в лучах долгой и неяркой летней зари

---

[45] Примечания: 45

В центре Старой Сильвии (одной из частей Павловского парка) находится круглая площадка, от которой лучеобразно расходятся двенадцать аллей. В центре круга установлена статуя Аполлона, вокруг — 12 статуй: музы Эвтерпа, Мельпомена, Талия, Терпсихора, Эрато, Полигимния, Каллиопа, Клио, Урания, Флора, статуи Меркурия и Афродиты.

[46] Примечания: 46

«Липа вековая» — популярная в начале XX века песня литературного происхождения на стихи неизвестного автора, рассказывающая о безответной любовной тоске, песня жанрово близка к «жестокому романсу».

севера. Люда так же внезапно, как запела, разразилась слезами. Утешая, я притянул девушку к себе, и она покорно положила мне голову на сгиб руки, глядя вверх, на меня, совсем потемневшими глазами. Я откинул с её щеки пряди спутанных ветром волос и тихо гладил по щеке.

Порывисто изогнувшись, Люда приподнялась и, обхватив меня руками за шею, крепко стиснула, изо всех сил прижавшись ко мне всем телом, а губами — к моим губам. Такой горячей страстью пахнуло на меня от порыва девушки, что на миг я оцепенел от волнения. А Люда уже высвободилась и, отодвинувшись, стала угрюмой, совершенно другой.

Мой едва вспыхнувший порыв тоже угас, я меланхолически набил трубку, не глядя на Люду, а та принялась петь одну за другой без перерыва все модные песенки того времени на мотивы танго и фокстротов: и «Шёлковый шнурок», и «Пети-Бер», и «Арлекин», и Вертинский. Девушка пела и пела, пока мы не дошли до мотоцикла уже в полумраке аллеи вековых тёмных елей. Я отстегнул фартук коляски, помог забраться в неё и так же молча уселся, положив ногу на педаль стартёра. Люда нагнулась вперёд и сжала горячей ладонью мою, лежавшую на рукоятке руля.

— Может быть, мне надо... уйти?

— Нет, не надо. Я уже привязался к вам, и это будет для меня утратой.

— Вы милый, если это правда. И вы даже не знаете, как это много для меня! Но...

— Что но?

— Кроме японки и Царицы Ночи у вас были ещё женщины? Скажите мне, если можете.

— Могу. Были... — ответил я, и перед моим мысленным взором прошли они: северная девушка из далёких вологодских лесов, тоже студентка ЛГУ, как и я, с её удивительной жемчужно-молочной кожей; весёлая рыжая Лиса-Лиза, Зина-Зейнаб, выкраденная от киргизов, — были ещё три!

— И когда вы поспели... такой молодой, — попыталась рассмеяться Люда, но что-то у неё не получилось, и она добавила, как мне показалось, резко: — Это что, благодаря диплому красоты?

Я обозлился, нажал стартёр и рывком взял машину с места, так что Люда обеими руками вцепилась в борта коляски. Мы проехали 30 километров до города, не обменявшись словом. Только помогая мне закатить машину в гараж, Люда вдруг взяла меня под руку и тихо сказала:

— Простите меня, я ведь не хотела... смеяться. Мне было важно это знать — и только. Но я не

ожидала... впрочем, это только к лучшему!

— Ничего не понимаю, — пробурчал я, всё ещё недовольный собой и Людой.

— Если... если мы... вы узнаете, что я... — на смущение девушки было жалко смотреть.

— Всё знаю, — прервал её я.

— О нет, далеко не всё, — она подчеркнула слово далеко.

— Неважно! Мне это безразлично, потому что я уже знаю вас и вижу вас, — ответил я совершенно искренне.

Если бы я знал, как я ошибаюсь в этом!

Но Люда поверила мне, да и как она могла не поверить, когда я сам не сомневался в этом? С заблестевшими глазами девушка схватила мою руку, подняла её и согнула вокруг своей шеи, как ярмо. Это был странный жест, но он заставил моё сердце забиться быстро-быстро, а дыхание — прерваться. Словно по команде, мы одновременно отодвинулись друг от друга и поспешили закончить обряд установки машины.

Но после этой секунды огнём вспыхнувшей близости Люда сделалась более чужой, чем раньше. Снова оттолкнутый в момент нежности, я тоже ушёл в свою раковину. Наверх мы поднялись в молчании и быстро разошлись по комнатам.

Утром я сказал Люде, что сегодня решится, поеду я во вторую экспедицию (я уже вернулся из одной короткой и ранней) или нет, в зависимости от денег. Девушка заволновалась и, прижимая к груди сжатые руки, спросила, хочу я ехать или нет. Я понял её по-другому и, рассмеявшись, уверил, что она отлично сможет здесь жить и во время моего отъезда, только лучше — пусть сторожит квартиру. Девушка что-то пыталась возразить, но я взглянул на часы и пулей слетел с лестницы.

Направляясь по Каменноостровскому к остановке трамвая, я подумал, что, может быть, в первый раз мне не слишком-то хочется ехать, может быть, даже совсем не хочется.

Тогда я испугался — я считал себя записным путешественником и главную цель жизни видел в путешествии, а тут... да, надо будет ехать не рассуждая, и вообще браться за ум.., Но академик Сушкин мне хмуро сказал, что на вторую экспедицию денег не дают — может быть, попозже, осенью, что-нибудь останется.

Странная стыдливая радость загорелась во мне, и я с трудом удержался от улыбки. Академик внимательно взглянул на меня из-под очков и отпустил без дальнейших разговоров.

Но после работы, когда подошло возвращение домой, я снова задумался над своим опасным состоянием. Мало спорта! Вот в чём дело! Я всё ждал экспедиции и не думал о лете в городе. Но если так... и тут же я выскочил из трамвая и пересел в другой, шедший на Петровский остров.

Через какой-нибудь час я уже договаривался со старыми приятелями из гребного клуба. Мне оставались лишь поздневечерние часы, когда лодки-одиночки могли быть предоставлены «дикому» гребцу, но это не смущало меня. Что может быть лучше долгих сумерек на невской воде, отливающей голубоватой сталью под широкой и медленно угасающей зарёй, когда кругом всё становится чуть нереальным, чуть сдвинутым в какое-то другое измерение из обычного настоящего. Я был опытным гребцом в академической гребле и очень любил этот прекрасный вид спорта, в то время ещё мало распространённый, возможно, из-за отсутствия лодок.

Всё же случилось совсем не так, как я планировал. В тот же вечер, когда я вернулся с сообщением об отмене экспедиции, Люда, радостно вскрикнув, прижалась ко мне и, обхватив мою шею руками, так крепко поцеловала меня, что дух занялся. Я поднял её, невысокую, на руки

и стал целовать, а Люда не отстранялась более, а прижималась ко мне всё крепче со странными, точно всхлипывающими вздохами.

— Я знаю, ты подумал, — она впервые назвала меня на ты, — что я тревожусь только о своём житье? Да ведь я давно уже могла бы переехать к подруге — она развелась, но уже не могла оставить тебя... так, сразу.

— Люда, — сказал я точно во сне, — я, кажется, люблю тебя!

Я с трудом произнёс эти слова, как будто они обладали особенной магией и отдавали меня в плен чему-то необычному. Это острое необычайное ощущение не обмануло меня, но понял его я лишь потом. Девушка приподнялась у меня на руках и полусидя заглянула мне в самые глаза, вплотную приблизив лицо. Её глаза показались мне совсем тёмными и напряжённо сосредоточенными, может быть, с каким-то отчаянием или, наоборот, с безумной надеждой пытавшимися прочитать что-то в моей душе. «Точно ведьма у Мережковского», — подумал я, но сейчас же все мысли стёрлись в яростном желании. Не отпуская с рук Люды, я опустился на колени и положил её на тигровую шкуру. Девушка рванулась, неистово отталкивая меня, но это длилось

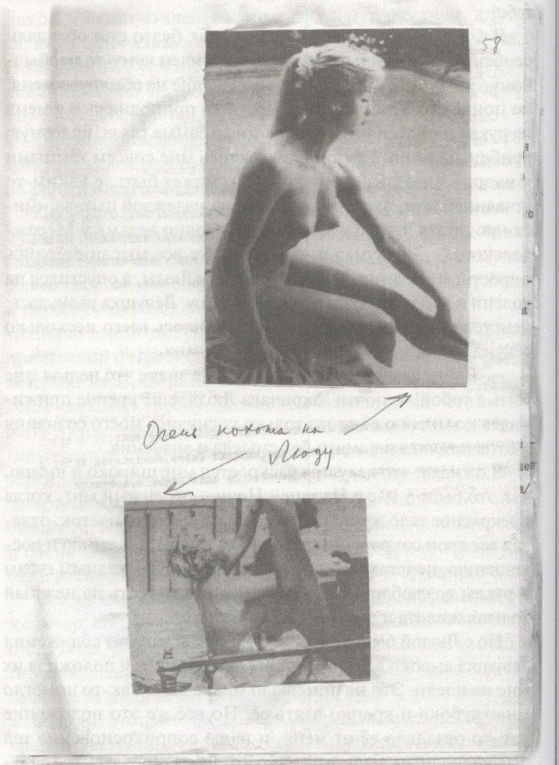
всего несколько секунд.

— Бог простит меня, я не хотела... я знаю, что нельзя мне быть с тобой! — почти закричала Люда, ещё крепче прижимаясь ко мне, но её слова только коснулись моего сознания и отпечатались в памяти без смысла и значения.

Я ожидал, что девушка раскроется мне широко и щедро, как это было у нас с Царицей Ночи — чудесный миг, когда прекрасное тело женщины открывается, будто цветок, отдавая все свои сокровенные уголки мужскому желанию и восхищению, подставляя полные желания груди жадным губам и рукам возлюбленного, принимая его тяжесть на нежный холмик живота и раскрывшиеся бёдра...

Но с Людой было не так. В последний момент сближения девушка высоко вскинула свои сильные ноги и положила их мне на плечи. Это не помешало мне, а даже как-то помогло мне глубоко и крепко взять её. Но всё же это положение как-то отдаляло её от меня, и наше соприкосновение тел было неполным, несмотря на то что Люда сгибалась всё сильнее, сливаясь со мной. И в то же время девушка отдавалась так, как будто хотела отдать всю душу и всё тело через губы и через лоно, как будто каждый поцелуй был последним

и ранил её, когда она целовала сама и принимала мои поцелуи. Она вертела задом вокруг меня, как вокруг оси, в молчаливом неистовстве, и только нечастые полустоны-полувсхлипы вырывались у неё, едва она разжимала зубы, чтобы поцеловать меня.



Очень похожа на Люду

Такого пламенного соединения я ещё не испытывал, только с Кунико в наше недолгое знакомство. Но там пламя страсти было тёмным, иначе я не могу это выразить. Тёмным не потому, что это было слабее или хуже, нет, какое-то другое, более глубоко внутреннее, исходящее из тайных психических сил души, как Антэрос[47] древних греков. Да, вот, именно, как Антэрос — это самое лучшее определение... А у Люды это было алое пламя сильного, напоённого страстью тела, явно искушённого в любви и явно одарённого мощью пола. Это был Эрос греков в его самом подлинном смысле!

Когда я впервые увидел Люду обнажённой, меня поразили её груди — низко и тесно посаженные, очень твёрдые, они были как широкие конусы, наподобие двух вулканов, с неожиданно массивными, торчащими прямо вперёд сосками. Подобные груди я видел у моделей французских художников, например, у Боннара[48], и, много

---

[47] Примечания: 47

Антэрос (др.-греч. Ἀντέρως) — бог взаимной любви, а также бог, мстящий тем, кто не отвечает взаимностью на любовь или насмехается над теми, кто испытывает чувства.

[48] Примечания: 48

В качестве примера в рукописи И. А. Ефремов приклеивает чёрно-белую репродукцию картины Пьера Боннара «Обнажённая женщина в ванной» (1924).

лет спустя, у Милены Демонжо[49], когда мне подарили снимок её нагой. Не знаю почему, груди Люды очень привлекали меня, и я много ласкал и целовал их, по-видимому, и Люде тоже нравилось моё восхищение ими. Правда, позднее, более взрослым, я переменил свои вкусы и стал больше восхищаться «скандинавскими» грудями с их высокой посадкой и менее резкой формой.

Её стройные гладкие ноги были очень крепкими, точно у балерины, а бёдра развиты так сильно, как у цирковой акробатки, какой в сущности она и была в любовных делах после пройденной ею «академии любви», как постоянно говорил её муж.

Я тоже отличался врождённой силой Эроса и, несмотря на молодость, обладал уже крепостью зрелого мужчины. Этим я был обязан Царице Ночи. Зная несколько языков и интересуясь физиологией любви, Царица Ночи доставала разные книги о половой любви и нередко читала их мне, переводя с листа. Но для сложных приёмов любви требовалась акробатическая гибкость и беззаветное неистовство, а Царица Ночи была или слишком ленива, или её вполне удовлетворяла

[49] Примечания: 49

Милен Демонжо (род. 1935) — французская киноактриса русско-французского происхождения, родом из Харькова.

самая обычная любовь — во всяком случае она ни разу не изменила тому, что называется самой естественной (и простой) позой страсти.

Но с ней я узнал тайну кареззы — продлённой страсти, открытой ещё в незапамятные времена индусами. Мужчина может научиться тормозить кульминацию своей страсти, силой воли отдаляя момент эякуляции и таким образом продляя половой акт до полного удовлетворения женщины. После недолгой практики с Царицей Ночи я (обладая вообще врождённой долгой страстью) мог продлять свою страсть до получаса. И ещё я обучился самому надёжному средству предохранять свою подругу от нежелательной беременности, не пользуясь разными отвратительно мешающими и портящими красоту страсти приспособлениями, путём прекращения соединения в момент эякуляции. Разные врачебные книги грозили тяжкими последствиями от такой практики, вплоть до утраты половой силы, но я за всю жизнь не заметил сколько-нибудь вредных последствий. Вероятно, те, кто пострадал от этого, делали что-то не так.

Я отклонился от линии повествования, но мне хочется, чтобы те, кто не имел настоящего опыта или ещё очень молод или несчастен, извлекли

пользу из моих воспоминаний. Слишком дико и нелепо мы умалчиваем о важнейших и прекраснейших сторонах нашей жизни, слишком невежественна наша молодёжь в сфере половой любви, слишком пренебрегаем мы эмоциональной стороной жизни. И в результате, после тысячелетнего опыта и тонкого искусства страсти в древние времена и на Востоке, мы, ведущая на Земле раса цивилизованнейших людей, нисколько не выше обыкновенных животных в вопросах страсти. Но человек — не животное, и расплата неминуема!

И ещё один простой «секрет», тоже взятый у индусов, хотя он также хорошо был известен в Элладе и Риме. Страсть так же требует упражнения, как и все другие виды деятельности человека, и чем больше это упражнение, тем больше половая сила и умение давать наслаждение своему партнёру или партнёрше.

Только упражнение возможно при обоюдном согласии и действии обоих любовников, а не просто при поспешном и неумелом акте, каких совершается громадное большинство в нашем отказавшемся от Эроса мире... Но довольно!

С необычной страстностью Люды даже каресза не слишком замедлила меня, и всё же девушка

высвободилась вся пылающая, едва дыша. Несколько минут она молча лежала рядом со мной, затем тихо засмеялась и вдруг разрыдалась. Испугавшись, что я её чем-то обидел, я притянул её лицо к моему, спрашивая и утешая, но Люда успокоилась не сразу. Встревоженный, я облокотился на шкуру и смотрел на неё, пока она так же внезапно не обняла меня за шею, приподнявшись и вглядываясь «по-ведьминому» в моё лицо.

— Я так боялась, так боялась... а теперь... — и опять её тонкие руки обвились вокруг моей шеи, — хорошо, о, как хорошо!

— Чего же ты боялась?

— Я совсем не такая, как все... и испорченная, заклеймённая! Встретила тебя, и ты оказался такой... прозрачный, без тёмного двора.

— Почему ты заклеймённая, и что это за двор?

Тёмный двор, задворки, они у многих людей на душе. Снаружи вроде всё чисто, а как пойдёшь в глубину, ох, там темно и плохо. Будто пахнет плохо...

— Ну, допустим, а чем или кем ты заклеймена? Разве ты леди Винтер из Дюма?

— Милый, неужели ты не видишь, что я не могу сейчас ни о чём говорить нехорошем? Когда всё в душе поёт! И ты вот, оказывается, такой же, как

я, в любви... ты весь со мной и весь... как надо!

И Люда закончила разговор своим поцелуем, отдающим и берущим всю душу. Я унёс её в свою спальню на одной руке, другой снимая её нехитрую одежду. Нагая, она открылась вся, и её гладкое тело в моих руках казалось живым струящимся упругим огнём. Люда сама просила меня поцеловать самые тайные уголки её тела, но, когда быстро настала вторая близость, то она отдалась мне опять «закрыто», улегшись поперёк меня и перебросив ноги через середину моего тела. Я притянул её к себе и надавил коленом между её колен, но Люда зашептала быстро и умоляюще:

— Милый, разве ты не понял, я ведь... у меня «она» больше назади, чем у нормальных женщин, так мне лучше. Ты прости, что я урод, и только не разлюби меня из-за этого. Уже поздно — я не могу теперь уйти от тебя.

«Клинописная» память в несчётный раз помогла мне. Я вспомнил, где-то в какой-то из книгу Царицы Ночи было рассказано о типах женского устройства. Нормальным было среднее положение йони, но встречались отклонения. Йони, сдвинутая вперёд, называлась ещё в старорусской литературе «королёк», и это считалось

наиболее удобным для любви, и я сам убедился в этом много позже, когда встретил ещё одну женщину с даром Эроса, как у Люды, но совсем другую. А йони, расположенная дальше назади, чем нормально, называлась «сиповка», и такой женщиной действительно было удобнее обладать сзади.

Но что-то в этом было дисгармонирующее с всеобъемлющей страстью, пожиравшей меня и Люду. Можно было как угодно, чистое пламя Эроса позволяет любые объятия, и они служат лишь выражением любви и поклонения перед красотой и полнотой отдавания. Но если только — так, а не иначе, то в этом была какая-то ущербность, нетерпимая в силе вспыхнувшего чувства. И мне удалось преодолеть это, когда в памяти всплыли разные японские и китайские картинки о пятиста способах любви. В новом приливе страсти я положил девушку на высокие подушки, и спустя несколько минут счастливые вскрики Люды дали мне понять, что всё хорошо. Вновь найденная близость теперь тесно сливала наши тела, широкие бёдра девушки раскрылись, крепко сжимая моё тело, а твёрдые груди упёрлись в мою грудь, нежно лаская её и как бы прочерчивая на мышцах моей груди поперечную линию при

изгибах её тела.

— Как это хорошо, — шептала мне потом Люда, — я ещё не испытывала такой близости и такой полноты... но ведь это ты можешь, потому что ты большой, и ловкий, и сильный. У тебя такие мускулы — мне сначала показалось даже смешно — ты точно весь в буграх и квадратиках, будто машина или статуя, а не человек! И твёрдый, тоже как статуя. На тебе можно проследить всю анатомию, я ведь знаю её, учила в Академии художеств. И знаешь, мне ужасно жаль, что я не скульптор, я бы хотела вылепить тебя!

— Ну, что ж, лепи, вот так, руками, — и я провёл её ладонью по узловатым мышцам плеча.

— Нет, нет, не руками! — страстно воскликнула Люда. — Вот так, губами!

И девушка принялась знакомиться с моим телом на-ощупь, ощупывая губами каждый выступ мышц и закрепляя впечатление поцелуем.

Особенно удивляли её уступы косых брюшных мускулов, действительно редкие у современных людей, потому что требуют для своего развития специальных долгих упражнений. Она без конца гладила их руками, переводя ладони на ещё более толстые пластины прямых мышц живота, целовала, говоря: как у греческой статуи.

— Значит, всё же диплом красоты что-нибудь значит? — поддразнил я её, вспомнив недавние издевательства.

— Да нет же! — упрямо отрицала Люда. — Я давно, на второй день, как поселилась, увидела тебя... во время гимнастики, через стеклянную дверь, и знала сама давно.

— Но как же через дверь, если есть штора?

— А ты неплотно её сдвинул!

— Значит, подглядывала? Зачем?

— Мне было интересно, какой ты. Я ведь думала... — девушка оборвала себя.

— Продолжай, раз начала. Думала что?

— Разве ты не понимаешь?

— Ни...че...го!

— Ну, если так! Ладно! Думала, что мне придётся быть твоей любовницей, иначе зачем бы тебе приютить меня. И была готова к этому. А ты... ты даже не...

— Даже не подумал об этом?

— Вот именно не подумал и оказался совсем другим, чем... чем те, с какими мне приходилось встречаться. Такого мужчину я ещё не видела и думала, что ты и не мужчина даже, а только мальчишка!

Люда расхохоталась.

Я повернулся на бок и посмотрел на едва видневшееся в полумраке лицо Люды.

— Слушай, Люда, ты не думаешь, что пора тебе рассказать о себе. Я ведь ничего не знаю, ни о чём не спрашивал, но теперь...

— О, да! Но не сегодня — завтра! — и снова её полураскрытые губы приблизились, и её обнажённое тело приникло ко мне, обдавая меня запахом листьев, нагретых солнцем.

Девять раз отдавалась мне Люда в эту незабвенную ночь. Я всегда думал, что «безумные ночи» — пошлое словцо из цыганских романсов, но тогда понял, что от страсти можно находиться как бы на грани безумия, когда всё исчезает и все мысли и чувства сосредотачиваются на желании близости, такой совсем невозможной, как если бы мы оба растворились друг в друге, и я за эту первую ночь с Людой понял так много как не смог за годы близости с Царицей Ночи.

-Да нет же!-упрямо отрицала Люда.-Я давно,на второй день,как поселилась увидела тебя....во время гимнастики,через стеклянную дверь и знала сама давно.

-Но как же через дверь,если есть штора?

-А ты неплотно ее сдвинул!

-Значит,подглядывала? Зачем?



Как Люда.

сов,но тогда понял,что от страсти можно находиться как он на грани обм мия,когда все исчезает и все мысли и чувства сосредотачиваются на жела- нии близости,такойсовсем невозможной,как если бы мы оба растворились друг в друге. И я за эту первую ночь с Людой понял так много,как не смо за годы близости с Царицей Ночи.Прежде всего,слово "отдаваться" применя емое к женщине.Женщина отдается,а мужчина берет...но ведь это понятие совсем не подходило для Люды и для меня.

Прежде всего, слово «отдаваться», применяемое к женщине. Женщина отдаётся, а мужчина берёт... но ведь это понятие совсем не подходило для Люды и для меня. Отдаются только вялые самки, а берут лишь тупые самцы. Люда отдавала себя всю, но и брала меня всего, так, что кто из нас отдавался, а кто брал, пусть определяют философы и те, кому не пришлось...

И ещё я понял, что все ухищрения страсти под силу только таким, как Люда, с гибким и сильным телом. Но и не только в теле суть бесконечных нюансов любви. Пламенная душа поклонницы Эроса, а выражаясь физиологически — обилие половых гормонов, что ли, должна поселиться в таком теле, и это редкое совпадение и создаёт истинную жрицу любви. А так... все пятьсот способов любви могут лишь удивить равнодушного мужчину или создать видимость утончённой страсти, когда её нет совсем!

Права была Царица Ночи, когда не пыталась следовать наставлениям эротических книг Японии и Китая, Аравии и Ливана — это было не по её силам. Но я вспомнил (и всегда буду вспоминать с благодарностью мою бывшую возлюбленную — бывшую, потому что я знал, что после Люды я не вернусь к ней, как возвращался уже несколько

раз) о ней с горячей симпатией. Если бы не она, я никогда бы не развил свои врождённые качества, особенно в мои годы, и не стал бы мужчиной в полном смысле этого слова к 21-му году жизни. А раз так, то я не смог бы принять и понять все великолепное богатство Люды. Мало — принять и понять, надо было ещё — соответствовать, чтобы праздновать вместе сверкающий эллинский праздник тела.

И вдруг появилась короткая, но обжигающая мысль — как редко могли быть подобные совпадения, и если так, то как труден путь Люды по жизни. Её надо было особо охранять, как отмеченную особым даром богов, даром, которым могут воспользоваться лишь подготовленные к этому люди. А иначе — продажа по дешёвке в каком-нибудь вертепе прошлого века, пытки и костёр для ведьмы — в средние века Да, Люда опоздала родиться — ей надо было явиться на свет до христианства. Мне, мужчине, ещё не беда — если странствовать от возлюбленной к возлюбленной, восполняя качество количеством и собирая венок оттенков... Но если то же самое попробует делать Люда? Да, я, кажется, понимаю. что она имела в виду, когда говорила о заклеймённости. Каждый мужчина, кому она оказалась

не по силам, а потому и не осталась верной, постарается заклеймить её, назвать её блядью!

Я был, должно быть, в состоянии, близком к экстазу, потому что мысль работала с необыкновенной быстротой и чёткостью. Я снова пережил врезавшийся мне в память эпизод из экспедиции этого года.

Я побывал на Севере, где открыл неслыханные ранее местонахождения древнейших земноводных[50], хотя вся поездка заняла полтора месяца. Академия Наук ассигновала мне щедрую сумму в двести рублей.

Дольше всего я пробыл в большой деревне Вахнево, недалеко от Великого Устюга, — кондовой, хозяйственной северной деревне, с большими высокими избами, с могутными мужиками и всем укладом жизни, не изменившимся со времён Ивана Грозного. Я взял нескольких рабочих, и мы заложили раскопку на высоком берегу реки Шарженги, У мельницы, поодаль от деревни.

Однажды мимо нас по тропке быстро прошла

---

[50] Примечания: 50

На берегу Шарженги (на современных картах — Шарженьга) у деревни Вахнево Ефремов открыл местонахождение лабиринтодонтов. Позже совместно с А. П. Быстровым лабиринтодонты были препарированы и описаны. В 1945 году за эту работу И. А. Ефремову и А. П. Быстрову присуждена премия им. А. А. Борисяка, а в 1957 году авторы получили почётный диплом лондонского Линнеевского общества.

красивая молодая баба, резко выделявшаяся чернотой своих волос среди белобрысого населения Вахнева. Один из моих рабочих, кудрявый молодой парень, засвистел, и меня поразило испуганное и ненавидящее выражение, с каким женщина оглянулась на нас и заспешила дальше, семеня маленькими босыми ногами по неровно убитой тропинке.

— Ишь ты, как порскнула, — раскатился смехом парень, — а то что-то на тебя поглядывала, — кивнул он в мою сторону.

— Ну и что? — удивился я.

— Вот ещё, это ведь Катька-солдатка, поблядок. Вот дед Александер тебе расскажет, как он её отделал!

Дед, высокий и сильный красавец-старик с белоснежной бородой и кудрями как у сказочного богатыря, не заставил себя просить. И так все дни наших раскопок он забавлял нас побасёнками и разными смешными историями. Он рассказал, что Катька — она промышляет «этим самым», и ею охотно пользуются, потому как огонь-баба, и я, старик, и то, мол, распалился да согрешил с ней пару раз, — «знаешь, как поддаёт, самый квелый и то заершится!» «Попробуй, пойди вечерком, не нахвалишься, так угодит передком».

И далее дед рассказал дикую историю, за которую я возненавидел этого внешне красивого старика. Они сговорились с каким-то Егором как следует подпоить солдатку каким-то особо забористым пойлом. Ну, и напоили почти что до бесчувствия.

И старик, подмигивая, захихикал, а парни заржали в буквальном смысле этого слова.

— Ну и что? — нетерпеливо спросил я, желая кончить скорее рассказ, так как я терпеть не могу так называемые мужские разговоры о бабах (хотя и женские тоже, кажется, не лучше!).

— Ну, она, Катька-то, всякое сопротивление потеряла, а от охоты не отошла. Мы с Егором стащили с неё сарафан, рубашку задрали на голову, стала она голая, точно ведьма. Ну и катали её попеременке, а она знай поддаёт, да только ох да ах! Устали, да, и она вроде уснула, что ли, даже рубашку не оправила. Я присел к столу, выпил ещё, поглядел на неё — лежит как есть нагая, ладная сама, тело плотное, чистое.

Титьки сколько ни мяли ей, а всё точно у девки стоят. И тут я смекнул, дай, думаю, проучу тебя. Егору мигнул, сам на соседний двор, с телеги снял ведёрко с дёгтем и с мазницей и назад. Подошёл к Катьке, вижу, что ещё от хмеля в себя не пришла,

взял её за титьки. Она закинулась во хмелю, а я тогда за самое место рукой стал тискать, она ноги-то и развела. Я окунул мазницу в ведёрко да её по голым ляшкам, а потом по животу, да шире ей ноги раскрыл и воткнул ей с дёгтем, как есть. Она состонала, вроде мужика принимает... Ну, я говорю Егору, дело сделано, пошли скорее! Так ведь почитай два месяца потом её не было видно — куда-то к сродникам уехала.

— А потом?

— Сюда завернулась, дом, земля, куда же денешься.

— Ты понимаешь, дед, что сделал мерзость? Это же только самый паршивый человек так может поступить! Что она вам сделала?

— Молод ещё ругаться на старика, хоть и инженер, а мало понимаешь! Знал бы — не рассказывал.

— Да уж я знал бы — не слушал, — сказал я, с отвращением глядя на старика, и разразился, казалось мне, красноречивой филиппикой в защиту солдатки и женщины вообще, но скоро убедился, что они ничего не понимают, что красота для них ничего не значит — они её просто не видят (хотя и ценят каким-то смутным инстинктом), а в отношении к женщине они просто животные.

Я не знаю, как там они в духовной любви, но страсти я у них не увидел — это была обыкновенная похоть самцов, удовлетворив которую, они презирали тех, кто дал им это удовлетворение. И женщины тоже считали это в порядке вещей и тоже зверились на несчастную солдатку, наделённую даром страсти.

Не знаю почему, а эта история глубоко запала мне в память, вероятно, от силы возмущения — так грубо и гнусно эта история противоречила тому, что я сам думал о половой любви.

...Светало, а мы всё ещё не могли кончить объятия. Язык слишком беден, чтобы описать, как это было у нас с Людой, — наша речь не приспособлена для того, чтобы говорить об особенностях и красотах половой любви. От повторения одинаковых слов утратилась бы вся богатейшая гамма чувств и ощущений, каждый раз новых, неповторимых и усиливающихся. Скажу лишь, что Люда, с распухшими губами и распухшей и ставшей ещё более тугой йони, с каждым разом старалась отдаться мне так, как будто следующий миг был смертью, а я отвечал ей бездонно ласковой яростью, вернее, неистовством всего тела.

Не помню, как мы уснули.

Я вскочил за пять минут до начала работы, по-

дошёл к окну и отдёрнул занавеску. Люда спала так крепко, что даже не пошевелилась. Я стоял и смотрел на свою нагую возлюбленную, по-детски счастливо и мирно спавшую на широкой постели. Её лицо, полуприкрытое спутавшимися стрижеными волосами, не было типично русским, а носило оттенок «западности» — такие лица встречаются у латышек, финнок, шведок. Прямой, небольшой, как бы срезанный наискось к верхней губе нос, широкий лоб, низкие, узкие, тёмные брови над удлинёнными глазами. Высокие и широковатые скулы, чуть угловатые очертания широкого подбородка. Не очень длинные, но густые ресницы лежали тенью на синих подглазниках, губы раскрылись и едва заметно шевелились во сне, будто девушка шептала что-то неслышное.

Люда пошевелилась, повернулась на спину и открыла левую грудь, испещрённую синяками жестоких поцелуев. Такие же пятнышки покрывали её руки с внутренней стороны, плечи, живот, бёдра.

Девушка вдруг широко раскрыла свои прозрачные «топазовые» глаза и нашла меня. Из глаз исходило такое сияние счастья и признательности, что я смутился, будто почувствовал себя

самозванцем, только гостем в сказочной стране эллинской любви. Люда медленно перевела взгляд на себя, залилась румянцем, но не сделала попытки закрыть себя от моих восхищённых глаз. Вдруг её губы тронула весёлая и какая-то бесшабашная, уже знакомая мне усмешка.

— Милый, вчера я была с тобой на тигре, а стала леопардом. Посмотри, что ты наделал! — и она провела рукой по телу.

Я подошёл к ней и опустился на колени, предлагая добавить для полного впечатления. Люда оттолкнула мою голову и испуганно сказала:

— Боже мой, а как же твоя Академия?

— Я сейчас пойду позвоню, что не приду сегодня. И вообще — я возьму отпуск — всё равно экспедиции нет, а я теперь...

— Что теперь?

— Сейчас смотрел на тебя и понял, что погиб. Влюбился по уши, и вообще...

— Какое-то неясное объяснение в любви?

— Сейчас будет яснее! — и я принялся целовать свою подругу, пока опять наши тела не слились в неотвратимой страсти.

— Милый, ты очень... умный, но можешь не делать так, — говорила мне полчаса спустя девушка, пряча лицо в самом надёжном месте в

мире — на плече у возлюбленного, — я не могу всё равно иметь детей несколько лет, а может быть, и навсегда.

— Почему?

— Давно уже я каталась на буере, и мы провалились под лёд, и я очень сильно заболела, было воспаление... А ты мне будешь ещё ближе, хоть, кажется, уж больше всё равно нельзя.

Я выполнил обещание, впрочем, не выполнять его я не мог.

Лето — самое «пустое» время для полевых исследователей, и я без всякого труда получил свой отпуск на следующий же день. Но в тот вечер я вспомнил о договорённости с гребным клубом. Надо было итти туда, чтобы не потерять лицо, хотя... И всё же я должен был хоть раз проехать на лодке, уже забронированной для меня на сегодняшний и последующие вечера.

Люда попросилась пойти со мной.

Не знаю, что было написано на наших лицах или в глазах, но некоторые прохожие встречали нас многозначительными взглядами, а взоры встречных молодых женщин становились мягкими и мечтательными. Я шёл, чувствуя во всём теле какую-то необычайную лёгкость, как будто в объятиях Люды я потерял весь свой — и немалый

— вес. Это ощущение не раз приходило потом ко мне после «безумных» ночей и дней. Точно ты встал на порог волшебной страны, и тебя отделяет от всех других людей невидимая стена, за которой — звонко напряжены все физические и духовные силы, а на эту, обычную, жизнь уже нет ни сил, ни желаний, и она идёт глухо, в стороне от тебя. И в то же время воспринимаешь всё очень остро и тонко, так что это — не безразличие к жизни, это, скорее, колдовское бесстрашие перед силой привычек, обычного, неизбежного, того, что во всегдашнем состоянии человека давит на него, определяя поступки.

Кое-что о нашем виде я понял, когда встречная толстая старуха, видимо, деревенская, неодобрительно воззрилась на Люду и громко сказала ей вслед:

— Ишь, бесстыжая, кошачьи глазищи бы хоть спрятала, а то все люди видють, тьфу. Срам-то так из тебя и лезет, шалью накрылась бы!

Звонкий смех Люды ещё больше обозлил старуху.

Я искоса взглянул на девушку. Действительно, её глаза под тёмными бровями и над тёмными синяками подглазин как-то особенно сияли, и она не шла, а танцевала на своих высоких

французских каблуках. Твёрдые соски её грудей вызывающе приподнимали лёгкое платье (летом Люда не носила под ним ничего, кроме очень коротких и очень тонких штанишек). Я подумал, что если у меня на лице тоже печать страсти, вроде чёрных подглазин, то мы составляем отличную пару любовников, которым ничего не остаётся, как гордо итти под нескромными взорами понимающих людей, то добрыми, то завистливыми, то негодующими. Пожалуй, впервые я одной стороной почувствовал, что ощущает девушка, вынужденная постоянно итти сквозь строй жадных мужских и ревнивых женских взглядов.

Уже садилось солнце, когда мы пришли в клуб. Я не мог взять Люду с собой на мою одиночную лодку-скиф, но уже придумал, как сделать: попросил вместо обычной — инструкторскую лодку-одиночку с рулевым. Узкая, как нож, гребная лодка держится в равновесии лишь огромными вёслами и требует некоторого искусства в сохранении баланса.

Приятели, придерживая лодку у пристани и помогая усесться Люде, пообещали свернуть мне шею, если я утоплю такую очаровательную девушку, а Люда, весело хохоча, заверяла их в том, что она плавает как рыба. Всё же инструктор

всучил нам два спасательных круга и, неодобрительно хмурясь, наблюдал, как мой скиф вынесся на простор Невки и пошёл против течения, чтобы выйти из рукава в широкую реку.

Люда была в восторге от быстроты движения и, будто ребёнок, следила за мной. Её интересовало всё: и сиденье-тележка, катавшаяся по дну на рельсах, и высокие, изогнутые, как лебединые шеи, уключины с шаровой головкой, накрепко захватывавшей толстое весло, и ремни, закреплявшие мои ступни.

Я объяснял девушке, что из-за длины вёсел нужен большой размах тела, который нельзя достигнуть иначе как передвигая самого себя на тележке. Девушка смотрела как заворожённая на плавные размахи вёсел и размеренные движения ног, то подтягивавших, то отталкивавших всё тело в такт гребле.

— Теперь я понимаю, отчего у тебя такие мускулы на животе, — сказала Люда.

— Нет, не только от этого. Развить эти древнегреческие мышцы — долгое дело. Тут надо и специальную гимнастику, и бег и... да много ещё чего.

И я стал рассказывать, как я приехал в Петроград после Гражданской войны недорослем-замо-

рышем, болезненным после голодного и холодного житья, после контузии и случайного, ещё детского ранения. Как постепенно я поправлялся, как повезло с работой, вошёл в силу, стал усиленно заниматься гимнастикой, футболом, греблей. Как ежедневно принимал ледяные души, ходил без пальто, жил в нетопленой комнате, чтобы закалить себя. Как случилось ещё одно несчастье — заболевание столбняком, после которого я выбыл из настоящего спорта из-за замедленной реакции повреждённой нервной системы, а то уже был хорошим борцом джиу-джитсу, да и боксировал неплохо. Как пришлось уйти и из футбольной команды и потерять всякую надежду сделаться гонщиком-мотоциклистом -всё из-за какой-нибудь десятой секунды запаздывающей реакции.

Люда начала было утешать меня, но я рассмеялся и сказал, что совершенно счастлив, потому что всегда и везде у меня была наука, а теперь вот и Люда.

— А Царица Ночи? — осторожно спросила девушка.

— Это совсем, совсем другое — абсолютно ничего похожего на то, что с тобой! А делить тебя я не могу... ну, хотя бы уже потому, что ты взяла

всего меня. Для другой ничего не осталось — ни ласки, ни силы.

Лодка ушла далеко на середину реки, миновав наиболее населённые берега. Сумерки, всё ещё с отзвуком серебристого колдовства белых ночей, отделили нас от всего мира, берега отдалились, стали тёмными и казалось пустынными.

Люда запела, переходя к всё более и более бравурным цыганским мелодиям, и вдруг встала во весь рост на своей крохотной скамеечке в корме. Испугавшись за девушку, я опустил вёсла в воду, чтобы предупредить опрокидывание лодки. Но напрасно я боялся. Девушка держала равновесие с искусством и уверенностью канатной плясуньи.

— Греби, греби, не бойся, Эль, — задорно крикнула она.

(Со времени её похищения из Петергофа на мотоцикле Люда звала меня Ариэлем, или Элем, в обычных разговорах. В минуты большой нежности я назывался Ари.)

Чтобы устрашить девушку, я принялся грести изо всех сил, и лодка понеслась со скоростью беговой лошади. Но Люда лишь раскинула руки, как улетающая птица, и продолжала стоять на корме. Я видел, что она переполнена своим особенным эмоциональным напряжением, которое

придавало ей такое очарование и в то же время делало чем-то похожей на ведьму или вакханку с их неистовством и задором играющей силы тела и чувств.

Так мы летели в сумеречную даль гладкого безветренного залива, и я, поддаваясь ощущениям своей возлюбленной, тоже наполнился яростью быстрого бега, как разошедшаяся в скачке лошадь. Прошло немало времени, прежде чем я запыхался и прекратил грести, памятуя, что надо вернуться к сроку, иначе в клубе будет поднята тревога.

— Эль, я буду купаться! — объявила Люда. — Как жаль, что ты не можешь.

— Могу, если ты перевернёшь лодку.

Ставший таким милым звонкий смех был мне ответом. Я повернул лодку и медленными взмахами вёсел погнал её к месту, где должна была быть чистая и глубокая вода (в те времена вообще Нева была гораздо чище, нежели теперь). Люда, балансируя на одной ноге, мгновенно сбросила свою «двухвещичную» одежду. Сумерки одели её гладкое загорелое тело (редкое по тем временам, не модное явление) налётом тёмной бронзы, и оно обрисовалось во мгле, как на фоне занавеса в сказочной театральной постановке. Но ничего

нереально-сказочного не было в теле Люды. Я, пожалуй, впервые видел её так, со всех сторон, совершенно открыто ставшую над водой, перед небом.

Тогда ещё я был молод, чтобы сознательно понимать все оттенки красоты женского тела, и мог лишь чувствовать гармонию чувственного, сильного, нежного и желанного, что сочеталось в девушке.

Мода того времени не оценила бы её широкие бёдра, от необычайно тонкой талии казавшиеся ещё более крутыми.

Необыкновенно твёрдые груди Люды, низко расположенные, имели вид широких правильных конусов с тесно сближенными широкими основаниями и далеко расставленными из-за широких оснований странно массивными сосками. Они походили на пару совершенно симметричных вулканов, с вершинами, устремлёнными прямо вперёд, нисколько не опускавшимися вниз и не задиравшимися кверху. Нечто боевое было в этих непреклонных грудях.

Но гладкие, чистые плечи и высокая шея так гордо несли её голову с развевающимися на лёгком ветерке густыми стрижеными волосами, что чувственность тела смягчалась, точно принадле-

жала красоте не вполне человеческой, — богине или нимфе давно прошедших времён.

Юное весёлое лицо с беспечными губами противоречило серьёзной глубине её прозрачных глаз, сейчас почти чёрных, и упрямству низких прямых бровей.

Люда повернулась, и опять контрасты её тела бросились мне в глаза.

Очень тонкие щиколотки, но сильные икры стройных ног, гибкая прямая спина и выступающий очень круглый зад, тонкие руки и крепкие прямые плечи — всё тело Люды казалось сотканным из противоречий, и я не знал ещё тогда, что это и есть настоящая, полная жизни красота.

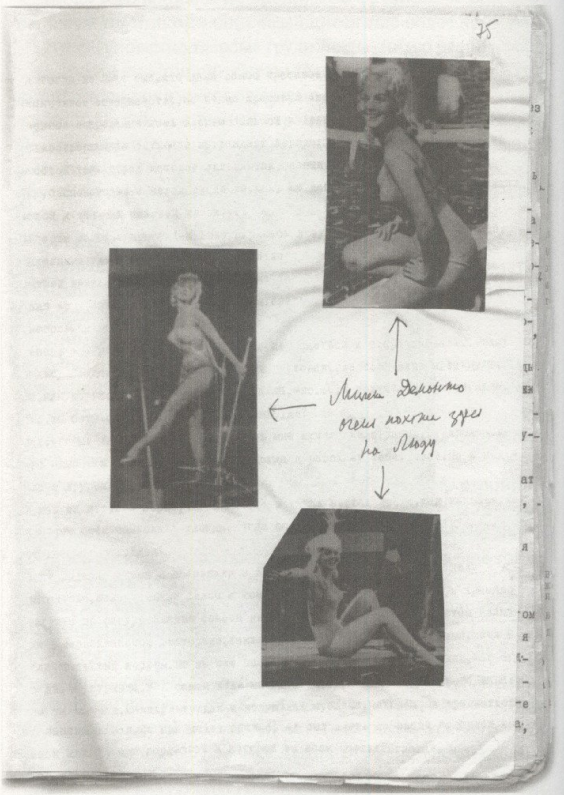
Так же, как и многое другое, я лишь лет пятнадцать спустя понял необыкновенную притягательность Люды именно в физической любви.

Её юное, совсем юное тело во всех своих чертах, как у едва вступившей на путь страсти девушки, сочетало в себе чистую твёрдость юности и мягкую, затягивающую уступчивость опытной женщины. Это был неотразимо привлекательный контраст, такой же, например, как между её девическими грудями и всегда тугими тёмными сосками, или её горячей йони, не столь неуступчиво тесной, а влажной, глубокой, подвижной,

или между её плоским, может быть, слишком упругим животом акробатки и выпуклыми, особенно спереди, бёдрами и выступающим вёртким задом — словом, со всеми её приобретёнными в долгой страсти чертами изощрённой жрицы любви из древнего храма.



Люда – очень похоже



Милена Демонжо очень похожа здесь на Люду

И я тогда не знал ещё, что даже самое красивое тело женщины приобретает законченное совершенство, особенно красивую чистоту линий и глубокое чувственное очарование лишь в огне большой и долгой страсти. Только за верное и самоотверженное служение награждает Афродита женщину особой, озарённой красотой тела, перед которой склоняются знающие и впадают в беспричинный гнев, беспокойство и негодование те, кому не дано знать настоящей чистой и сильной половой любви.

— Задержи лодку, я прыгаю! — и Люда скрылась в чугунно-серой холодной воде.

Медленными ударами вёсел я удерживал лодку на течении, следуя за быстро плывущей девушкой. Она ныряла и плавала так долго, что я встревожился и заставил её влезть в лодку и кое-как вытереться моей рубашкой. Мы приплыли с небольшим опозданием.

— Теперь быстро домой! — сказал я. — Надо переодеться и отпраздновать... нашу свадьбу. Поедем куда-нибудь в хороший ресторан, где есть вино и танцуют.

— Ох, как хорошо! — всплеснула руками Люда, — но... — и девушка вдруг умолкла.

— Что, ты боишься, что встретишь кого-ни-

будь?

— Нет, — гордо выпрямилась Люда, — теперь мне ничего не страшно... кроме одного — как ты будешь слушать меня, когда я расскажу тебе... всё. Но я подумала о другом, о деньгах.

— У нас их нет, это верно, чтобы бывать в таких местах часто, как нэпманы. Но мы можем себе позволить иногда, когда очень захочется или очень нужно, — вот как сегодня. Едем!

Мы переоделись дома и поспешили в «Европейскую».

Я ещё не видел Люду в таком платье, ослепительно-белом с тёмно-голубой отделкой, просто и красиво лежавшем по фигуре. Платье совсем не подходило к вечерним туалетам нэпманов в первоклассном ресторане, так же, как и мой уже не очень новый, хотя и отлично сшитый костюм. Но мы | шли по залу, привлекая общее внимание, как будто два иностранца. И в самом деле мы были иностранцами — из другого мира, — чем та пёстрая, малокультурная и полупьяная публика, которая на три четверти заполняла зал. Но моя мечта сбылась — я был здесь со своей подругой, красотой которой мог гордиться и которая во всём соответствовала мне.

Теперь, конечно, при взрослой самоуверенно-

сти кажется смешным моё тогдашнее тщеславие, но надо понять мальчишку. Да и, кроме того, я знал, что моя возлюбленная действительно хороша.

Мы уселись за столик, заказали вкусные вещи, пили вино, танцевали. Я не был хорошим танцором из-за малой практики (не было подходящей подруги — ведь Царица Ночи никуда со мной не ходила), но обладал ловкостью и хорошим чувством ритма, так что мог прилично протанцевать «ходовые» танцы того времени — танго, шимми, фокстрот, считавшийся вершиной западного разврата. Но Люда — та оказалась в своей стихии, и мне пришлось пожалеть себя — я явно не был тем партнёром, который нужен бы был, чтобы оттенить такую танцовщицу.

— Ничего, милый, — утешала меня Люда, когда мы снова сели за столик, — ты танцуешь как все, а я ведь думала заниматься танцами — была такая школа последователей Айседоры Дункан[51], я училась там четыре года, начала сразу после блокады.

---

[51] Примечания: 51

Дункан Айседора (1877 или 1879-1927) — американская танцовщица, основоположница «свободного танца». Её последователями в Санкт-Петербурге в 1914 году была организована студия музыкально-пластического движения «Гептахор», просуществовавшая до начала 1930-х годов.

Лёгкое огорчение быстро исчезло.

Слегка захмелев, я сидел против белой Люды, заглядывая в её сияющие прозрачные глаза, ставшие золотисто-жёлтыми в ярком свете хрустальных люстр. Шум голосов, шумная музыка, движение весёлых смеющихся пар — никогда ещё мне не было так хорошо. Мог ли я думать, что через несколько месяцев я буду сидеть здесь же, горько пьяный, пытаясь заглушить неизбывную боль разлуки с Людой? Если бы я мог это знать. Впрочем, даже если бы узнал? Разве я отдал бы хоть час из того короткого, но полного через край времени, что судьба отвела нам двоим?

Три моряка за соседним столиком подняли бокалы и поклонились, приветствуя нас с Людой. Мы ответили тем же.

— За вашу невесту, молодой человек, — сказал старший из них, чёрный, похожий на грека или на кавказца.

Я поблагодарил, и мы с Людой выпили за них. Потом Люда танцевала с одним из моряков, оказавшимся куда лучшим танцором, чем я, и я любовался ею. Моряки скоро ушли, а мы засиделись, заговорившись о планах на будущее, возможных путях совместной жизни.

Ресторан наполнился другой публикой — наг-

лыми толстосумами, которых мы напрасно представляем себе как капиталистов того времени. Скорее, это были легализованные спекулянты, жадные хапуги, думавшие только о скорой наживе и сознававшие, что их житьё — короткое.

Мы быстро собрались уходить. Люда шла со мной рядом по толстой ковровой дорожке посредине зала, раскрасневшаяся от вина, возбуждения и танцев. Жадные взгляды обдавали её, точно всплесками, со всех сторон, и девушка нахмурилась.

В вестибюле стояли два отлично одетых человека, оглядевших нас с головы до ног, пока мы ещё только подходили. Проходя мимо, я услыхал, как один приглушённо, но беззастенчиво сказал другому:

— Вот краля! По платью — невеста, а ж....й виляет. До чего хороша ж..., всё отдал бы...

Люда слышала это наверное, так как покраснела ещё больше и ускорила шаг.

— Иди, не оборачивайся! Налево и за угол, я сейчас! — негромко сказал я ей, и девушка кивнула на ходу, скрываясь в вертящихся дверях.

Я обернулся, подошёл к ценителю женской красоты и пребольно щёлкнул его по носу. У того глаза налились слезами — я отличался

удивительно сильными пальцами и, играя в «буберёшки» со своими рабочими, выучился щёлкать так, что на лбу сразу вскакивала шишка.

— Следующий раз держи поганый язык за зубами а то голову оторвут! — пообещал я остолбеневшему от боли и изумления нэпману, щёлкая второй раз, отчего на его белую рубашку хлынула кровь.

— Хулиганство! Бандиты! — завопил его товарищ.

Дюжие швейцары-вышибалы ринулись ко мне в надежде заработать щедрые чаевые. Но едва самый проворный из них полетел вверх тормашками от известного приёма, как второй так же испуганно отскочил, дав мне время выскочить через вертушку.

Секунду спустя мы с Людой были уже в подворотне старинного дома, пробираясь на Екатерининский канал, и, хихикая, слышали позади свистки на улице Лассаля.

— Нет уж, как ни приятно, а я больше не пойду туда, — сказала, слегка запыхавшись, Люда, когда мы вышли к Спасу-на-Крови и Михайловскому саду.

— Ничего, пойдём и туда, и в другое место, только надо ходить не очень поздно, пока не собралась

всякая сволочь, — возразил я, и, действительно, мы не раз ходили с Людой в рестораны без всяких приключений.

Мы вернулись на улицу Красных Зорь с последним трамваем. Едва Люда успела переодеться в кимоно, теперь принадлежавшее ей, как я поднял её на руки, чтобы нести в свою спальню. Но девушка освободилась и, смотря на меня серьёзными «ведьминими» глазами, повлекла за руку в ее комнату, то есть мою прежнюю спальню.

— Дай мне папиросу, Ариэль, — твёрдо сказала она, усаживаясь на шкуре тигра, — я должна тебе всё про себя рассказать. Сегодня же, сейчас! Ты ведь хочешь?

Я подтвердил, и Люда рассказала, тем самым подписав смертный приговор нашей только что родившейся горячей любви и нашей совместной жизни. Но тогда я ещё ничего не знал и ничего не испытал, кроме любопытства, лёгкой ревности и, больше всего, нежного сочувствия моей возлюбленной.

Люда была ленинградкой, с примесью шведской крови со стороны матери, которая, потеряв мужа — отца Люды, воспитала девочку, живя продажей вещей своей некогда богатой и большой квартиры. После замужества Люды мать,

болевшая почками, уехала к каким-то родственникам на Кавказ.

Люда кончила школу, как все тогда, — шестнадцати лет, с очень смутным представлением о том, что ей делать в жизни, занималась танцами, но потом, чтобы помогать матери, бросила ничего не обещавшую школу и поступила в Академию художеств, обнаружив у себя способности.

В нэповские времена художники вовсе не были в том плачевном положении, в каком они оказались позже, в сталинскую эпоху. Даже у самых неудачливых была возможность заработать на оформлении вывесок, реклам, обёрток бесчисленных фирм и мелких магазинов, ресторанов и т. п. Да и разных «меценатов» с самыми различными вкусами тоже развелось много — в частных руках были деньги, и железный пресс единой системы ещё не взял искусство в свои клещи.

Люда могла учиться и хоть немного помогать матери или, во всяком случае, снять с неё бремя своего содержания.

Восемнадцати лет, ещё на первом курсе Академии, она встретила художника П., остроумного, насмешливого, широко образованного человека, старше её почти на 20 лет. Он так Упорно ухаживал за Людой, что девушка уступила и, хоть

не любила (но бесспорно увлекалась им), вышла за него замуж сразу же, не кончив даже первого курса.

Дальше Люда смогла рассказывать лишь после того, как Мы потушили свет и она отдалась мне, охваченная моей близостью. Лёжа рядом, она говорила полушёпотом, иногда замолкая от стыда, но снова справляясь с собой и продолжая необычайную свою повесть.

Её муж, которого она мне ни разу не назвала по имени, оказался очень опытным и развращённым в науке страсти нежной. Сначала это было даже удачно из-за некоторой необычности женского устройства Люды. Только опытный в страсти человек мог сразу понять, с кем имеет дело. Но муж Люды вообще был не только знаток, но и художник подобных дел. Первая брачная ночь, кстати — день, Люды получился таким, что не только не нанёс ей никакой травмы, но сразу приобщил ко всем наслаждениям страсти. Муж достал какого-то зелья — мази, которой он натёр соски грудей Люды, её йони и даже зад. Это возбудило в ней сильное желание, а после того как она выпила ещё вина с чем-то, её природный темперамент проснулся с такой силой, что она забыла обо всём, кроме страсти, без стыда и стес-

нения отдаваясь мужу, не смущаясь своей первой наготой при свете дня. Так умелый муж сразу пробудил скрытую в ней сильную женщину, и дальше ему оставалось только отделать свою ценную находку.

За первый год брака Люда узнала множество способов любви, и чем темпераментнее становилась она, тем большего требовал муж, но она не поняла ещё, что в этом сказывалось его утомление и охлаждение. Он был жестокий, самоуверенный и надменный человек, и Люда, попавшая в его руки ещё девочкой, была ему покорной, так он давил её волю.

Муж требовал, чтобы она перестала учиться и не работала — деньги у него были. Иногда она служила ему натурщицей — он рисовал разные фигурки, никогда не говоря ей, для чего, может быть, для мод или реклам.

Но большей частью он лениво лежал весь день до вечера, куря и мечтая в неубранной постели, или садился в халате за рояль, засыпая пеплом клавиши. Вечером он исчезал, приходил поздно, попахивая вином и крепкими духами, — Люда знала, что он, игрок по натуре, много играл с переменным счастьем во Владимирском карточном клубе. Люда должна была ждать его с крепким

кофе, готовая к ночным объятиям.

Такая жизнь была очень монотонна, так как Люда растеряла приятельниц и знакомых за время плена первой страсти и как-то не хотела возобновлять знакомства, — она чувствовала, что в её жизни получилось как-то не так и что надо что-то изменять в ней. Её активная природа не могла примириться с ничегонеделанием, и если она прежде была поглощена новым миром страсти, ей открывшимся, то с постепенным охлаждением или усталостью мужа она опять могла смотреть на мир прежними глазами и искать в нём своё, интересное и красивое.

Но случилось другое.

Дом на Мойке, где они жили, был населён художниками. На той же площадке лестницы жил молодой декоратор, — приятный, красивый черноволосый человек, тоже увлекавшийся карточной игрой и поэтому друживший с её мужем. Случилось так, что у мужа были какие-то срочные заказы и он редко являлся домой, а Люда бродила по городу или шла в театр вместе с Леонидом, как звали молодого художника.

Время шло, муж отходил всё дальше, и Люда стала уже подумывать о разводе и новом устройстве самостоятельной жизни, а по природному

озорству она принимала шутя откровенное ухаживание соседа. Это повело её незаметно всё дальше, и однажды после того, как они увлеклись рассматриванием гравюр у него дома, случилось так, что она стала его любовницей.

Лишь много позднее узнала девушка, что всё было умело устроено её мужем. Зачем — она поняла в день своего девятнадцатилетия.

Вечером (её муж уехал в тот день на неделю в Москву) Леонид пришёл к ней, чтобы отпраздновать её рождение и месяц их тайной страсти. Ночью внезапно в спальню ворвался муж, неслышно вошедший в квартиру, и застал её нагую в объятиях Леонида. Замерев от ужаса и позора, Люда молча лежала, натянув на себя до глаз одеяло, ожидая ужасного сражения. Но муж, спокойно выкурив папиросу, сказал, обращаясь к ним обоим, что Леонид его давний друг, и он не возражает против того, чтобы они жили втроём. Муж обратился к Леониду с этим вопросом и получил самое горячее согласие.

Изумлённая и негодующая Люда, видя такое ужасное предательство, стала было отчаянно протестовать, но муж, используя своё влияние на неё, заявил, что он простит её мерзкий поступок, если она подчинится. В полудетском страхе и

перед мужем, и перед своим грехопадением Люда умолкла и лежала с бешено бьющимся сердцем, пока муж не принёс вина, чтобы выпить за их тройственный союз.

От стыда Люда выпила целый стакан, голова закружилась, стало легче. Вероятно, в вино муж снова подмешал своё могущественное зелье, потому что немного успокоенную вином девушку стал охватывать пламень страсти. Люда без прежнего стыда и ужаса смотрела, как муж разделся и улёгся с ней рядом, так что она оказалась между ним и Леонидом.

К мужу, казалось, вернулась прежняя страсть. С весёлым смехом они состязались с Леонидом, кто дольше будет брать Люду и кто большее число раз, пока, усталые, не уснули все трое.

Очень горько и сложно было бы описывать переживания проснувшейся утром Люды. Сначала она хотела бежать куда глаза глядят, потом ей показалось, что она уже так опозорена, что ей больше нет пути из этого проклятого дома и ей остаётся только продолжать быть игрушкой двух любовников.

Её размышления были прерваны мужем, который, ещё под действием вина, сразу же притянул её к себе и взял.

Обычно и муж, и Леонид брали её сзади, а она уже так научилась изгибаться и вертеться, что они находили такие способы более удобными. Люде тоже казалось, что, когда её берут сзади, то она отдаётся не полностью, не открывая нелюбимому мужчине всего своего существа и, привязанная лишь страстью, душой остаётся в стороне.

И на это утро муж овладел ею как обычно, положив обе руки на груди и откинувшись назад. Их движение разбудил Леонида, который с раздувающимися ноздрями схватил и сдавил руки Люды, время от времени целуя её в губы. Через несколько минут повторилось то же, но в обратном порядке, потом оба любовника разошлись по своим делам, оставив Люду переживать случившееся.

Но странным образом в яркий и приветливый солнечный день происшедшее показалось ей не столь уж страшным и непоправимым, а её природная чувственность, всё ещё возбуждённая афродизиаком её мужа, помогла представить её позор в юмористическом свете. Люда истерически хохотала в одиночестве, потом успокоилась и занялась обычными делами по хозяйству и приборке.

Не зная, что всё было подстроено её мужем по соглашению с Леонидом, который выиграл её взамен крупного проигрыша мужа, Люда мучилась угрызениями совести перед мужем. Как бы себя ни вёл он странно и не по-мужски, всё же виновата была она, она обманула его, а он поступил, в конце концов, вполне благородно. Люда ещё тогда не знала, что при угасающей половой силе помогает искусственное возбуждение — вид того, как женщина отдаётся перед ним сопернику или солюбовнику.

Но всё скорее и сильнее нарастала неудовлетворённость и какая-то обида. Обида не потому, что ей пришлось быть в плену самой сильной страсти, а потому, что она была не такая, какой они старались её сделать. Она не могла быть просто слепком их желаний, она должна была быть самой собой. И, обнаружив в ней большее, чем у себя, оба любовника либо отчуждались, либо старались её унизить. Все эти «игры» и были направлены на её унижение. Они думали, что, унижая её, они возвышаются и утверждают свою гордость обладания, становятся выше её. А на самом деле, не понимая и не ощущая настоящей страсти, они брали её, чтобы быстрее избавиться от желания, а не растить его — обычная ошибка

несильных мужчин в их половой жизни.

Последовавшие месяцы утомили Люду и вызвали ка-кую-то пассивность во всём её отношении к миру. Разочарование, сознание собственной вины и неумение решительно сбросить опутавший её плен подорвали её веру в себя и других людей. Так подошла весна, а с нею её муж должен был куда-то уехать на два или три месяца. На неделю раньше уезжал Леонид.

За несколько дней до отъезда муж сказал, что он узнал, будто скульптору, жившему на верхнем этаже соседнего дома, требуется натурщица и что он будет хорошо платить. Люда обрадовалась возможности снова начать зарабатывать и вернуться к самостоятельности и без колебания отправилась к скульптору. Тот — громадного роста могучий человек с русой бородой и соколиными глазами сказочного добра-молодца — понравился ей. Он восхитился её фигурой, и соглашение было заключено.

Сначала Люда не позировала целиком, а лишь для каких-то деталей заказанного скульптору памятника, затем понадобилось и полная нагота (в трико в те времена не позировали, да и не так легко было достать такое трико).

Скульптор показался очень участливым че-

ловеком, они быстро подружились, и Люда, отвыкшая от дружеского участия, потянулась к этому сильному человеку. Она привыкла и к скульптору, и к работе, во время которой могла сидеть и думать, осмысливая свою запутанную и тёмную жизнь, чтобы предупредить новые ошибки своей увлекающейся и вспыхивающей натуры.

Ряды старых деревьев на набережной уже одевались в прозрачную светлую листву, и в открытую фрамугу тянуло запахом поздней весны. Как-то, позируя, она рассказала ему о своём падении, и возмущённый скульптор обещал ей помочь найти постоянную работу, а следовательно, и возможность снять комнату и уйти от мужа.

Он подошёл к ней, вытер слёзы, нежно обнял, гладя по спине, поцеловал в шею. Люда доверчиво потянулась к нему, положив голову на его плечо, и через несколько секунд уже извивалась в железных руках, пытаясь освободиться. Нагая, она ничего не смогла сделать против конской силы скульптора и неожиданности.

Потом она с отчаянием покорилась неизбежности, как она считала — ничего иного с мужчиной у неё теперь быть не может. Он подолгу мучил её

своим огромным членом, забыв о своей работе, будто и в самом деле был захвачен любовью к ней.

Так прошли апрель и май, вернулся муж, и почти одновременно появился Леонид. Скульптор как-то отстранился, и тогда Люда потребовала исполнения обещания. Он пообещал обо всём поговорить на прогулке в Петергофе, куда они нередко ездили. Там вдруг встретились муж и Леонид. Люда укрылась от них в боковой аллее. Скульптор не последовал за ней, и она потеряла его. Решив немедленно возвращаться в Ленинград, она попыталась поискать его, устала и села на скамью около открытого кафе со столиками и тут услышала могучий голос скульптора, раскаты его добродушного хохота.

Она выглянула из-за кустов и, не веря глазам, увидела его сидящим с другой стороны навеса кафе, за столиком, вместе с её мужем и Леонидом. Заподозрив какой-то обман, Люда обошла по боковой тропинке под прикрытием кустов и села на другую скамейку поблизости от беседовавшей троицы. Подслушанный разговор врезался в её память, как выжженный калёным железом.

— Видишь, я тебе говорил, что выйдет! — сказал муж Люды. — Почему я и послал её к тебе. Лучше

ты, а то другой ещё бы и увёл... Я не хочу её терять, слишком хорошо е...я, хотя и иногда устаёшь от неё, уж чересчур. Кстати, как сейчас у тебя с ней? Ведь бедняге приходится угождать трём: мне, тебе, Леониду.

— Очень хорошо! — загрохотал скульптор. — У неё всё так хорошо получается. Ты здорово её выучил... впрочем, и я кое-что прибавил, скажешь спасибо!

— Что же именно?

— Ну, я сначала объезжал её сам, а потом учил верховой езде со сверлом.

— А как объезжал?

— В индийской позе аталана.

— Не знаю.

— Ну как же! Кладёшь ничком, и под живот — подушку, а сам наваливаешься сзади и руками за груди. Это с ней выходит особенно крепко.

— А она?

— Ну, вертится, конечно, когда делает сверло, ахает и стонет, потому со мной нелегко ведь. Но жопу-то вы ей так хорошо отполировали, такая гладкая и круглая — наслаждение!

Люда больше не могла слушать. Она встала и пошла мимо в таком стыде и унижении, какого ещё никогда не испытывала. Все трое заметили

её и стали звать. Она не обратила внимания, тогда первый подбежал скульптор и схватил её за руку, приглашая в кафе. Со всего размаха своей сильной рукой она ударила его по лицу, раз по щеке, раз по носу, так что потекла кровь. Муж и Леонид схватили её, но она бешено вырвалась и побежала. Побежала ко мне, стоявшему у мотоцикла. И так состоялось наше знакомство.

Люда рассказывала мне обо всём испытанном в подробностях, и я, будучи очень молод, не понимал тогда, что ею руководило желание всё пережить снова, открывшись мне полностью, и этим очиститься от всей греховной своей униженности. Те же душевные движения заставляют женщин исступлённо каяться в бывших и не бывших религиозных прегрешениях. И Люда так же предалась безудержному самопокаянию на ложе своей любви. Ни она, ни тем более я не могли даже почувствовать тех роковых последствий, к которым приведёт моё знание всей её истории.

— Вот тебе весь рассказ о двух с лишним годах моей замужней и взрослой жизни, — закончила Люда, беря папиросу вздрагивавшей рукой (обычно девушка не курила), — теперь суди меня как хочешь.

Я притянул к себе всю дрожавшую Люду и отве-

тил, что я не имею права судить её и могу только любить её такую, как она есть. Что в прошлом — пусть всё так, как она рассказала, но у нас — впереди будущее, сейчас — настоящее. Настоящее это так же прекрасно, как она сама. Говорил ещё, что чистый огонь её страсти сжёг всё, в чём она сама себя может винить, говорил ещё многое, что сейчас уже забыл. Наконец девушка успокоилась и подарила меня таким взрывом страсти, что я вообще забыл обо всём на свете.

На следующий день я получил отпуск. Мы проводили наш медовый, а вернее — безумный месяц в нашей квартирке, часто выезжали на нашем мотоцикле за город, больше всего в Павловск и другие места, но никогда — в Петергоф.

Пламя нашей страсти, казалось, всё возрастало. Мы учились друг у друга, мы находили всё более тонкие ощущения в нашем соединении, мы не переставали узнавать красоту человеческого тела в любви. Где-то недавно я прочитал, что половая любовь настолько некрасива, что оба партнёра должны обладать чувством юмора. Несчастный англичанин, писавший это! Как он далёк от даже начальных ступеней настоящей половой любви! Если два хорошо сложённых и гибких тела сплетаются в объятиях, то творится

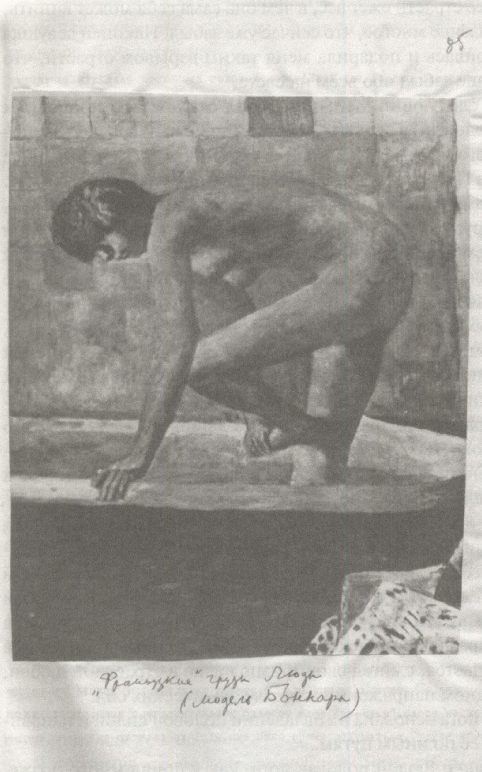
настоящая красота, и тогда соединение любовников — серьёзно и глубоко, как служение богам. Очень понятно, как молодые женщины древней Эллады и других средиземноморских стран служили богине любви в её храмах.

Если физический порыв идёт совместно с духовным, то развитие, напряжение и расходование физических и душевных сил накладывает свой отпечаток на человека. Он делается как бы выше, яснее, прозрачнее обычной своей нормы, и это сразу бросается в глаза людям. Получается своеобразная йога, в которой человек духовно поднимается и очищается, сжигая свою физиологию в страстной любви, громадном напряжении и отдаче физических сил.

Но йога основана на овладении половой силой и направлении её по иным путям.

Наша с Людой половая йога, как я понял много позже, была не чем иным, как известной давно в Индии Тантрой — освобождении и выпускании всей половой основы человека до конца, до дна. Этот путь очень опасен — стоит лишь потерять силы и продолжать сверх сил на той же высоте напряжения, как возникает возможность духовной деградации, нервного истощения и даже безумия. Или от недостатка сил начнётся крутой

спуск с достигнутых высот, который поведёт в пропасть извращений и отчаяния.



«Французские» груди Люды (модель Боннара)

Но пока мы были далеки от этого и шли через мир, как два пришельца с другой звезды, уже привыкнув к пристальным взглядам встречных людей на улице, в трамвае или у знакомых. Люди, оказывается, очень чувствуют любую необыкновенность в человеке, даже если она и старательно скрывается. Силы не таяли, а, казалось, прибывали... но это только казалось. Теперь я понимаю, что прибывали не силы, а тонкость оттенков, острота чувственных ощущений, которые увеличивались с возрастанием нервного напряжения.

Но всё проходит, а в нашем золотом тумане время шло особенно быстро. Кончился мой отпуск, и я пошёл на работу, а Люда нашла заработок в разрисовке каких-то массовых пригласительных билетов кафе «Ша-Нуар». На те несколько часов, что я был отделён от Люды, мне было время задуматься.

Будучи препаратором, думать особенно хорошо. Неярко горит лампа с глубоким зелёным колпаком, бросающая свет только на объект работы, мирно журчит или высоко поёт препаровальный мотор, в зависимости от оборотов, или похрустывает препаровальная игла. Смотри и следи, а мысли бегут свободной чередой.

Так я много думал о нас и, прежде всего, конеч-

но, о Люде, и незаметно, неслышно в душу стал заползать точно маленький, но едкий ядовитый червяк.

В том, как открылась мне Люда, была благородная мужественность рассказать о себе настоящему избраннику всё самое худшее, жгучее желание правды и очищения. Но теперь я думаю, что этого бы не следовало делать, особенно в таком неопытном и неясном возрасте, в котором мы находились оба. Это надо было сказать после полного укрепления и победы любви. То есть не скрывать общего, но избежать пока унизительных деталей, которые в своём порыве кающейся грешницы рассказала Люда. Но для этого нужен был такой жизненный опыт и мудрость, какого не было ни у неё, ни у меня. И ещё — мы так сразу пошли путём Тантры, путём самой неистовой страсти, что ещё не дали развиться обоюдной духовной близости, нежной привязанности и взаимной заботы, словом, настоящей большой любви. Это всё было впереди, а пока нас связывала неистовая половая близость, связывала, казалось, крепче стальных канатов. Но в самой этой крепости была слабость, приведшая нас к гибели.

В состоянии великого подъёма, какой я пере-

живал, мысли бежали особенно ясно, быстро и проницательно. Я ни на одну секунду не мог, конечно, подумать о Люде сколько-нибудь плохо — только любовь и желание были в моих думах. И всё же... как-то странно было — почему Люда так покорно жила в плену низкой страсти, уже понимая и чувствуя своё унижение? Разве нельзя было уйти — просто так, шагнув за порог немилого дома? Разве нельзя было не подчиняться? Ведь не всё время властвовало над ней возбуждающее зелье или воля её мужа! Конечно, такой девчонке было трудно сразу разобраться во всей этой смене привязанностей и предательств, но всё же не долго ли Люда была игрушкой? Значит, дело было не только в обмане, но и в том, что её саму увлекла сладострастная игра французской богемы!

А если так, то Люда тем самым перешла какую-то грань, отделяющую жаркую страсть от разврата, красоту от безобразия, чистоту от грязи.

— Ну, что ж, пусть перешла, — говорил я себе, — разве моя любимая не могла ошибиться, упасть, чтобы подняться? И разве это не будет моей заслугой, если я помогу ей подняться, забыть про всё случившееся, так, как она его забыла сейчас, поднявшись в светлом взлёте тела и души?

И всё же какой-то горький осадок незаметно оставался и копился в самой затаённой глубине чувств. И однажды это ядовитое, клубком свернувшееся в сердце пресмыкающееся вдруг показало зубы.

Мы с Людой совершали очередное служение Афродите, и Люда отдавалась мне, прижавшись ко мне спиной и вся изогнувшись, охватывала руками мою шею, а я играл сосками её изумительных грудей. Внезапно я весь дрогнул, вспомнив, что это, наверное, так, как началось у Люды со скульптором в его мастерской. Девушка, почувствовав во мне что-то и стараясь стать ещё полнее моей, стала всячески изгибаться в своей осиной талии, вертя задом и всё сильнее прижимаясь ко мне. Но во мне уже полз какой-то странный холодок, неиспытанным ужасом повеяло от внезапного ощущения, что я посмотрел на Люду со стороны, не участвуя в порыве её любви всей своей душой.

Появившееся быстро исчезло, и я даже забыл про это, но оно появилось снова и снова. Я пытался преодолеть его самой бешеной страстью, но чем сильнее становилось желание и чем больше близость, тем больше меня грызло то, что всё это Людой уже было испытано, что не я первый

породил её необычайную страстность, что её первые порывы уже были отданы неизвестным мне грязноватой жизни людям и что я вообще не был у неё первым. Сказалась та проклятая отрава буржуазной морали и христианской религии (вернее — древнееврейской), которая была всосана с молоком матери, с детства впитана с книгами, картинами, притчами и фильмами. Та отрава, что заставляет требовать от женщины-избранницы невинности, никому, по сути дела, не нужной, что заставляет считать женщину, уже отдавшуюся кому-либо, — падшей.

Я никогда не думал об этом серьёзно и, живя в свободной половой морали, считал себя застрахованным от проявления тысячелетней глупости.

Теперь это подползло ко мне с неожиданной стороны. Самая сильная влюблённость, самый высокий накал страсти требовали какого-то внутреннего абсолюта, абсолютности во всём от избранной подруги. Это было нелепо, дико, страшно, но это было так, росло и усиливалось. Я дошёл до того, что, любуясь Людой или целуя её прекрасное тело, не мог избавиться от мысли, что вот так же целовали её те ненавистные мне люди. Восхитительная линия её круглых бёдер, без малейшей западинки или неточности формы,

— но разве это не приобретение целых лет замысловатой страсти? Красивые выпуклости мышц на передних сторонах бёдер — я их ещё не видел у своих прежних возлюбленных, это чувственно красиво - но ведь оно появилось от слишком частых вскидываний и объятий её точеных ног. Да и сама-то тонкая талия, такая что я почти что мог обхватить её своими пальцами — ведь и это, пожалуй, тоже от несчётных извивов в самых разных позах в мужских объятиях.

И мне осталось только признаться Люде, что я не удержался на высоте прежних месяцев и снедаем самой жестокой ревностью к её прошлому. Вся похолодев, девушка сказала, что она давно боялась этого, но потом, в золотые дни нашего счастья, поверила, что всё может быть по-другому. Горькие слёзы, уверения, отчаянная неистовая страсть — всё это длилось ночь за ночью.

Самая страшная сила прошлого — если она одолевает человека, то нет силы, которая могла бы победить её. Ибо кто может исправить прошлое из богов или людей? Можно предвидеть будущее, изменить его, изменить и переделать настоящее, но над прошлым власти нет, и я это почувствовал очень хорошо в жестоких терзаниях самой под-

лой ревности к прошлому Люды.

Оба мы старались, чтобы это коварно подкравшееся к нашему счастью чудовище покинуло нас. Но по молодости мы выбрали самый неверный путь — старались стереть призраки прошлого новыми и новыми порывами страсти, а оно, вместо того чтобы отойти, вырастало всё более живым и сильным.

Теперь я знаю, что надо было бы поступить наоборот - временно утихомирить страсть, отойти друг от друга в том, что всё время вызывало призраки, и сблизиться на другом пути — взаимной любви, уважения и дружбы. А потом, после того как мы прошли бы испытание, новая близость в самой горячей, самой неистовой половой любви уже не породила бы жестокую боль — мы избавились бы от власти прошлого. Но этого мы не знали.

И в неизбежном результате я всё более жестоко мучил свою самую дорогую мне на свете женщину, а она в отчаянии, снова униженная своим прошлым, старалась всячески доказать мне свою любовь и только вызывала новую ревность. Никогда не подозревал я, что такая нелепейшая

и глупая арцыбашевщина[52] может оказаться чем-то реальным, да мало того — победить меня самого в моей первой большой любви! Я смеялся над героями арцыбашевских романов и презирал их — они и писатель казались мне такими дураками и — вдруг какая-то слепая, страшная, неодолимая сила душила во мне весь горячий и чистый пламень необыкновенной и страстной любви к редкой девушке.

— Как вы можете любить Люду? — говорила мне несколько месяцев спустя одна из её подруг, случайно встреченная мной (она уже знала, что мы разошлись, но я прямо ответил ей на прямой вопрос, люблю ли я её ещё), ведь она, кажется, не вполне нормальна.

— Что вы хотите этим сказать? — хмурясь, спросил я.

— Ну, вот бывают такие женщины, чересчур... стремящиеся к мужчинам, не знаю, как называется такая болезнь. Люда ведь... она жила сразу с

---

[52] Примечания: 52

Арцыбашев Михаил Петрович (1878—1927) — русский Писатель. Был известен в России и за рубежом произведениями, которые провозглашали удовлетворения своих половых потребностей как главную идею человеческой жизни, исследовали проблемы самоубийства и причин, толкающих человека на подобный шаг. Скандальную известность приобрёл роман «Санин» (1907). Пьесы и фильмы по сценариям Арцыбашева имели огромный успех. Особенно популярной была пьеса «Ревность» (1913), где муж в порыве ревности задушил свою жену.

тремя мужчинами, мне её муж сам рассказывал.

— Подлец её муж и мерзавец, а вы верите. Кстати, скажите мне, кто он, я сверну ему шею при удобном случае.

Подруга Люды долго присматривалась ко мне, потом сказала:

— Знаете, я не скажу. У вас в глазах такое, что вы действительно свернёте ему шею. Ведь Люда не сказала вам, кто он, — недаром, и я не скажу.

— Ну и чорт с вами, — грубо ответил я, поворачиваясь и уходя.

Потом, обдумывая, не стоит ли мне действительно повстречать мужа Люды, я решил, что не стоит. Кто знает, в какие неприятности я мог ввергнуть Люду, если бы я искалечил или пришиб мерзавца, а так бы, наверное, и случилось. Довольно и так она настрадалась от меня в ответ на свою горячую любовь.

Но эта встреча с подругой Люды показала мне, каков может быть обывательский взгляд на мою возлюбленную. Но я и до сих пор совершенно уверен, что Люда была совершенно здоровой и нормальной женщиной, только наделённой необыкновенной силой страсти и соответствующими силами тела. Про древних критских женщин в Элладе говорили, что в их крови живёт

пламенная частица бога Солнца. Вот такое же солнце жило в крови Люды — действительно редкой драгоценности, которую боги удостоили меня встретить, но не дали силы удержать. Только я один виноват в том.

И вот что случилось дальше.

В нашей жизни с Людой наступило короткое умиротворение — скорее всего, мы выбились из сил, страдая и мучаясь. Может быть, всё пошло бы к лучшему дальше, но однажды я получил по почте на Геологический музей плотный большой конверт. Ничего не подозревая, я вскрыл его и увидел несколько мастерски сделанных рисунков эротических сцен... Да, это была Люда — я легко узнал её тело, её лицо, её позы... но одна поза, которая, я думал, принадлежала мне одному, была тут выражена с достойной лучшего применения экспрессией. Мало того, коллекцию завершали два снимка со статуи или, может быть, скорее статуэтки, несомненно изображавшей Люду. Уцепившись за шею могучего человека с бородой, стоявшего, упершись в какую-то колонну, и обхватив ногами середину его тела, она отдавалась ему невиданным мною способом. Лишь много лет позднее я нашёл, что это так называемая поза Индры в индийской эротике.

Долго сидел я с потухшей папиросой во рту, пока очнулся и сжёг гнусную посылку. Но вместо того, чтобы это последнее деяние негодяя придало мне силы вступить в борьбу с его тенью и самим собой, оно лишь острее возбудило мою ревность и ослабило меня. Я оказался слабым противником в борьбе с самим собой, несмотря на отлично развитые мускулы, физическую силу и уменье владеть кулаками. Но, увы, тут нужны были не кулаки!

Я ничего не сказал Люде о рисунках, но всё вспыхнуло во мне с новой силой. Ещё несколько отчаянных попыток, ещё две-три недели неистовой страсти, всё более отчаянной от того, что мы оба чувствовали приближение конца. Всё кровоточило во мне внутри, тем более что я сам сознавал своё поражение в борьбе за любовь. Будь я постарше! Будь я постарше! Но ведь в те годы — или всё, или ничего, и первый же серьёзный крах кажется невосстановимым, утраченное — невозвратимым, и всё тонет в огромном эгоизме, судящем только от себя, через себя и не могущего взглянуть на мир иначе, не через узкие окна своего неопытного я!

И вот тёмным и холодным зимним утром решилась судьба моей любви. На позднем рассвете

я вышел из своей квартирки на улице Красных Зорь с чемоданом немногочисленного скарба, разогрел и завёл свою машину, и мой верный «Харлей», доставивший мне столько счастья и несчастья, перенёс меня в центральную часть города. В ушах ещё звучали тихие, невыразимо скорбные рыдания мой Люды, оставшейся лежать жалким комочком в опустевшем жилище. Я оставил Люде все свои вещи, взяв только одежду, и никогда больше не был в этом доме, никогда не попытался узнать, что было дальше с Людой, как сложилась судьба несчастной дочери Афродиты.

Долго, слишком долго отрава, проникшая во все уголки души, властвовала надо мной, и ни одна из встретившихся за десятки прошедших лет женщин не могла стать для меня чем-то большим.

Кроме одной...

Той зимой я принялся лечить своё горе испытанным способом русского человека — вином. Это и был «запойный год» моей молодости — в тот период жизни я не сделал ничего дельного, а потерял всё — Люду прежде всего, свою уверенность в себе, чаяние чудесного в каждой женщине. Остался без квартиры, без вещей и даже в конце концов и без своего «Харлея», потому что не смог

заплатить внезапно увеличенного налога, тратя все деньги на зелёного змия.

Не мог долго вспоминать без сильной боли одного вечера, когда я забрёл в «Европейскую», и в тумане отравленного вином мозга передо мной закачалось и ожило лицо Люды -похудевшее, с тёмными озёрами глаз, залитое слезами, стекавшими на шею и вдоль носа на сжатые в мучительную прощальную улыбку губы. Губы, которые так счастливо улыбались здесь, в этом зале, всего пять месяцев тому назад, в день нашей безумной «свадьбы».

Как в полусне я побрёл прочь, и, вероятно, меня спасло только то, что год назад мне пришлось сдать свой револьвер. Иногда мы ходим очень близко от края жизни...

Но постепенно молодость взяла своё, и весенний ветер как-то сдул пьяную одурь.

Я не смог ни забыть Люду, ни выбросить её из сердца ещё много лет. Но уже в первой новой экспедиции мать-природа облегчила мою тоску, а тяжёлый труд путешественника-исследователя помог мне обуздать тёмные силы тела, разбуженные и спущенные с цепи полгода назад.

Со времени встречи с Людой прошло 30 лет. В той напряжённой и полной впечатлений жизни,

которая выпала мне на долю, я давно уже залечил тяжёлую рану, нанесённую мне жизнью в начале пути. Я не помню своих страданий, но всё ещё в чёткой памяти может встать передо мной лицо Люды с отчаянной, какой-то нечеловеческой мукой в глазах и губах. И острая жалость к нам обоим, глупым, гордым и себялюбивым, кольнёт сердце. И сожаление, что так случилось, и желание, чтобы этого не повторилось более ни с кем другим.

Конечно, я был неправ, покинув Люду. Конечно, она была неправа, стараясь удержать меня доказательствами своей страсти, — как раз этого и нельзя было делать. Но я был прав, что ушёл, не позволив необыкновенной силе чувства сломать меня, и она была права, расставшись со мной, если я не смог справиться с самим собою.

За прошедшие годы жизнь многому научила меня. В изнурительной, опасной и подчас мучительной работе геолога в неизученных далях Сибири, во взлётах творческого вдохновения учёного и терпеливой, кропотливой подготовке к этим успехам моё самоуверенное, полное эгоизма и презрительной насмешливости, легковесного «богемного» отношения к жизни и людям Я — это моё эго было очищено от шелухи, закалено в

страданиях и отшлифовано. Теперь то, что было с Людой, не могло бы случиться, но я был наказан достаточно за свою человеческую неполноценность. Много лет безразличного отношения к своей судьбе, к женщинам, чьё очарование занимало и занимает так много места в моей душе, случайные встречи и расставания, какая-то серая пелена, наброшенная на чувства, — вот цена, которой я заплатил за попытку уподобиться бессмертным богам в страстной любви, поднимавшейся выше жизни и смерти.

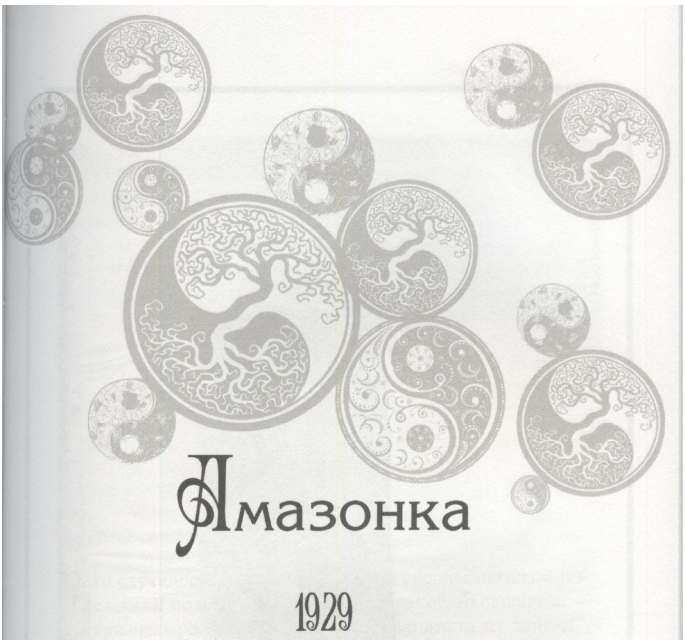
Из тридцати четырёх женщин, бывших моими подругами, лишь четыре были настоящими дочерьми бога Солнца, с солнечным огнём в крови. Но первая из них — Кунико — лишь один миг, в сравнении с длительностью моей жизни, могла быть со мной, вторая была Люда, третья — Мириам — полная противоположность Люде по облику, характеру, сложению, и всё же её подлинная сестра в необыкновенной женской силе, — тоже была со мной лишь «два мига» — всё дальнейшее было невозможно. И наконец, четвёртая, я не назову её, это очень близко и слишком сильно, — встретилась поздно, когда силы тела начинают покидать его и не может быть соответствия в том гигантском взлёте всех сил человека, которого

требует подлинная страсть с дочерьми Солнца.

И я думаю, что есть какая-то глубокая закономерность в этой неизбежной недостижимости союза с дочерьми Солнца, в том, что встреча мужчины и женщины, одинаковых по своей солнечной крови, неизбежно разрушается судьбой.

Я чувствую себя так же, как бессмертный герой Аттики Тезей, нашедший необычайную страсть с Ариадной — дочерью Крита, потерявший её очень скоро и, после ряда других подруг, вынужденный найти её сестру — Федру, женщину того же рода, тоже очень быстро погибшую позорно и ужасно от роковой страсти, взявшей единственного наследника Тезея.

Такова история Антония и Клеопатры, Праксителя и Фрины, Кармен и Хозе, Ашвини и Сурьяяны и ещё многих героинь и героев как древних преданий, так и вполне современных реальных историй. Может быть, я когда-нибудь, став мудрее, пойму ту странную закономерность, которая лежит в основе того, что боги не любят очень страстной любви и не дают смертным возвыситься в ней до своего олимпийского уровня.


Амазонка
1929



Врачиха-амазонка из Май-Тюбе

Это случилось давно, в одной моей среднеазиатской поездке. Я подрался в Джаркенте[53] с какой-то сволочью — три-четыре бандита или контрабандиста из дунган[54], и один проткнул мне колено вилами, когда я вскочил от них на забор, спасая фотоаппарат.

На следующий день я уехал дальше, переправился через Или[55] по Кетменской дороге и доехал лишь до посёлка Май-Тюбе — киргизской зимовки, где, к счастью, всего год или два назад была построена постоянная больница. Колено моё воспалилось, и я не слез, а смог лишь свалиться с лошади.

В больнице была очень молодая врачиха, старик-фельдшер, санитарка и сторож, он же конюх. Больше никого ни в зимовке, ни на сто вёрст кругом. Сто — это сильно сказал, но шестьдесят — наверняка!

На голом вытоптанном бугре стояла страшная жара, но в пустой больнице было сравнительно

---

[53] Примечания: 53

Джаркент — ныне Жаркент, город в Казахстане.

[54] Примечания: 54

Дунгане — народ, родственный уйгурам, ныне проживающий в Киргизии, Южном Казахстане и КНР.

[55] Примечания: 55

Или — самая крупная река Семиречья, впадает в озеро Балхаш. Протекает по территории Китая и Казахстана.

прохладно. Дыра в колене была прочищена — до сих пор помню эту чертовскую боль! — и я уложен в пустой палате. Мой конюх, он же переводчик, уехал дальше с повозкой и тремя лошадьми — где их тут было кормить, а мне был оставлен мой рыжий кашгарский иноходец со всем наличным запасом корма — тогда были такие специальные вязанки клевера.

Я в то время всё ещё тосковал по своей утраченной возлюбленной.

Двадцать два года, и вольный полынный ветер, и знойные лунные ночи...

В общем, когда она вечером пришла меня проведать и уселась на постель, мы заговорились, и я почувствовал, что под её врачебным халатом нет ничего, кроме гладкой загорелой кожи — вечер кончился так, как он должен был кончиться, точнее — продолжаться. И на следующий день, и ещё два дня, вернее, ночи.

Я быстро поправлялся и мог уже понемногу ходить. И на четвёртый день, ожидая её, я не спал, а она — не пришла.

Полная луна светила так, как светит она в южном Казахстане. Я услышал поскрипывание отворяемых и затворяемых ворот, потом конский топот. Выполз во двор и установил, что все спят,

мой Рыжик на месте, а её вороной конь отсутствует. Первая мысль, типичная для тех лет, — тайная измена мне, именно мне, а я, признаться не привык, чтобы мне изменяли — предпочитал это делать сам.

Во вторую ночь она снова не пришла (хотя была днём и вечером), и снова крадущийся и внезапный ночной стук копыт. Я приготовился ещё днём — оставил седло в конюшне, покрепче накормил иноходца, и едва она была за воротами, как я уже засёдлывал своего коня, а этот иноходец был призовой бегун.

Я прикрыл ворота, взгромоздился на иноходца (нога все ещё давала себя знать!) и огляделся.

Май-Тюбе (масляный бугор) в самом деле представлял собой высокий холм, северная сторона которого, обращённая к долине реки Или, спускалась в невытоптанную ковыльную степь, всхолмлённую очень плоскими грядами. Знаете, конечно, казахстанский ковыль — он низкий, стелющийся, замечательно тонкий и серебристый. В свете яркой луны вся эта степь была как едва заметно волнующееся море, и на нём я увидел вороного коня с моей врачихой.

Рыжик — кашгарский иноходец очень не любил, чтобы кто-то бежал впереди него, и без

понукания пустился во весь мах за вороным. Она оглянулась и бросила вперёд своего коня — началась чудесная скачка глухой ночью по серебряной степи, без единого живого существа кругом. Что-то дикое, упоение и ярость нарастали в душе — вероятно, в такой же раж приходили кочевые предки, бешено несясь в погоне или бою или конном соревновании.

Уйти от моего иноходца, хоть я и тяжеловат для всадника был даже в дни моей молодости, было под силу только такому же выдающемуся бегуну, а вороной был простым киргизским конём, быстрым, но не слишком. Я упорно настигал вороного и, приблизившись, увидел, что моя кратковременная возлюбленная совершенно нагая. Она была сложена хорошо, и я навсегда запомнил одно из самых прекрасных видений моей жизни — почти неправдоподобное, сказочное было в этой юной женщине, легко и гордо сидевшей на коне.

Чёрная при луне шерсть вороного, дико развевающаяся чёрная длинная грива, так же развевающаяся тёмно-русая грива её густых волос. Светлый загар тела казался при луне тёмным золотом. Стройные длинные ноги с круглыми коленями крепко сжимали бока лошади, крутые

гладкие бёдра матово отблескивали, именно отблескивали, точно металлом. Гневно нахмуренное лицо было повёрнуто ко мне, и в этот момент вороной стал взбегать на подъём. Она откинулась назад, высвободила свободную от поводьев левую руку и слегка упёрлась ею в круп вороного. От этого движения всё тело женщины приобрело тот прекрасный изгиб, который знают и умеют передавать в своих скульптурах только индусы, — спина описывает спиральный изворот, плечо становится почти над крестцом, а рука как бы продолжает вторую сторону угла от наклона бедра (у неё было казацкое седло с высокой посадкой). Я, наверное, не могу так сразу найти нужного описания для этой позы, хотя она и сейчас, тридцать лет спустя, совершенно чётко стоит перед глазами.

Небольшие круглые груди напряглись и приподняли вверх свои соски, тёмная западинка залегла между ними, и ещё темнее — на тонкой талии. Всего несколько мгновений... Затем она отвернулась, вороной перевалил через увал, и тут мой иноходец нагнал преследуемую.

Тяжело дыша от возбуждения скачки и гнева, она приказала мне оставить её. Я не послушал и, дав поводья, подъехал вплотную и протянул

руку, полный очарования от этой странной погони, красоты нежданной амазонки, ночи, буйной силы молодости. Она взмахнула камчой, я перехватил руку, предотвратив удар. Короткая борьба, и я сорвал её с седла, спрыгнул сам. Подняв в воздухе её гибкое тело, я сжал её в объятиях, достаточно крепких и для цирковой атлетки, стал покрывать поцелуями, нашёл её губы.

Тут же, на ковыле, у ног не отошедших от нас лошадей, она отдалась мне, и на меня накатила такая яростная страсть, что я не отпускал её, пока не погасла луна, не померкли звёзды и не начались розоватые сумерки рассвета.

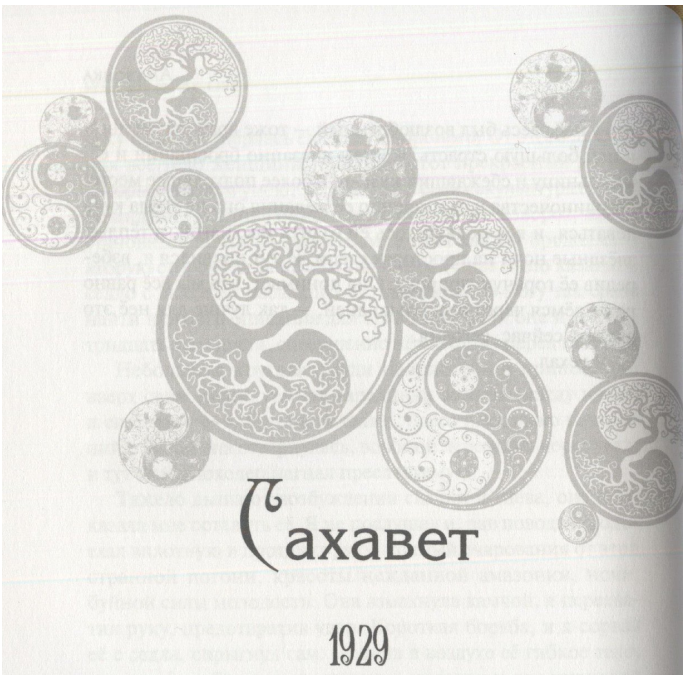
Вырвавшись наконец, она умолила меня не ехать за ней. Дикое волшебство ночи угасло, заря будто освободила нас от тёмных сил борьбы и погони. Одетая в мою рубашку, она поскакала к больнице, а я, полуобнажённый, тихонько поехал за ней, каждой мышцей переживая случившееся, поёживаясь от рассветного холодка и от боли в растревоженном колене.

На этом всё и кончилось.

Утром она осмотрела мою рану, не поднимая глаз, потребовала, чтобы я уехал. Всё же мы поговорили, и я узнал, что у неё здесь был возлюбленный — тоже врач, разжегший в ней большую

страсть, а затем внезапно бросивший и её, и больницу и сбежавший куда-то в более подходящее место. От одиночества и сжигавшего её желания она не знала куда деваться, и вот полюбилось ей ездить так, нагой, в тёплые звёздные ночи на просторах степи. И тут появился я, взбередив её горячую природу. Она понимает, что мы всё равно разойдёмся через несколько дней, — так лучше для неё это сделать сейчас, сегодня.

Я уехал.


Сахавет
1929

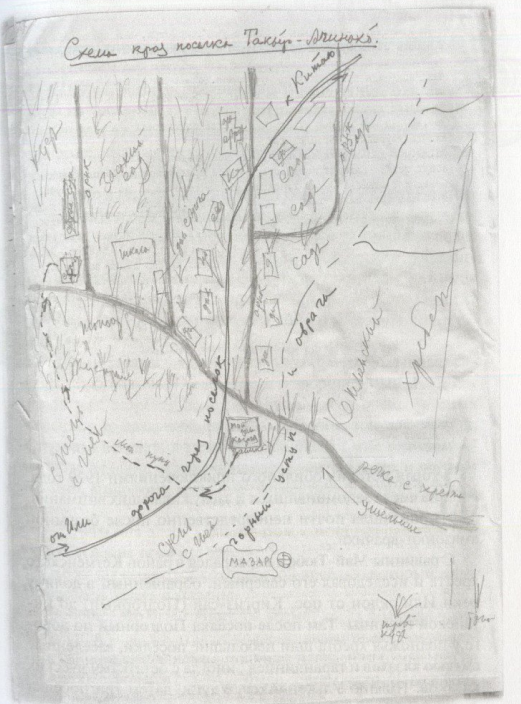


Схема края посёлка Такы́р-Ачинохо́

Слева сверху вниз: кусты; старый сарай; арык; засохший сад; сарай; школа; дом старика; тополя; степь с ...?; мой путь; от Или; дорога через посёлок; мой дом (казачья заимка); степь с ...?; горный уступ и овраги; мазар. Справа сверху вниз: к Китаю; дом; сады; сады; сады; сады; дом; арык; дом; дом; Кетменский хребет; речка с хребта; ущелье; трава, кусты; тополь

Вторая история обильного приключениями 1929 года, из числа запомнившихся и заслуживающих внимания, произошла почти непосредственно после безумной амазонки-врачихи.

С равнины Май-Тюбе я перебрался в район Кетменского хребта и исследовал его северный, обращённый в долину реки Или склон от пос. Киргиз-сай (Подгорный) до китайской границы. Там после посёлка Подгорный по дороге у подножья хребта шли небольшие посёлки, заселённые смесью казахов и таранчинцев[56], иногда с остатками русских казаков. Помню Улькен-Аксу, Удуты, затем три посёлка Ачинохо: Малый (самый большой, куда выходила кратчайшая дорога из Джаркента через пески Дубун), затем

Такыр-Ачинохо и Большой Ачинохо, уже совсем близко к пограничному пункту Кольджат.

Кажется, история произошла в Такыр-Ачинохо, в общем, в том из посёлков, где была шотан — начальная школа.

Когда я явился туда на своём кашгарском иноходце — чинсхане, вызывавшем восхищение и жителей, староста деревни отвёл мне квартиру в школе.

---

[56] Примечания: 56

Таранчинцы, таранчи — тюркский коренной народ Восточного Туркестана, ныне называемый уйгурами.

Только я расседлал и поставил под навес своего Рыжика и сел покурить в ожидании приезда своего конюха, проводника, переводчика и рабочего, он же дал мне напрокат коня — и всё в одном лице, а в общем, старого контрабандиста, который ехал не спеша с парным тарантасом, как прибежал запыхавшийся и взволнованный староста. Он стал говорить, что тут мне будет неудобно и мне нашли другую квартиру.

Мне показалась удобной школа с двумя большими сараями и фруктовым садом, хотя и заброшенным, но в котором уже созревал особый сорт круглых, очень вкусных персиков по названию, насколько помню, токулак шаптал. Староста не убедил меня и тогда сказал мне причину — в школу недавно приехала молодая учительница, и неудобно мне, молодому мужчине, поместиться с ней в одном доме.

— Чего она здесь делает летом, когда нет занятий? — спросил я и не получил ответа.

Не желая ссориться со старостой посёлка, который я выбрал своей базой, я уступил.

Вообще, это было занятное время, когда большая часть населения ушла в Китай от коллективизации, и в пограничных районах случались постоянные нападения (особенно на русских), а

людей в селеньях было совсем мало. Настроение с ожиданием ежеминутного нападения было острым, с подъёмом чувств, ибо, хотя я и был хорошо вооружён, выстрел в спину мог покончить со мной мгновенно. Много лет спустя я прочёл стихи Сергея Маркова, тоже служившего на границе в этих местах на год-два позднее меня.

Он сумел выразить всё в одной верной строчке: «Летели, клубясь, водопады, на скользкий тяньшаньский гранит, где пуля из тайной засады нежданною смертью грозит»[57]. Это настроение в какой-то мере обусловило мои романтические подвиги, в том числе и историю, которую я рассказываю сейчас.

К ней ещё надо иметь в виду, что я уже попутешествовал по Казахстану и немного овладел тюркским языком (зная его ещё с Ленкорани[58]), прибегая к переводчику лишь в особо сложных случаях расспросов об отложениях и горах.

Меня устроили в покинутой раскулаченным казаком заимке через дорогу от школы, ближе к

---

[57] Примечания: 57

Автор цитирует первую строфу стихотворения С.Н. Маркова «Рубеж» (1931).

[58] Примечания: 58

Имеется в виду экспедиция И.А. Ефремова в Ленкорань в 1925 году, по завершении которой он остался в Ленкорани и до осени служил капитаном лоцманского катера на Каспийском море.

горам. Приехал мой возчик.

Через день, возвращаясь с очередного объезда красноцветов, террасовидно прислонённых к оси Кетменского хребта, я увидел и помешавшую мне учительницу. Она была небольшого роста, очень смуглой, с прекрасными чёрными косами, одета в пёстрый шёлковый халат-платье до щиколоток. Лицо её, очень круглое, чуть-чуть плосковатое, как у киргизки или казашки, было облагорожено примесью таранчинской (кашгарской) крови, придавшей ему тонкое изящество и благородство монголоидных линий. Короче, она была очень хорошенькой и действительно помесью киргизки-матери и таранчинца-отца.

Спешившись, я вёл коня в поводу, раздумывая о сломанной оси моего тарантаса, задержавшей продвижение на восток, и решил послать возчика в Киргиз-сай, где была хорошая кузница, а самому остаться пока здесь для дальнейшего обследования района.

Тут я и увидел её, бросившую мне такой взгляд, что молодой романтик никак не мог остаться равнодушным.

Оглянувшись по сторонам, девушка бросила какой-то камешек к корням старого тополя, кивнув туда головой, и мгновенно скрылась. Я, также

избегая свидетелей, поднял завёрнутый в камень клочок бумаги, на котором правильно по-русски значилось приглашение мне ночью, если я имею земир (сердце-совесть), тайно, в сарай за садом школы. Только надо прийти глубокой ночью и чтобы никто не видел, иначе мы оба погибнем.

Что-то в этих неровных крупных буквах и наивных словах письма заставило меня поверить и не опасаться ловушки, да и зачем это было девушке. Если здесь орудовала какая-нибудь шайка, то убить меня было гораздо проще вне посёлка и не отвечать перед пограничными властями.

Словом, я доверился судьбе (тёлхдир, как она писала), говоря, что сама судьба привела меня в Такыр-Ачинохо.

Отправив возчика в Подгорный, я долго лежал без сна, прислушиваясь к крикам хукуша — туркестанского филина, гулко раскатывавшимся в горах.

Стояли очень жаркие дни — так называемый томуз, который бывает в июле, но всё же с ночных гор веяло относительной прохладой.

Наконец я встал, прицепил к поясу свой кавказский кинжал, сунул за пояс маузер и тихо вышел на мягкую пыльную дорогу, направившись к западу, в сторону, противоположную от школы.

К счастью, из-за ухода населения и собак почти совсем не было в селении.

Никем не замеченный, я обошёл посадки больших тополей, прошёл, согнувшись, через кустарник и вышел к ечику — головному арыку селения, вдоль которого, как обычно, росли тополя. Прокрался с бьющимся сердцем к постройкам около школы, подойдя к ней с севера.

Большой сарай стоял поодаль, второй, поменьше, низкий, ещё крепкий, с полуприкрытой дверью, стоял у самого арыка. Прислушавшись, я не услышал ничего, кроме журчания воды, и, движимый инстинктом, вошёл, нагнувшись, в полуприкрытую дверь.

В жаркой темноте было абсолютно тихо. В сарае пахло сухим клевером, какими-то фруктами, сквозь щели под крышей и через открытую дверь проникал лунный свет. Зашелестело сено, и небольшая тёмная фигурка метнулась ко мне. От неожиданности я чуть отстранился, но учительница -это была, конечно, она — обхватила меня за шею голыми горячими руками и прильнула тесно к моей груди. Первое, что я почувствовал, — это усиленное биение её сердца, как у испуганной птицы, а второе — прикосновение твёрдых девичьих грудей, острые соски которых, казалось,

пронизали её тонкое платье и мою рубашку.

Не разнимая рук, торопясь и задыхаясь, она начала объяснять мне на понятном русском языке, пересыпая в момент аффектации тюркскими (таранчинскими) словами.

Она — дочь таранчинца (уйгура) и киргизки, училась в Джаркенте. Когда началось бегство в Китай, её отец, не собиравшийся бежать, но славившийся как знаменитый проводник по горам, повёл караван беженцев и не вернулся, а потом пришло известие, что наши пограничники перестреляли всех, кто упорно шёл и не желал останавливаться.

Её мать, всегда считавшая, что нечего ей учиться и становиться учительницей, сговорилась со своим братом — тахша (дядя по матери), и тот обещал ей место в начальной школе Такыр Ачинохо.

Это был обман, потому что когда она приехала, то стало известно, что уже взяли другую учительницу, поехавшую домой на каникулы, а её предложили перевести в большую школу в Чунджу. Вот тут и началось. Тахша сказал, что приедет за ней, а на самом деле отдал её за хороший калым в невесты какому-то богатому и старому уйгуру. К счастью, старик поехал куда-то

по делам, и её сочли удобным оставить здесь под присмотром «сторожа» школы, наверное, отъявленного разбойника. И вообще её охраняют, никуда не пускают. Скоро, как окончится жара, приедет дядя и старик жених, сыграют свадьбу тут же, в Ачинохо, и она погибла. Погибла потому, что её будущему мужу семьдесят лет и он искал себе крепкую юную девушку, чтобы оживить свою старость, по распространённому среди мусульман поверью.

Так она и жила здесь под видом учительницы, ожидающей переезда в Чунджу, а на самом деле пленницей. И староста-аксакал, и ещё двое-трое влиятельных лиц в селении знали суть дела, но были подкуплены тахшей.

А тут появился я — бахадур, известный храбрец-атаклик, который не боится ездить один по горам, и я — красивый (чирайлик), и она... тут девушка совсем заторопилась, бормоча что-то непонятное, дыхание у неё прервалось, и она разразилась слезами.

Я обнял её, стал гладить по голове, осторожно поцеловал в разделённые пробором густые непокрытые волосы, и её запах — какой-то горной травы (забыл название) в смеси с запахом тимьяна, молока, может быть, полыни, показался мне

очень приятным и юным, как она сама.

Успокоившись, девушка сумела высказать мне своё необычное желание — ей всё равно зачахнуть в жёнах у старика, так она хочет, чтобы я взял её.

— Ты думаешь, я — альджимак (сошла с ума), посмотри, — она прижалась ко мне всем своим крепким телом, — разве я для старика? Я хочу узнать любовь, объятия молодого. Здесь каждому, кто захочет меня обнять, грозит чак (нож) или пуля, никто из мусульман. Только ты — русский джурет (смельчак). Будь моей судьбой, и я не стану тогда зайе (зря пропавшей)!

Её жаркое дыхание, отчаянный шёпот, льнувшее ко мне горячее тело и, главное, её надежда на мою отвагу и мужество подхватили меня, как на крыльях. Что другое я мог сделать?

— Да, да, моя дильвер (красавица), будь моя джанан (возлюбленная), но как зовут тебя?

— Сахавет (щедрость).

— Какое прекрасное имя! — воскликнул я.

— Нравится? — сказала Сахавет, поднимаясь на цыпочки и протягивая губы. — Я обещаю быть сахаветлик (щедрой) для тебя.

Ты думаешь,я -альджимак /сошла с ума/,посмотри,-она прижалась ко
мне всем своим крепким телом,-разве я для старика? Я хочу узнать лю-
бовь,опять молодого. Здесь каждому,кто захочет меня обнять грозит н
чак /нож/ или пуля,никто из мусульман.Только ты -русский джурет /сме
чак/.Будь моей судьбой и я не стану тогда зайе /зря пропавшей/!
Ее жаркое дыхание,отчаянный шопот,льнувшее ко мне горячее тело и,гла
ное,ее надежда на мою отвагу и мужество подхватили меня,как на крыл
ях.Что другой я мог сделать?
Да,да,моя дильвер /красавица/,будь моя джанан /возлюбленная/,но как
зовут тебя? -Сахавет /щедрость/.-Какое прекрасное имя!воскликнул я.
Нравится? сказала Сахавет,поднимаясь на цыпочки и протягивая губы,
я обещаю быть сахаветлик /щедрой/ для тебя.Поцелуй был долог и жадн
желание закружило мне голову. Я стал поднимать край ее платья,чтобы
снять его.-Ты хочешь меня ялан
/голой/ спросила Сахавет.-Да,д
снова сказал я,ища застежек,ко
рых не было на платье,одевавше
через голову.-Отвернись и ты т



общее представление о фигуре Сахавет /среднее между передней и самой задней девушками/



Вид Сахавет одетой не в
давал ее истинного слож
ния.

же сними хоть нож и тапанчу /револьвер/.
Я,действительно забыл о болтавшемся на по
ясе кинжале и засунутом за ремень маузере.
Я повернулся,закрыл дверь в сарай, и ми-
гом снял с себя рубашку и штаны -легкий
наряд жарких ночей.Обернувшись,я не сразу
увидел Сахавет -она лежала в углу на
узком и длинном одеяле,употреблявшемся местными жителями в качестве
тюфяка.Я опустился на колени перед ней,нежно поглаживая ее бурно д
шавшую грудь.Ее тело было очень темным,темно-бронзовым и поразило
на.В длинном платье,с высокой девической грудью и тонкими чертами
лица,она казалась хрупкой. На самом деле,узкий ее торс покоился на
удивительно широких,мощных бедрах,даже слишком массивных для нее и
такими же были ее крепкие,почти слишком толстые ноги,с маленькими
ступнями

Поцелуй был долог, и жадное желание закружило мне голову. Я стал поднимать край её платья (она не надела шаровар), чтобы снять его.

— Ты хочешь меня яланг (голой)? — спросила Сахавет.

— Да, да, — снова сказал я, ища застёжек, которых не было на платье, одевавшемся через голову.

— Отвернись, и ты тоже сними хоть нож и тапанчу (револьвер).

Я действительно забыл о болтавшемся на поясе кинжале и засунутом за ремень маузере.

Я повернулся, закрыл дверь в сарай и мигом снял с себя рубашку и штаны — лёгкий наряд жарких ночей. Обернувшись, я не сразу увидел Сахавет — она лежала в углу на узком и длинном одеяле, употреблявшемся местными жителями в качестве тюфяка. Я опустился на колени перед ней, нежно поглаживая её бурно дышавшую грудь. Её тело было очень тёмным, тёмно-бронзовым и поразило меня. В длинном платье, с высокой девической грудью и тонкими чертами лица, она казалась хрупкой. На самом деле узкий её торс покоился на удивительно широких мощных бёдрах, даже слишком массивных для неё, и такими же были её крепкие, почти слишком

толстые ноги с маленькими ступнями.

Странный контраст между точёным торсом, полным девической нежности, и — через перехват очень узкой талии — переход в круто раскрывшиеся, точно крылья, широкие, массивные бёдра, круглый зад и крепкие, почти толстые, но правильно изваянные ноги и поразил меня, и воспламенил гораздо больше, чем ожидаемая слабость невинного тела. Эта неведомая Сахавет была лишь наполовину нежной девушкой, а наполовину — готовой к самой неистовой страсти женщиной, обещавшей могучее и жаркое чувство.

Я поднял её на воздух и снова поцеловал, опустил на одеяло, лёг рядом, прижимая к себе одной рукой за талию, казалось, вот-вот переломящуюся под моей тягой, а другой лаская всё более напрягающиеся до деревянной твёрдости груди и их широкие, чёрные в лунном свете соски.

Моё колено медленно вдвигалось между её колен, с каждой лаской и приливом её желания слегка разжимавшимися.

Вдруг Сахавет перестала сопротивляться и раскрыла бёдра, одновременно отвернув лицо в сторону. Медленно, целуя плечи и груди, я касался концом напряжённого члена её чёрного

треугольника, пока её йони не стала горячей и влажной. Тогда я ввёл головку, раздвигая губы, и надавил глубже. Девушка вся напряглась, шепнув «больно», «аста» («потихоньку, осторожно»).

— Сахавет, всё равно будет больно, но очень недолго, помогай мне, — тихо сказал я, — всё быстро пройдёт, подними ноги, открой чатран, обними меня крепче.

Девушка глубоко вздохнула и внезапно, резко, как всё. что она делала, так крепко обняла меня своими сильными ногами, что, будь у меня слабее мышцы, у меня прервалось бы дыхание. Но я устремился весь навстречу её порыву и едва успел прикрыть ладонью её рот, чтобы заглушить крик, вырвавшийся от неожиданности и боли. Она попыталась освободиться, но тут уж я держал её крепко и был глубоко в ней.

Она замерла, и я стал неподвижен на несколько минут, чувствуя, как туго сдавливает меня её йони. Она шевельнула ногами, глубоко вздохнула полустоном и вдруг обвилась вокруг меня с прежней силой. Как бы удивляясь, что я уже глубоко в ней и острая боль миновала, она ослабила напряжение, и я стал медленно двигаться в ней вперёд-назад и до самого предела вглубь. Сахавет было замерла снова, но потом очень

помалу стала отвечать мне, и я чувствовал, как всё горячеет её сильная тугая йони. У меня, как обычно, было долго, и девушка дышала всё чаще, обвивая меня за шею руками и отвечая мне бёдрами и животом.

И необыкновенное сложение девушки, и опасность задуманного ею, и недавняя, резко оборванная страсть с врачихой-амазонкой, разбудившая все силы физической любви и не удовлетворённая, — всё это слилось вместе в необыкновенный нервный подъём.

По моему телу пробегала дрожь, такая же, какая сотрясала всё тело девушки, отчего её твёрдые кончики грудей то касались меня, то отстранялись, будто в зазывной любовной игре. Я ещё крепче прижал её к себе, положив руки на крутые выступы её бёдер ниже осиной талии, на пьедестал её силы.

— Бахадур, — шептала девушка, теснее прильнув ко мне, — а думала, такой молодой...

И она цеплялась тонкими пальцами за выступы мышц моей в самом деле сильно развитой мускулатуры.

— Я боюсь.

— Кого? Их?

— Нет, нет! Тебя!

— Поцелуй меня лучше!

Девушка поколебалась и словно в отчаянии вдруг прильнула ко мне, подняв раскрытые губы, закрыв глаза и тяжело дыша.

Она водила ртом из стороны в сторону, как бы усиливая поцелуй или, наоборот, уклоняясь от него, и всё крепче прижимая губы к моим, так что зубы встретились с зубами. Следуя этому слиянию губ, её тело влилось в моё, передавая волнение часто колышущихся грудей и трепетание мускулов её крепкого живота.

— Вот и всё, дильвер, — сказал я, едва окончился первый раз.

— И я могу итти? — наивно спросила девушка.

— Что ты, — рассмеялся я, — это только начало. Но не бойся, больше не будет больно, может быть, чуть-чуть, и то сначала.

— Было очень больно, — созналась она.

— Это потому, что ты такая крепкая, — объяснил я своё мнение, — у других — слабее.

Я заметил, как она старается незаметно ощупать бёдра и одеяло под собой.

— Если хочешь — пойди к арыку, — тихо шепнул я ей.

Она подождала немного, я нежно играл кончиками её грудей.

— Отвернись, закрой глаза, — вдруг потребовала Сахавет, — у меня дрожат колени, я слабая и неловкая.

Я повиновался, и девушка быстро скользнула за полуприкрытую дверь. Арык журчал рядом в одном шаге.

Постепенно ко мне вернулось сознание окружающей опасности, я сел на постели, прислушиваясь и держа наготове маузер, с пальцем на гашетке.

Сахавет вернулась очень скоро, по-прежнему нагая, чуть отблескивая влажной кожей в полумраке, вернее, в полоске лунного света за дверью. Увидев меня, она почему-то чуть слышно вскрикнула и закрыла лицо согнутой рукой.

Я встал, обнял её, снова задрожавшую, и посадил на одеяло, сказав:

— Теперь я.

Повесив на шею маузер и взяв в зубы кинжал, я вышел за дверь, может быть, преувеличивая опасность. Но в шорохе листвы под ночным слабым ветром и в журчаньи арыка скрадывались другие звуки, и соглядатай или враг мог подойти неслышно. Я постоял, чутко прислушиваясь, затем вошёл в самое глубокое место арыка, немного выше колен, осторожно нащупывая под ногами

катящуюся легко из-под ступней гальку. В головном арыке близ гор всегда довольно сильное течение. Омовение сделать было очень легко, лишь присев и борясь с течением.

Освежившись, я постоял, глядя на чёрные громады близких гор, проступавшие на небе, сквозь листву, чувствуя, как всё тело наливается озорной дикарской силой. Сплюшки кликали друг друга, редко ухал филин, а шакалов с их воплями здесь почему-то не было. Хотелось разбудить сонную ночь, закричав или выпалив из пистолета, но, конечно, совершить такой дикий поступок я не мог.

Когда я вернулся, Сахавет лежала ничком, уткнув лицо в окрещённые руки. Мне показалось, что она плачет, и я нагнулся к ней со словами утешения. Девушка перевернулась на спину и встретила меня белозубой улыбкой, ослепительной даже в полумраке. Она, оказывается, смеялась.

— Как всё это, — она не подобрала русских слов, — страшно, больно и... хорошо! Я, наверное... альджимак (сошла с ума)... о, мой милый...

Я поцеловал её крепко в ответ, и она без дрожи и размышления прижалась ко мне.

— У меня, — шепнула она, — вся чатрак была в

крови. Это так и надо?

Я молча кивнул головой.

— Теперь я — женщина, без мужа.

— Ты этого хотела? — спросил я, несколько недоумевая.

— О, да, да! Но надо привыкнуть.

— Привыкай в поцелуях, так скорее, — сказал я, привлекая её к себе, и начал бешено целовать.

Обняв мою шею, Сахавет ответила, пожалуй, с не меньшим жаром. Я удивился, откуда у этой девушки, почти девочки, только что ставшей женщиной, загорелась такая жаркая и глубокая страсть, какую я почувствовал в её ответе, и интуиция выражать её как опытной женщине.

Теперь, однако, я боялся зачатия, но принятая мной мера напугала девушку, когда, после прерванного мною экстаза, она почувствовала на своём животе влагу, принятую ею за кровь. Я объяснил ей, как мог, но в ответ вызвал лишь недоумение и негодование.

— Надо итти смелее навстречу... телхдир (судьбе), так поступают храбрецы, и я тоже — храбрая. Аллах сам рассудит, как надо, и без его повеления ничего не совершится, а если он захочет — ничем это не изменишь. Будь моим храбрецом! — и с этими словами Сахавет обвилась вокруг меня.

— Я — как чирмух (хмель), чирмынак (обовьюсь, обвяжу тебя).

И она закинула одну руку за голову, другой обняла меня. Её сильные ноги стиснули меня, как верхового коня, притягивая к себе.

— Яна, яна, джурет! (Ещё, опять, смелей!) — громко зашептала она.

И я ответил ей горячо, не ослабляя, а всё усиливая объятия. Страсть как будто лилась через край, переполняя меня всего и насыщая всё тело небывалой силой, словно я и в самом деле был легендарным бахадуром — богатырём этих предгорных степей.

Этот третий раз был особенно силён и крепок по объятиям, долог и даже почти свиреп. Умучившись, девушка долго лежала молча, глубоко вздыхая. Наконец сказала:

— Теперь я — чокан (молодая женщина, ещё не рожавшая)?

— Джанан чокан (прекрасная женщина), — ответил я.

Сахавет наградила меня поцелуем и долго гладила мои плечи и грудь, а я лежал и боролся с отчаянным желанием закурить. Это могло стать гибельным — дым в ночном воздухе разносится на километры, и для чутких ноздрей степных

жителей он всё равно что путеводная нить.

И снова начались поцелуи, и, хотя её йони распухла, Сахавет делалась всё более горячей.

— Я совсем бесстыдная, наверное, я буду лола (распутница), — простонала девушка, прикрывая лицо ладонью и извиваясь всё яростнее на моем члене.

— Почему ты думаешь так?

— Ялангач... — едва смогла промолвить она, удерживая рвущиеся стоны, — я ялангач (голая) перкиримак (верчусь, кручусь) под тобой и... не могу насытиться, не могу остановиться.

Улыбнувшись в темноте, я поцеловал её и услышал в ответ:

— Яна! Кувветлик! (Сильнее!)

Я мог отвечать ещё сильнее, совсем забыв всякую осторожность, какая была у меня два часа назад. Мы овладели друг другом, как сильные, юные животные, жеребец и кобылица в разгаре желания.

— Я сосчитала, — вдруг сказала она, — это уже пятый раз!

Мы лежали, снова отдыхая от очередного приступа страсти.

Вдруг Сахавет подняла голову и потянула ноздрями воздух.

— Танг атмак — рассветает, — сказала она, и в её голосе мелькнул страх.

Я тоже почувствовал, как воздух, тёплый от нагретой земли, стал холодеть — с гор спустился предрассветный холодок.

Девушка решительно встала, и я, конечно, не стал её удерживать. Она, уже не стесняясь меня, быстро накинула своё платье, я оделся тоже. Она подошла ко мне, долго не отрываясь, заглянула мне в глаза. Что она увидела в них во мраке — не знаю.

— Рехмет, кутказкуш! (Спасибо, избавитель!) — Сахавет крепко поцеловала меня и скользнула к выходу.

— Постой, — сказал я, ловя её за косу, — когда мы увидимся снова?

— Не знаю... индин (послезавтра)...

— Как я узнаю? — спросил я.

— Тебе виден двор школы, когда ты едешь на коне к своему дому с гор?

— Виден, да.

— Если на верёвке для белья увидишь пёстрый платок — тогда приходи сюда после полуночи. Танг, — она показала на чуть-чуть начавшее светлеть небо, — аста (тихо, осторожно), вида (всего тебе хорошего)!

Едва девушка исчезла в кустах, как я перешёл арык и двинулся под прикрытием старого сада и тополиных рядов к своему дому. Свежесть рассвета ощущалась всё сильнее, кое-где раздавалось фырканье ложащихся на землю лошадей. Взвешивая каждый шаг, я прокрался к дороге, пересёк её и подошёл к своему дому с другой стороны, так и не услышав ничего. К счастью, моего возчика и конюха ещё не было из Подгорного, и я открыл дверь в душноватую темноту своей комнаты и повалился одетым на постель.

Мне показалось, что я лежал долго без сна, а на самом деле, наверное, уснул мгновенно, потому что меня разбудил местный житель, привёзший по договорённости клевер для подкормки коней.

— Долго спишь, тау хаким (горный доктор)! — весело сказал он, показывая на солнце.

Действительно, было больше семи часов — время очень позднее. В посёлке уже привыкли к моим выездам около пяти утра.

Я давно собирался на вторую, главную цепь Кетменского хребта, туда, где манила меня круглая куполовидная вершина с ярко лиловым издалека цветом своих пород. Вторая цепь не была предметом моего исследования. Я изучал красноцветы раннетретичного возраста, прислонённые тер-

расовидно к изверженным и метаморфическим породам главной оси, но мне почему-то казалось, что у купольной вершины я найду разгадку: образовались ли красноцветы в прибрежной зоне эоценового моря или на эоценовых аллювиальных равнинах.

Я взял вместо своего казачье седло моего конюха Букина (он же переводчик, проводник и рабочий), отсутствовавшего третий день в Киргиз-сае. Казачье седло менее удобно, чем обычное военное, на котором я ездил всегда. Но со своими высокими луками — и передней, и задней, казачье седло было надёжнее при крутых спусках и подъёмах, которые мне предстояли.

Я заседлал Рыжика и перекинул через плечо свой «Маннлихер-Шенауэр» 9,5[59] — винтовку очень скромного вида, но страшной силы. Она стала знаменитой здесь, и возчик, доставивший сено, одобрительно погладил её гранёный ствол, прищёлкивая языком. «Маннлихер» мой получил известность, когда я на пиру у своего друга Джуруна Ниязова в посёлке Борохуцзир, у развалин старинной китайской крепости, соревновался в стрельбе с его приятелями. Те стреляли

[59] Примечания: 59

Mannlicher—Schonauer — винтовка производства Австро-Венгрии с патроном калибра 9,5 мм для охоты на крупную дичь.

из военных винтовок по высоко поставленному полену, и пули пронизывали его насквозь, не сбивая с постамента. При первом же выстреле «Маннлихера» толстый отрезок карагачевого бревна разлетелся в мелкое щепьё, взбрызнувшее высоким фонтаном.

Телескоп, длинные, грозные патроны с тяжёлыми мягконосыми пулями, удивительная настильность боя — всё это восхищало моих друзей, и про винтовку пошла молва, заставившая меня почти никогда не брать её в поездки — могли убить только из желания овладеть превосходным оружием.

Я проверил заряд, лёгкость скольжения воронёного затвора с сильно отогнутой вниз рукояткой, щёлкнул шнеллером. Всё было в порядке, и, закинув винтовку через плечо, я бодро поехал по пыльной улице, как обычно безлюдной, искоса наблюдая за домиком школы, скрывшемся в саду налево. Никого и ничего.

Может быть, небывалая ночь просто мне пригрезилась? О нет! Леность, разлитая по всему телу, и какое-то совсем особенное спокойствие — дары прошедшей ночи.

Я проехал около пятнадцати вёрст до места, где я хотел перевалить первую цепь и подъехать

к подножию огромной круглой горы лилового цвета. Спуск предстоял крутой и опасный, и я спрыгнул с седла, чтобы проверить все три подпруги. К великой моей досаде я увидел, что ремень главной подпруги надорван. Либо я не заметил это, когда седлал, торопясь из-за позднего вставания, или же он порвался только сейчас. Как бы то ни было, ехать на вторую цепь было нельзя.

Досадуя на себя до крайности, я поехал по гребню первой цепи. Через восемь вёрст начиналось плоскогорье, где на значительную высоту были подняты красноцветы. Достигнув плато, я пустил Рыжика, ослабив подпруги, и занялся образцами. Потом я ещё раз объехал плато, обставленное жёлтыми скалами, и, не найдя признаков нужных фаций, решил отдохнуть. Спешился, отпустил Рыжика и улёгся на жёсткой и редкой траве, вдыхая слабый запах нагретого солнцем чия, который шелестел вдоль подножия скал.

В широком просвете открывался дальний вид на лиловую вершину. Здесь первая цепь, на гребне которой я находился, выступала на юго-запад, сильно приближаясь ко второй осевой цепи. Не более километра отделяло меня от широкого уступа под лиловой горой, но это расстояние было

непреодолимым из-за крутизны склонов ущелья — сбросового разрыва вдоль твёрдого массива метаморфических пород второй цепи.

Я вынул свой бинокль — в этом году мне посчастливилось получить из остатков Памирско-Таджикской экспедиции Горбунова цейссовский «Биноктар». Он был сломан и оставлен немцами, но наш немец — оптик Тимм на Невском проспекте починил его. Ни раньше, ни потом я не держал в руках бинокля лучшего и по огромности поля, и по необычайной светосиле и яркости изображения. Достаточно сказать, что в сумерках в «Биноктар» было гораздо лучше видно, нежели простым глазом, а у меня в те времена было хорошее зрение!

Я долго рассматривал горные породы в бинокль, прослеживая тектонику, пока не заметил нескольких конных людей, медленно ехавших по тропе вдоль склона второй цепи. Не успел я присмотреться к ним, как недвусмысленное пение над головой и два-три тупых удара в песчаники слева дали понять, что в меня стреляют. Зачем? На восточном борту крутой пропасти я был недоступен. Может быть, блеск стёкол бинокля показал тем, что за ними наблюдают, и они решили для острастки пальнуть, показав,

что вооружены?

Раскаты выстрелов приплыли издалека в горячем полуденном воздухе. Я отступил за скалу, привёл иноходца под её защиту, чтобы ненароком шальная пуля не попала в лошадь, и взял свой «Маннлихер-Шенауэр», прислонённый к скале. Телескоп был уже заранее закреплён для горной стрельбы, и я заглянул в призрачный голубоватый круг оптического прицела, поворачивая кольцо фокуса. Два всадника обрисовались в круге, потом один — из туземцев, судя по одежде и седловке. Не спеша (я ведь не собирался убивать) я повернул на 60° верхний диск, опустив вертикальную иглу прицела, щёлкнул шнеллером и нацелился между двумя всадниками. Тяжёлая пуля 9,5 мм жужжит страшнее боевой винтовки, и раскат выстрела громоподобно прокатился по ущелью. В телескоп я увидел, как покатился с коня задний верховой, и тошнотное ощущение подкатило к горлу — неужели ошибся и убил?

И с огромным облегчением я увидел, как упавший всадник мгновенно вскочил, хватая лошадь под уздцы, и принялся бешено грозить мне, а его товарищи дали целый залп по моему «укрытию». Затем вся кавалькада на рысях пронеслась по опасному склону и исчезла за поворотом тропы,

без сомнения, одной из контрабандных троп, какими пользовались серебряные и опийные контрабандисты.

Я уселся спиной к скале, держа «Маннлихер» между коленями, и закурил ароматный алма-атинский табак того времени. Опасность была совершенно пустяковой, однако повернула мои мысли от геологии к Сахавет.

Вспоминая события прошлой ночи, я чувствовал, как меня снова охватывает жар и необычная тяга к девушке, не испытанная с времён Люды. Я было уж начал придумывать, как я увезу Сахавет и женюсь на ней, но всё же здравый смысл быстро прояснил затуманившуюся голову. Не говоря уже о том, что я сейчас вовсе не годился в какие-либо семейные люди, не имея ни хорошей квартиры, ни материального положения и отсутствуя более полугода, увоз девушки был бы слишком очевиден для всех местных жителей, что кончилось бы убийством и её, и меня. Я уж не говорю о том, что не располагал возможностями, материальными и моральными, для изменения маршрута. Я уже заехал так далеко — для 1929 года при конном сообщении эти места были в самом деле далёкими и не легко доступными — не в пример современным экскурсантам. Нет,

надо было искать какие-то другие возможности, чтобы выручить Сахавет.

Подтянув подпруги, я вскочил на иноходца и, опустив голову, медленно поехал в Такыр-Ачинохо. Проезжая мимо школы, я ещё раз пожалел о том, что свидание будет только завтра — ночь и ещё день ждать, но всё же с высоты седла глянул осторожно через низкий дувал. И сердце забилось тревожно и радостно — на верёвке среди сушившейся постирушки я увидел пёстрый условный знак! Великолепно! Тем более что сегодня мне не надо будет хитрить с Букиным - возчик должен вернуться только завтра.

Пока я разбирал образцы, писал дневник и чистил оружие, настали сумерки. Но ещё очень долго тянулось время, пока я лежал в темноте, прислушиваясь, поглядывая на часы и в окно на небо, и выжидал наступления глухой ночи.

Уже знакомым обходом я прошёл скорее, чем вчера. Для удобства я не взял кобуры, а повесил маузер на шею, подпоясавшись только кинжалом.

Девушка ждала меня не в сарае, а за густым кустом джиды, у карагача, на берегу старого арыка. Она, пригнувшись, скользнула ко мне и, резко выпрямившись, замерла в полушаге от меня.

Какое-то тёмное одеяние, не то халат, не то плащ, закутывало её до подбородка. Оба мы стояли друг против друга, прислушиваясь к молчанию ночи.

— Ты рад, что — сегодня? — спросила девушка.

-— Очень, моя дильвер!

— Я не могла ждать до завтра, а вчера казалось другое, -сказала Сахавет, — идём, сейчас взойдёт луна.

И, придерживая одной рукой свой халат, она протянула другую и, взяв меня за руку, увлекла мимо вчерашнего сарая в глубь старого сада. Там оказался ещё сарай для сушки урюка и табака, открытый с одной стороны на небо под сильно покатой крышей. Я оценил догадку Сахавет — она удалилась от арыка, шум которого мог замаскировать приближение врагов. Кроме того, этот сарай, видимо, давно был заброшен, как и эта часть сада, после «коллективизации».

Сахавет ввела меня в укрытие сарая, замерла будто в нерешительности, и в этот момент из-за далёких Заилийских гор поднялась луна. От её узкого ущербного верхнего рога разбежались длинные тени, и неверный свет проник через открытую сторону крыши. Вздохнув, Сахавет внезапно сбросила своё тёмное одеяние, под кото-

рым не было ни одной ниточки. Для вчерашней девицы предстать абсолютно нагой было очень смело, но разве не была отчаянно смела моя неожиданная возлюбленная? Она заплела свои чёрные косы на киргизский манер — две косы, за ушами, спускающиеся на спину ниже талии. Я был восхищён длиною кос, не подозревая, что через много лет судьба наградит меня девушкой с косами ещё большей длины, при той же густоте волос — у Мириам, до подколенок.

Я ещё раз взволновался необычным контрастом исполненной земной силы нижней половины тела и точёной верхней, необычной смуглотой кожи уйгуро-киргизки с почти полным отсутствием волос. Я протянул руки к Сахавет, но она отступила на шаг и опустилась на приготовленную ею заранее постель. Опершись на руки и склонив на сторону круглое лицо, она улыбнулась мне нежно и призывно. Её груди, невысокие, но широкие в основании, напряглись так туго, что не только соски, но и кончики самих грудей заострились, образуя островерхие конусы, очень похожие на низкие конические, широкие у подножия конусы, часто встречающиеся в киргизских мелкосопочных предгорьях и столь же часто называющиеся кыз-чонбек — девичьи

груди.

Эти острые, чуть приподнятые к ключицам формы почему-то очень привлекли и разожгли меня. Через минуту сильные ноги Сахавет уже стиснули меня в жарком объятии. На этот раз девушка, ничего не опасаясь, отдавалась с полным самозабвением, и новая опасность явилась для нас, так как она, забывая обо всём, вскрикивала и нежно стонала в такт моим сильным движениям. Я дал ей свою рубашку, которой она сама зажимала себе рот.

Сахавет обладала одним свойством. Её йони, вначале тугая, с каждым разом становилась не только влажнее и горячее, но и нежнее, как бы расплавляясь от страсти, и жадно вбирая в себя мой член всё глубже и глубже. Для этой глубины она изворачивалась ногами и бёдрами, раскрываясь и надвигаясь на него, несмотря на то, что каждое такое вбирание в себя исторгало у неё очередной вскрик. Раз, другой третий... короткий отдых, четвёртый, пятый, шестой... и всё жаднее расплавлялась йони, облекая меня горячей и нежной глубью.

Я встретил такую особенность только у моей самой первой возлюбленной, Царицы Ночи, и думал сначала, что это потому, что она была уже

несколько лет замужем и так у всех замужних женщин. Однако йони столь много испытанной в страсти Люды, как раз наоборот, с каждым разом становилась всё туже и под конец, после нескольких раз, распухшая, едва смогла принимать меня, протискивавшего свой линга с трудом в тугое, сжатое кольцо йони. И теперь у Сахавет, только вчера ставшей женщиной, была та же особенность, как у Царицы Ночи, — очевидно, прирождённая.

Мы боялись заснуть, и когда наконец угомонились, то лежали рядом, отдыхая и шепчась. Сахавет почему-то мало интересовалась моими делами в Ленинграде, но подробно расспрашивала о моём путешествии по Семиречью. Я рассказывал ей о Джунгарских горах, о раскалённой долине чёрных громадных костей динозавров на Кара-чеку, о поющих барханах на глинистых северных побережьях реки Или. о Джаркенте, о крепости Борохуцзир, о дальнейшем пути в Каркаринскую долину к озеру Иссык-Куль.

Предутренняя прохлада почувствовалась на наших обнажённых телах и напомнила о времени. Я хотел было ещё раз взять Сахавет, но она уклонилась, шепнув, что семь раз с неё достаточно. Я подумал, что при её особенности она

может не бояться и двадцати раз, но промолчал. Мы углубились в сад, чтобы подойти к её дому со стороны наиболее заброшенной его части, и здесь чуть не упали, споткнувшись о старую скамью, как-то запрятанную среди низких урючин. Халат Сахавет распахнулся, и снова её прекрасная нагота осветилась высоко поднявшейся луной.

Я, став ненасытным, привлёк её к себе, повторяя: джанан (возлюбленная), дильвер (красавица). Девушка после короткого сопротивления отдала мне свои губы, но... кругом были колючки, обильно покрывавшие землю между деревьями, давно не полотую. Я сел на скамью, посадил Сахавет на колени и продолжал целовать, сжимая всё крепче. Халат упал с плеч на землю, и девушка, всё более распаляясь, почти бессознательно закинула одну ногу за мой бок, подняла другую, а я в это время повернулся на скамье, сев на неё верхом. Сахавет оказалась верхом на мне и, спрятав лицо у меня на груди, несколькими ловкими движениями (природная возлюбленная, созданная для страсти!) найдя мой член, приняла его в глубь своей всё ещё горячей и влажной йони.

— Яна, яна! — простонала она, вертясь и двигая коленями на мне, — а-ах! ах! татлик (сладко)! — крепко обнимая меня за шею и забыв про всё,

как и я.

Сколько прошло так времени, пока мы снова не ощутили враждебный мир вокруг? Сахавет, прикрывая лицо, склонилась за своим халатом. Я нежно поцеловал её, она снова отвернулась, тихо сказав, что ей стыдно, она опять стала альджимак (сумасшедшей), потому что так перкиримак (крутиться и вертеться) может только бесстыдница.

Я уверил её, что от сильной любви все делаются «альджимак», и спросил:

— Как, опять индин (послезавтра)?

— Нет, нет, завтра, у того сарая!

— Вида (прощай)! — сказал я, целуя её, но она уже отталкивала меня, умоляя идти скорее.

— Придут душманлык (враги), надо убегать.

Действительно, было поздно, и я поспешил обходным кругом к своему дому.

Я пришёл в молчащий и пустой дом с иным настроением, чем вчера. Вместо озорной, наливающей до краёв силы на сердце легла неопределённая печаль. Смутная догадка, что это предчувствие назревающего кризиса, породила потребность серьёзно задуматься, что сделать с Сахавет. Теперь я уже не мог предоставить девушку её судьбе, несмотря на почти невозможную идею вмешательства.

Однако я был так утомлён и днём, и ночью, что не мог ни о чём думать, а заснул мёртвым сном. Рано утром меня едва добудился мой переводчик-возчик, вернувшийся из Киргиз-сая с заново отремонтированным тарантасом. Я уже успел привязаться к этому суровому человеку и за чаем откровенно поведал ему историю с Сахавет.

Он рассердился куда сильнее, чем я ожидал. Мало того, что, путешествуя по разным глухим местам со мной, он рискует, и вовсе не из-за платы, потому что какая от меня особая плата, а из возможности ещё раз проехать по всему Семиречью, мало того, что он соглашается давать мне лошадей и даже сопровождать там, где получить пулю ничего не стоит, теперь я затеял глупость, которая уж непременно окончится или пулей во лбу, или ножом под лопаткой.

Словом, я как хочу, а он завтра же уедет отсюда, со мной или без меня — всё равно!

Огорчённый и виноватый, я смиренно выслушал град упрёков, и вдруг, как это часто бывает в безвыходном положении, меня осенило. Теперь, когда повозка была в исправности, можно было отвезти коллекции горных пород на почту в какой-либо крупный посёлок, чтобы они не завалялись до зимы в маленьком почтовом отде-

лении, не располагавшем транспортом. Я решил отправить Ивана Михайловича в Джаркент так, чтобы по дороге он заехал в Борохудзир и там непременно вручил письмо Джуруну Ниязову — моему приятелю-контрабандисту, хотя бы его пришлось подождать дня два-три.

Это всё я изъяснил Букину, сказав, что тем самым он выручит и меня, и девушку и решит, развяжет узел.

В самом деле план был прост, а потому и должен был удаться. Всё зависело от того, находится ли Ниязов в «рейсе» или дома. Больше шансов, что в этот жаркий период, когда речки особенно бурны от таяния снегов, он должен был быть дома. Так и случилось, покровительством Афродиты!

В самом деле, если некто совсем чужой приедет ночью в посёлок и увезёт Сахавет в неизвестном направлении, то какие шансы будут у её охранителей доискаться? Кони Джуруна самые быстрые в округе, а я останусь здесь в доказательство, что я не имею никакого отношения к девушке и её похищению. Джурун доставит её в Джаркент или, если она захочет, отправит ещё дальше, в Алма-Ата, даже Ташкент, где есть власти, женотделы и все возможности начать жизнь достойной самостоятельной женщиной, а не покупной женой по

старым обычаям.

Огромный камень свалился у меня с души, я сразу поверил в успех предприятия, тем более что Букин одобрил его полностью и согласился немедленно ехать. Он стал собираться, а я — писать письмо и надписывать ящики и бланки, так что после дневной жары Букин уехал в ночь.

Букин поехал старой дорогой через Дубун, а не через Чунджу. Налегке имеющиеся там пески не представляли затруднений, а до Джаркента было всего около ста километров. Шесть дней в среднем было ещё у нас с Сахавет.

Я не поехал никуда в этот день, а завалился спать, оставшись снова вдвоём с Рыжиком, и проснулся на закате зверски голодный. Лепёшка из муки, какой больше не едят в СССР, горсть кишмиша и ломоть особой пёстрой и вяжущей дыни, называемой уйгурами шикетун, составили ужин, и я был готов к новым приключениям.

Покуривая, я зажёг лампу, почистил оружие и погасил свет задолго до полуночи. Лёжа в темноте, я думал о необходимости спешить. Только половина маршрута была пройдена, а уже поглотила больше половины всех моих ничтожных средств. Я явно не годился в искатели приключений моих любимых романов — у тех всегда откуда

ни возьмись появлялись деньги на путешествие.

Луна всходила с каждым днём всё позже, и я рассчитал, что к приезду Букина, вернее, Джурун наступят совершенно безлунные ночи.

Потянулся, встал, прицепил к поясу кинжал, ласково погладив две крупных бирюзины на его белой костяной рукоятке, повесил на шею маузер на боевом взводе и предохранителе. «Маннлихер» я всегда тщательно прятал, на случай если ворьё залезет в дом в моё отсутствие. Отнёс Рыжику вязанку клевера и немного овса, запер дверь как бы изнутри и крадучись пошёл в обход через западный край посёлка.

Без помех я пробрался в заброшенный сад, послушал ночь и тихо вошёл в жаркую тьму сарая. И тотчас же две гладкие, крепкие руки обвились вокруг моей шеи, и горячее тело девушки прижалось ко мне, изогнувшись, потому что она могла достать мои губы, лишь став на самые кончики пальцев. Платье умело как-то сразу соскальзывать с неё, и мне оставалось лишь последовать этому примеру, целуя губы и ярые твёрдые груди под единственным покровом густых и жёстких волос, расплётшихся из небрежно отброшенных кос.

Прошло немало времени, пока мы смогли спо-

койно улечься рядом и говорить, потому что Сахавет сегодня была очень требовательна и неистовствовала, извиваясь в моих объятиях, как бы предчувствуя, что очень недолговечна наша с ней встреча.

Когда утомлённая девушка лежала в счастливом полузабытьи, я сказал ей о своём плане. Сахавет молчала так долго, что мне показалось, будто она спит, но, заглянув к ней в лицо, я встретил тёмный блеск её глаз (луна уже вышла, и скоро время было разлучаться).

— О чём ты думаешь, джанан? — спросил я.

Сахавет помолчала ещё и наконец ответила:

— Должно быть, я слишком много захотела. Милость Аллаха дала мне главное моё желание — чтобы не отдавать свою юность чужому и немилому старику. Ты пришёл, настоящий бахадур, и сделал меня чокан, и я узнала всю великую сладость любви и стала альджимак, твоей байтал. И теперь ты хочешь меня спасти совсем, навсегда, что же может быть лучше неожиданной судьбы? А я думаю только о встрече с тобой завтра и потом и, наверное, прогневаю Аллаха такой неблагодарностью... Теперь я буду мунглук (печальна) надолго, и мунглук нахша (печальная песня) — моё единственное утешение...

— В самом деле мы можем прогневать судьбу, — сказал я, — смотри, и так она хранит нас — пока.

В самом деле, щит Афродиты надёжно укрывал нас до сих пор. Наверное, это было потому, что сейчас, в летнее время, после массового бегства народа в Китай, в посёлке было совсем мало людей, а ночью, когда шлялись всяческие разбойники, жители совсем не выходили на улицу из домов.

— На всякий случай, — сказал я, — постарайся следить за мной, когда я буду возвращаться из поездки мимо школы. Если винтовка будет висеть у меня не за плечами, а спереди, ремнём на шее, — это значит, что есть опасность, и я не приду к тебе.

Я как в воду смотрел. Рано утром, когда я насилу продирал глаза после бессонной ночи (я чувствовал, что, несмотря на всю мою крепость, дневная работа и ночная любовь порядком измотали меня из-за короткого сна и огромного нервного напряжения), ко мне явился староста в сопровождении пожилого крепкого таранчинца, которого я ещё не видел, с зоркими и неприятными глазами. Любезно осведомившись о здоровье, успехе работы, здоровье лошадей, староста спросил, куда уехал мой возчик. Узнав, что в Джаркент, поохал,

сказав, что упустил возможность отправить туда племянника.

— А ты дождёшься его? — спросил второй таранчинец.

— Конечно!

— А потом?

— Потом я съезжу ещё к Кольджату, в пограничный отряд, — небрежно солгал я, — и уеду дальше, на юг. А что, тебе надо отвезти что-нибудь?

— Нет, нет, — заторопился староста, — просто я хотел узнать, сколько ещё дней будешь занимать дом. Приезжают люди...

— Разве мало пустых домов? — спокойно спросил я, понимая, что каждое слово неспроста.

— Есть, но этот удобен, — сказал незнакомец.

— Если приедут дней через пять, то дом будет свободен, — сказал я и заметил, что староста облегчённо вздохнул, а таранчинец опустил глаза.

Я вышел проводить гостей во дворик и заметил, как старательно зыркал по сторонам незнакомец. Сегодня надо быть осторожней, решил я и, поев, стал засёдлывать иноходца.

Чтобы отвлечься от мыслей о Сахавет, я решил наконец съездить к лиловой горе. Я не открыл там интересных геологических явлений (лиловые сланцы были частью распространённой

метаморфической серии Кетменского хребта), но зато сделал открытие, которое когда-нибудь всплывёт в летописях АКОСПО[60] и борьбы с тайными опийными плантациями.

На юго-восток от лиловой горы, на небольшом уютном плоскогорье, я нашёл целое море голубых цветущих маков. Это были обычные дикие голубые тянь-шаньские маки, но росшие так плотно и правильно, что, несомненно, были посажены человеком. Я доехал до поля и установил, что маководы-контрабандисты вывели породу не красных, а голубых маков, очевидно, с достаточной опиеносностью, которые маскировались под дикие горные маки. Я поспешно собрал и спрятал в рюкзак охапку образцов и, соблюдая чрезвычайную осторожность, понёсся домой.

Много после, уже в Караколе (Пржевальске), моё сообщение о плантации голубых маков произвело сенсацию и позволило неожиданно получить ключ к злоупотреблениям в самой системе АКОСПО. А через двадцать один год это послужило на пользу, практически во спасение одной хорошей женщине, утеснённой тем же негодяем, что едва улизнул от кары за взяточни-

[60] Примечания: 60

АКОСПО — акционерное общество по сбору и переработке опия Наркомата внутренней торговли СССР. 1924—1929 гг.

чество и связь с тайными опийщиками. Но об этом когда-нибудь запишу[61].

Я медленно проехал мимо школы с винтовкой, повешенной на шею спереди, с грустью отказывая в свидании той. к которой тянулось всё во мне.

До возвращения Букина оставалось пять дней. Джурун должен был обогнать моего возчика, если он был на месте, на два дня, в запас ещё один — до времени, которое я назначил, — четыре дня до того, как мы расстанемся с Сахавет, очевидно, навсегда, но зато девушка будет в полной безопасности уже в Джаркенте. Но я просил Джуруна переправить её в Алма-Ата, а то и в Ташкент, если не в Пишпек[62].

До темноты я упаковывал образцы и записывал данные о второй цепи, а потом зажёг свечу и написал доклад для АКОСПО. Я засиделся и потушил свет около одиннадцати.

Луна всходила с каждым днём всё позже, и посёлок был погружён в тишину и мрак. Я лежал, думая о многом, и, несмотря на усталость, сон почему-то не шёл. Внезапно я услышал лёгкий

---

[61] Примечания: 61
См. рассказ «Последняя богиня».

[62] Примечания: 62
Пишпек — (здесь и далее) ныне город Бишкек, столица Киргизии.

удар в стекло маленького окошка, выходившего в противоположную от дороги сторону, к горам. Встревоженный, я вскочил, выхватывая из-под подушки маузер, и заглянул в мутное стекло.

Ничего и никого.

Только я собрался отойти от окна, раздался новый удар, и я понял, что это бросили камешек. Осторожно я отпер дверь, снял предохранитель с маузера и встал в чёрной тьме дверного проёма, зная, что я невидим для врага. Но это был не враг.

— Бахадур, — донёсся едва слышный шёпот от кустов, огораживавших край двора и поднимавшихся сплошной зарослью по пологому склону холма.

— Сахавет, альджимак! — шепнул я в ответ, и радуясь и негодуя на безумную отвагу девчонки.

Лёгкий прыжок — и через мгновение горячие руки девушки обняли меня, а её тело прижалось ко мне с необычайной силой. Я увлёк её в дом, крепко запер дверь и стал бранить. Сахавет, спрятав лицо у меня на груди, молчала.

— Кто-нибудь узнает, что тебя нет в школе, сразу же пойдут сюда!

— Пойдут, — согласилась девушка, — но они всё равно пойдут, если мы будем в сарае. И тогда

увидят — нет меня дома, и тебя нет тоже, всё они поймут.

— Ну, а придут сюда?

— Ничего... ты отзовёшься или откроешь, а я убегу в кусты и потом домой. Здесь есть ведь вторая дверь?

— Есть даже три, — начал успокаиваться я, — и тебе надо спрятаться за конюшней. Там есть лаз и кусты у самой стены.

Вместо ответа Сахавет сбросила своё халатообразное платье, оставшись обнажённой до пояса, — на ней были надеты шаровары на стягивающем шнурке.

Я понёс её в комнату, снимая по пути шаровары, но девушка воспротивилась.

— Нельзя, бахадур, — шепнула она, прикасаясь губами к моему уху, — если они придут...

Я понял и мгновенно сообразил, что сделать, — уроки с Царицей Ночи и Людой не прошли даром. Опустив шаровары до колен, я положил Сахавет ничком на постель, но это было слишком низко, чтобы она смогла перегнуться.

Тогда, распалившись неожиданным препятствием, я схватил запасное седло Букина, бросил на постель и положил Сахавет поперёк него. Это оказалось очень удобным, и девушка отдалась с

обычным уже для неё неистовством.

Так мы и продолжали, и она в самозабвении шептала и вскрикивала, что она — моя байтал (кобыла), а я её айгыр (жеребец), и что ей так очень нравится, только чтобы я крепче держал её груди.

С первыми признаками восхода луны — жаль, но это были самые поздние лунные ночи, и луна укорачивала нам сейчас время свидания... я повёл Сахавет обходным путём к её школе и постоял в углубляющихся лунных тенях, пока не убедился, что всё благополучно.

На следующий день я увидел во дворе школы тревожный сигнал — пёстрый платок отсутствовал, вместо него висела чёрная материя. Мы не уговаривались о втором сигнале, но я понял, что дело угрожающее, и, конечно, не посмел итти в старый сад. Однако я просидел полночи с оружием под рукой в тёмном своём доме на случай, если с Сахавет что-нибудь приключится, чтобы тогда, не взирая на последствия, притти ей на помощь. Рыцарская моя готовность осталась при мне, никакого геройства не понадобилось, и наутро я, проезжая мимо школы, мельком увидел Сахавет. Слава богу, её никуда ещё не отправили, и Джурун может успеть... ещё два дня, на третий!

И пёстрый платок снова висел на бельевой верёвке, и я снова очутился в саду. Помня соображения девушки, я накрепко запер дверь в своём доме, так что, если сильно будут стучать, я появлюсь от гор якобы с прогулки.

Прогулка, правда, была бы относительной, наступили ночи совсем безлунные, и приходилось итти очень осторожно при свете звёзд. Как хорошо, что дорога была мне уже знакома во всех подробностях!

И хорошо, что нам осталось всего три дня. В ожидании близкой разлуки Сахавет была столь требовательна и столь яростна, что мне, конечно, долго бы не выдержать ночных неистовств вместе с тяжёлой работой в дикую жару днём. Но пока что я выдерживал, и у нас едва хватало удлинившейся ночи, чтобы разойтись.

Утром, сонный и усталый, я едва продирал глаза, засёдлывал иноходца и только после проездки начинал мыслить геологически, отогнав видение Сахавет, идущей рядом. Но едва приходил в себя, поев и отдохнув после маршрута, как тяга молодого тела опять властно звала меня в счастливый сарай заброшенного сада, и я не мог себе представить, как я смогу разлучиться с девушкой.

И всё же её судьба была важнее всего, и этот

день настал.

Я заранее начертил Джуруну план западной части посёлка, где недалеко от моего дома и школы, ближе к горам, на холме над поворотом дороги из Киргиз-сая стоял большой мазар[63], древний и сильно разрушенный. Там я должен был ожидать Джуруна вместе с девушкой.

А Джурун должен был к вечеру прислать мне знак, что он здесь и будет действовать по нашему плану.

Знак прибыл: коротенькая записка «я здесь!» без подписи была мне вручена после возвращения из маршрута мрачного вида уйгуром, который сразу же, не вступая ни в какие разговоры, сел на своего коня и поехал на восток, к Кольджату и китайской границе.

От волнения я не смог ничего есть, кроме пары поздних персиков. Наступила ночь, и едва посёлок угомонился, я не стал ждать полуночи, а сразу же поспешил к Сахавет. Как было уговорено, она тоже пораньше вышла в сад с маленьким трогательным узелком, заключавшим всё её необходимое имущество. Она прижимала его к колотившемуся сердцу и послушно скользнула

---

[63] Примечания: 63
Мазар — мавзолей, могила мусульманского святого.

через колючую джиду вдоль рядков тополей около арыка. Мы не зашли ко мне домой — я не хотел теперь ничем рисковать, а сразу перебежали светлую от пыли и потому опасную дорогу к холму, на котором стоял мазар, и укрылись в его толстых стенах.

Время шло, сплюшки мелодично кричали в леске выше нас и в покинутых навсегда садах внизу. Постепенно Сахавет успокоилась. Действительно, вокруг была такая тьма и тишина, что трудно было бы ожидать появления врагов, тем более внезапного.

Сахавет придвигалась всё ближе и порывисто и внезапно, как она всегда поступала, скинула свой дорожный, более плотный, чем обычно, халат и расстелила его в укромном месте под стеной, во втором дворике мазара. Так же молча и не глядя на меня, что, впрочем, и трудно было в такой тьме, она сняла шаровары.

Слова осторожности и упрёка замерли у меня на губах. Ведь на самом деле, что мы могли ещё сказать друг другу на прощанье, чем то, с чего началось и чем кончилось всё наше знакомство, вернее, дружба на краю опасности. Ведь мы почти ничего более не успели, отдавая дань естественной тяге двух юных и сильных людей. Только

страсть связала нас на несколько коротких летних ночей, и неудивительно, что она горела жарче, чем было бы в других обстоятельствах.

Я снова погрузился в горячие и нежные недра Сахавет, одной рукой зажимая ей рот, а другой крепко сжимая её груди. А она, вся извиваясь, отчаянно сжимала меня ногами и порывалась вперёд, точно желая совсем до конца нанизаться на меня. Часы полетели незаметно, и я первый услышал внизу и слева тихий стук копыт идущей медленным шагом лошади. Я вскочил, поправляя одежду и взводя маузер, а Сахавет оделась с непостижимой быстротой.

С такой же ошеломляющей быстротой произошло всё остальное.

У подножья холма Джурун спешился и повёл коня под уздцы ко входу в мазар, держа наготове наган. Я тихонько окликнул его, и смелый джигит спрятал за пояс оружие и негромко засмеялся.

— Ты, Джан-таш? — прозвучало моё прозвище, им данное, потому что я всё время возился с камнями, — а где красавица? Я с тобой прощался, знал, что ещё увидимся, но не гадал, что такое случится. Судьба!

Я ввёл его в полуобвалившиеся ворота мазара и подтолкнул к Сахавет, смотревшей на него, как

окаменелая. Джурун вынул крохотный электрический фонарик (большая редкость в те времена, очевидно, из Китая) и одной вспышкой осветил девушку, а второй — себя. Слегка прищёлкнув языком, Джурун выразил умеренное, в традициях вежливости, восхищение, а лицо Сахавет на миг отразило успокоенность при виде яркой белозубой и открытой улыбки под узкими чёрными усиками на красивом лице молодого джигита.

— Поедешь с ним? — спросил я девушку и, положив руку на её плечо, ощутил её нервную дрожь.

— Поеду, — ответила она.

— Тогда — в путь, нечего терять времени. Второго коня я оставил в карагачевой роще, в пяти верстах отсюда. Ты...

— Сахавет, — подсказал я.

— Сахавет, умеешь ездить верхом?

— Конечно, — всё более ободряясь, сказала девушка.

— Слушай, Джурун, на первое время Сахавет понадобится... — я протянул ему небольшую пачку денег из моей бедной «казны».

— Обижаешь, друг, у Джуруна денег, знаешь, больше чем у тебя, хакимы все бедны, а те, кто с камнями, — особенно. Не тревожься! — он пожал мне руку, повернул коня и вскочил в седло.

Я хотел поцеловать Сахавет, но она отвернулась — при чужом не надо. Всё же, когда я поднимал её на круп лошади позади Джуруна, она коснулась моего лица пылающей щекой, и на секунду я почувствовал мимолётное, но крепкое прикосновение её губ к моим. В этот миг чувство утраты до боли защемило моё сердце.

Джурун тронул коня. Я шагнул вслед, прошептав:

— Сахавет, адрес мой у Джуруна, если я понадоблюсь.

— Хорошо... и благодарю тебя за всё, мой... бахадур... -шёпот девушки растаял в приглушённой поступи лошади, а силуэты всадников, на миг очерченные перед звёздным небом, растворились во мраке.

Вот и всё, — сказал я себе, чувствуя, как одновременно утрата и облегчение, печаль и радость захватывают меня.

И большая опустелость души, переполненной все эти дни тревогой, заботой, жадным желанием, расчётами времени и средств на дальнейший путь.

Долго стоял я, прислушиваясь, но молчание ночи сегодня было каким-то особенно плотным. Когда, по моим расчётам, Сахавет и Джурун долж-

ны были доехать до карагачевой рощи, я пошёл домой, соблюдая прежнюю осторожность, чтобы не навести на след, и только там позволил себе закурить, повалившись на постель.

Почти мгновенно я заснул и очнулся только от громкого стука в мою дверь. За ней стояли взволнованный староста-уйгур, привозивший клевер и траву для лошадей, и ещё какие-то люди.

- Слушай, инженер, — громко закричал староста, едва открыл дверь и уставился на них, щурясь от яркого света, — ты ничего ночью не слыхал?

— Ничего. Что случилось? Разбойники? — задал я контрвопросы. — Не слыхал, и стрельбы не было. Кого-нибудь убили?

— Не убили... — староста поколебался и выпалил, — девушка украли.

— Какой девушка? — я невольно сбился на ломаный язык. — Жених утащил?

— Никакой не жених, девушка, школьный учительниц, может, видел? Видел! Так пропал сегодня ночью!

— А я тут при чём? Я её не караулил! Зачем так рано разбудили!

— Мы только спросить... сидишь поздно, огонь горит, может, что слыхал?

— Как раз сегодня поздно не сидел, спал, ничего

не слыхал.

— Наша думал, что твой дом горам ближе, если из гор кто приходил.

— Может, и приходил, только я не слыхал.

Уйгуры поспешно удалились.

Я не торопясь оделся, поел, покурил и поехал в маршрут со смешанным чувством печали и радости, иногда даже озорной такой смешливости, думая, как молоденькая девчонка провела всех этих мудрых и сердитых аксакалов. И то, что я содействовал ей в этом, я запомнил себе в заслугу, не говоря о незабываемых ночах запретной любви на краю совместной гибели.

К вечеру явился Букин. Он знал уже о побеге Сахавет от остановивших его верховых, спрашивавших, не видел ли кто девушку и чужих людей. Он и в самом деле не видел. Конечно, Джурун поехал не дорогой, а тропой, какие знал здесь наизусть, и, судя по тому, что поиски не прекращались, мне было ясно, что Джуруна и Сахавет не настигли.

Букин, немного испуганный переполохом, о котором ему как хорошо знавшему язык было известно лучше, чем мне, торопил меня с отъездом. Однако я, хоть и моложе, оказался догадливее и настоял на том, чтобы побыть здесь ещё два дня,

не торопясь закончить работы, затем устроить день отдыха, а затем уехать. Так и поступили.

Семьдесят пять вёрст до Киргиз-сая (Подгорного) проехали лишь с коротким привалом — Букин считал безопаснее добраться до большого селения. Затем поехали на Кегень - ещё день пути, а оттуда ещё пятьдесят вёрст до Сарыджаса, под Хан-Тенгри[64]. Побывали на перевале Санта и вернулись назад в Каркаринскую долину, на ярмарку лошадей, где видели скачки в три тысячи лошадей, выигранные рыжим кашгарским иноходцем, которого продали по рублю за каждого обогнанного им коня. Затем через Тюп прибыли в Каракол, как тогда назвали Пржевальск, не желая вспоминать «царского генерала». В этих странствиях, продолжавшихся и дальше, по берегу Иссык-Куля, через Сиамское ущелье в Пишпек, как-то отошло, стало сном всё происшедшее в далёком Ачинохо.

А там и кончилась моя экспедиция, и я сразу же переехал в Оренбургскую степь для изучения Каргалинских медных рудников, вернулся только поздно осенью. Меня дожидалось письмо от Сахавет с нежными благодарностями и извеще-

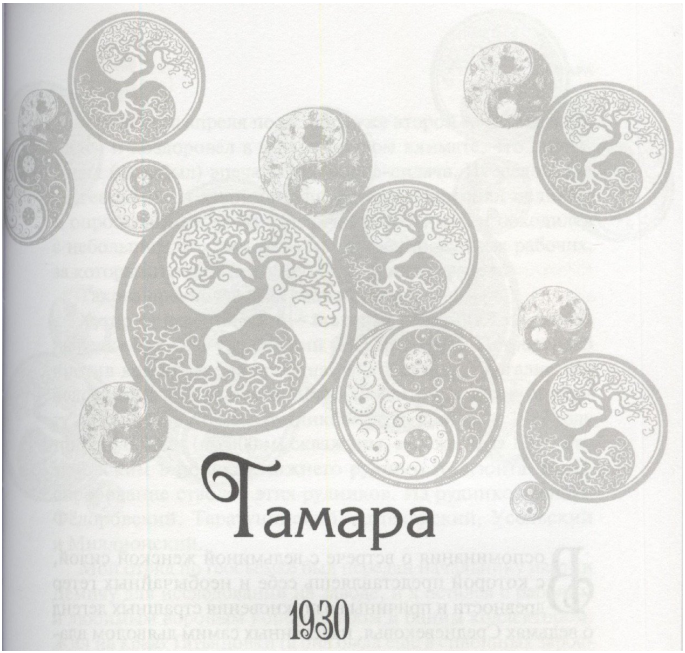
[64] Примечания: 64

Хан-Тенгри (тюрк. Повелитель неба) — пирамидальный пик на Тянь-Шане. Высота с учётом толщи ледника — 7010 м.

нием, что она в полной безопасности и судьба теперь совсем другая.

Смесь из русских, киргизских и уйгурских слов была очень трогательна, но в письме не было главного — адреса. Почтовый штемпель был — «Алма-Ата».

Так окончилась вторая история богатого приключениями 1929 года и мои экспедиции в Семиречье.



Воспоминания о встрече с ведьминой женской силой, с которой представляешь себе и необычайных гетер древности и причины возникновения страшных легенд о ведьмах Средневековья, наделённых самим дьяволом властью над мужчинами.

В 1930 году я работал прорабом в Каргалинской геологоразведочной партии (под руководством

Н.К. Разумовского[65]) и подолгу жил в разных местах района Горного (60 вёрст NW[66] от Оренбурга) на опробовании[67] разных групп отвалов со своим отрядом.

Я работал с апреля по октябрь уже второй год и так укрепился и поздоровел в этом здоровом климате, что производил (да и был) впечатление борца-силача. Исследование по геосъёмке я закончил ещё весной, переснял целиком п опробованные точки геологии поблизости и обходился с небольшим отрядом отменно натренированных рабочих, за которыми почти не нужно было присматривать.

Такова преамбула всей этой истории.

Хутор (а практически — большая деревня) Татьяновка на речке Янгиз — украинский (на карте Ново-Петровский) против коммуны Скворцы на

---

[65] Примечания: 65

Разумовский Николай Константинович (1893—1967) советский геолог, исследователь геологии Урала.

[66] Примечания: 66

NW — северо-запад.

[67] Примечания: 67

Опробование — одна из главных операций геологоразведочных работ, главная задача его — изучение качества полезного ископаемого. Медистым песчаникам Оренбургской области будет посвящена монография И. А. Ефремова «Фауна наземных позвоночных в пермских медистых песчаниках Западного Приуралья». Издательство Академии Наук СССР, 1954.

реке Верхней Каргалке. На водоразделе между этими двумя реками, на высоком сырту[68], множество отвалов рудников. Здесь прошли в 1929 году три «глубокие» (по 300 м) скважины, заложенные Н. К. Разумовским в поисках нижнего рудного горизонта. Я вёл опробование стволов этих рудников. Из рудников только Фёдоровский, Таратунинский, Аптекарский, Усольский и Миллионский.

Мой отряд по геосъёмке был передан начальнику партии Демичу для исследований на заводе, и я остался с рабочим и любимым вороным конём Арабом и одним коллектором. Жил на краю Татьяновки (а она была ещё в сплошных зарослях садочков) в очень гостеприимной семье (средних лет оба, сын был в армии), полу-украинской, полу-казачьей (оренбургских казаков, конечно). Хозяин худощавый и лысоватый, хозяйка — крепкая, широкая статная баба, чернобровая по украинскому канону, с острыми и дерзкими глазами. Хозяин с одобрительной завистью смотрел на меня, когда я возвращался с купанья в речке в одних трусах, задами — огороды выходили прямо

[68] Примечания: 68

Сырт (тюрк, «возвышение, холм») — в Заволжье и Южном Предуралье вытянутая плоская широкая увалистая возвышенность, пологий водораздел.

на речку, и щупал мускулы, лукаво подмигивая.

Это было самое начало страшных лет деревни, и «коллективизация» ещё только начиналась, пока выразившись только в ликвидации богатеев, но беспощадная рука завистливых комбедов[69] уже брала за горло просто хороших хозяев-середняков. Медленно, но мучительно туго соображая беду и обдумывая, куда деваться, деревня как бы притаилась, забросив множество дел, и даже самые труженики были как бы парализованы и делали только самое необходимое, выжидая. Поэтому, например, все они с охотой шли к нам в Каргалинскую геолого-разведочную партию.

И в этот год в июле стояла сильная жара, обычная, впрочем, для оренбургских степей. Я привык к ней постепенно за два года и закалился. Знойный ветер и беспощадное солнце стали мне нипочём, зато какое наслаждение приносили сухие и прохладные степные ночи со слабым ветром, шелестящим по серебряному от луны ковылю или особенно резко пахнущей в безлунные тёплые ночи полынью.

Я работал почти с регулярностью городской службы, только после объезда опробовательских

---

[69] Примечания: 69
Комбед — комитет бедноты.

отрядов я купался, ел, брал молоток и уходил дотемна на обнажения ближайших оврагов, оставив коллектора за сортировкой проб и образцов.

Так прошло дней десять-двенадцать. Я привык к хозяевам, и они привыкли ко мне. Я жил не в доме, а в небольшой сараюшке, стоявшей около трёх невысоких ив на задней стороне двора у спуска к Янгизу.

Помню один из вечеров, когда я, наколотив молотом груду песчаника на обнажении, усталый пришёл домой, искупался в Янгизе и с приятным чувством во всех мышцах сел ужинать вместе с хозяевами в их просторной саманной избе.

— А я вас видела сегодня, — сказала хозяйка, придвигая мне крынку с холодным молоком, — за оврагом, где каменный отвал... ну и крушили же вы камни кувалдой!

— Люблю поработать покрепче, — отозвался я. — В одних ногах правды нет.

— Сила по жилам ходит, доброму коню впору, — сказал хозяин, отодвинул чашку и откинулся назад, доставая коробку с табаком. — А скажи на милость, если бы на тебя четверо напали, управился бы?

— Какие четверо, а то и с одним не справишься, — улыбнулся я, прихлёбывая молоко.

— Ну уж, конечно, не таких же бугаёв, — рассмеялся хозяин.

Доставая свою коробку с махоркой, я поймал сосредоточенный взгляд хозяйки, которая, уйдя в себя, будто бы обдумывала что-то. Она перекинулась взглядом с хозяином, и тот слегка подмигнул ей. Поблагодарив за еду, я направился в свой сарай, снял сапоги и растянулся на топчане, глядя через маленькое волоковое окно на редкие ещё над горизонтом звёзды. В деревне затихали зовы и лай собак, но молодёжь выходила на улицу (немного её было тогда) с какими-то песнями и криками.

Я закурил снова, на этот раз папиросу, и стал думать о том, что здесь мне скучно на отлёте от всей партии (центр был в Горном), но вряд ли скоро удастся закончить здесь и вернуться туда, где все мои товарищи и более интересные для меня места.

Моё внимание привлёк негромкий разговор хозяина и хозяйки, очевидно, вышедших перед сном посидеть на ветерке около хаты. Я запомнил несколько фраз, значение которых мне стало ясно лишь несколько дней спустя.

— Ты когда поедешь в город? (т. е. Оренбург) — спросила хозяйка. — Мабуть, собирался завтра?

— Завтра и поеду! — подтвердил хозяин, — с Хведькой попутно.

— Тогда как завернёшься, Томку привези, я ж тебе давно говорила, с тех самых пор, как бычок этот у нас завёлся. Он подходящий, дак нехай напоследок полюбится. Что там ещё будет и для Томки, да и для нас...

Стало слышно, как чиркнула спичка и слегка мелькнул отблеск огня.

— Хорошего не жди, — угрюмо ответил после паузы хозяин, — пусть хоть сейчас Томка отыграется. Она ведь шальная по этой части, вроде тебя. Недаром сёстры... Так как ещё выйдет у неё?

— Выйдет, — уверенно отвечала хозяйка, — не может быть, чтобы какой парень, здоровый и молодой, не схотел бы. Ты говоришь, что он со мной схочет — куда мне до него, да и годы не те. Ей ведь только-только двадцать два минуло, хоть и замужем уже три года, да дитёнка, вишь, не схотела, как чувствовала.

— Да и ты не много расщедрилась, — хохотнул хозяин, -как это у вас да при такой-то охоте получается? Слово, мабуть, знаете?

— Знаем! — подтвердила хозяйка.

— То-то ж говорят, что сёстры... (я не разобрал фамилии) ведьмы, да и ваша матка тоже, — хмык-

нул хозяин.

За этим раздался глухой шлепок, и разговор окончился -видимо, хозяева ушли в хату.

Ночь была душноватой, будто перед грозой, но я скоро уснул и проснулся действительно под шум ливня. Гроза была на редкость сильной, и мокрая снасть исключала наши работы, поэтому до полудня я пробыл дома и работал затемно, явившись домой к ночи и найдя ужин на столе в своём сараюшке.

Я проспал дольше обычного и сразу уехал на Миллионский рудник с его громадными отвалами, куда сошлись мои все три опробовательских отряда.

Солнце палило нещадно, и горячие вихри временами пробегали по степи, поднимая коричневую пыль и заставляя нас бросаться на наши пробы с брезентом, закрывая их. чтобы предотвратить попадание крошки.

Я помогал шурфовать высокий отвал, в глубине которого оказались большие глыбы жёлтого медистого песчаника — бедной руды. Спеша закончить, мы без обеда яростно дробили камень, «грохотали» и делили, пока не добились получения фракций достаточно небольшого веса, которые уже можно было увезти в хату — лабора-

торию на краю деревни, и там, под присмотром коллектора, довести их до лабораторных, килограммовых проб тонко распылённого каменного порошка.

Пот лил с нас градом, но дружной работой мы кончили три самых больших отвала с бедной рудой: один с жёлтым песчаником, другой с серым и третий мергелисто-кимберлитовый. Скоро Араб повёз пробы в доводку, а мы дружной гурьбой взгромоздились на фургон, нанятый в колхозе, и загромыхали во весь опор с высокого сырта вниз, в деревню.

Я забежал домой, схватил полотенце и сбежал к Янгизу. Там у меня было укромное местечко — маленький, в несколько метров, но очень глубокий омут с холодной от источников водой и доской для переодевания, чтобы не пачкать ног на глинистом берегу. Высокий тальник, одна низкая плакучая ива и сочная осока окружали это крохотное озерко чистой проточной воды, блестевшее под солнцем чёрным непроницаемым зеркалом. Я сбросил свою нехитрую одежду (брюки и сетку), снял и прополоскал трусы, сделал несколько гимнастических движений и нырнул в глубину.

Чудесное ощущение тишины, уединения и про-

хладной чистоты — вот таким было это степное купанье. Утомлённое тело вновь стало тугим, налившись силой, вновь независимым и гордым в отношении всего мира.

Я вторично размялся гимнастикой, нагой, как Адам, снял с ветки подсохшие на ветру трусы, свернул цигарку и посидел на мною же самим сколоченных мостках, следя за игрой двух стрекоз и поблёскиванием волновой ряби на речной струе, обтекавшей запруду, для которой я же сам привёз три подводы песчаника с отвалов.

Мне сегодня почему-то казалось, как будто на меня смотрят чужие глаза, и я даже два раза свистнул, чтобы спугнуть затаившуюся собачонку или показать озорным девчонкам, что я вижу их, и этим спугнуть. Ниже по течению была ещё одна яма в речке, тоже с мостками, и там нередко полоскали бельё, а то и купались татьяновские девчонки из нашего, северного, или верхнего, конца деревни.

Но никто не откликнулся мне ни поспешным бегством, ни сдавленным хихиканьем, и я, одевшись и перекинув через плечо полотенце, лениво начал подниматься по тропинке к дому. Вдоль речки по низу шла долевая тропка, и в месте пересечения с нею наша огородная тропка делала

крутой из-гиб, огибая край соседского огорода. Здесь росли огромные подсолнухи, уже отвердевшие и клонившие вниз круглые чуть не в полметра, диски, опоясанные золотым пламенем

Я услышал лёгкие, быстрые шаги справа, снизу на речке и обернулся. Весь склон долины Ягниза был залит ярким светом низкого солнца. Среди двухметровых подсолнечников с их огненными коронами шла девушка.

При виде меня она остановилась как вкопанная, встретив мой удивлённый и пристальный взгляд. Я не видел её раньше, но сразу понял, что мне не забыть этой встречи и что мне встретилось существо необыкновенное. Её смуглое лицо с классическими украинскими густыми чёрными бровями, прямым носом, чёрными и блестящими, точно вишни, глазами и полным, довольно круглым ртом казалось ещё более тёмным от жаркого румянца. Крупно вьющиеся пряди смоляных волос обрамляли широкий лоб, выбиваясь из-под туго замотанного вокруг головы тонкого шёлкового шарфа. Его оранжевый цвет удивительно оттенял дикую смуглоту и живость смелого, почти вызывающего лица. Старое коричневое платье из не по-летнему плотного материала облегало фигуру с такой же вызываю-

щей женственностью, какая отражалась на лице незнакомки. Сильная загорелая шея была открыта, и неглубокий вырез платья приоткрывал ложбинки между крепких грудей, которые натягивали упругую ткань, так что тугие соски чётко обозначились под ней. Тонкая талия очень резко сужалась под руками женщины (это, конечно, была не девушка!), словно в тревоге обхватившими её, опиралась на крутые выгибы широких бёдер. Юбка немного ниже колен открывала сильные, дотемна загорелые ноги.

Описание это приложимо к сотням других женщин и даёт лишь внешнее. Главное же было в странной, дерзкой силе (не физической, хотя физическая крепость и была очевидна), переполнявшей всё существо женщины. Может быть, от очень прямой осанки, отчего грудь, в общем-то не очень большая, выступала резко. Может быть, в тонкой, легко гнущейся талии и в то же время гордой прямой спине, спадавшей к круглому мощному заду? Может быть, прямой и твёрдый взгляд непроницаемых глаз с синими, как у породистой лошади, белками, тонкой улыбке, приоткрывшей крупные зубы и контрастной по общему облику животного здоровья?



Ута Зевика, ФРГ. Вот это фото минус современный облик даёт впечатление о лице Тамары.

Мария Грация Бучелла и Бритта Экланд. Вот эта итальянка по контрасту с правой (шведкой) похожа на Тамару по вызывающей силе тела

Тридцать лет спустя я взял образ этой женщины за прототип образа Чары Нанди в «Туманности Андромеды».

И дерзость эта была не просто дерзостью, а сексуальной, может быть, просто неколебимой уверенностью в своей сексуальной силе, и без глупой самоуверенности, так портящей многих красивых женщин, привыкших к успеху.

Женщина, серьёзно осмотрев меня, вдруг улыбнулась и стала сразу очень юной.

— Ну, здравствуйте, — сказала она, протягивая руку по-деревенски.

Я взял её осторожно, но, очевидно, моё «здравствуйте» прозвучало неуверенно, потому что незнакомка добавила:

— Я Тамара, сестра вашей хозяйки, Колесниченковы мы.

Я понял, и нечаянно услышанный разговор стал мне понятен, и сердце участило свои удары.

— А как вы меня узнали? — сказал я, чтобы скрыть волнение.

— Не так уж трудно! — внезапно и звонко засмеялась Тамара.

Мы пошли по узкой тропинке, и она пропустила меня вперёд, а дома состоялось уже «официальное» знакомство -в те годы и в деревне

были щепетильны в отношениях мужчины и женщины.

После обеда мы сидели во дворе у моего сараюшки и долго разговаривали. Я всё больше поддавался «магнетической» силе, исходившей от молодой женщины, и слушал её особенно внимательно. Повесть была горькая, но очевидно и Тамара прониклась ко мне доверием (это было время, когда люди были куда проще и доверчивее, чем сейчас), так как рассказывала вполне откровенно.

Как и моя хозяйка, Тамара была из смешанного рода уральских казаков и украинцев — крепких хозяев из Ново-Сергиевки, а замуж вышла в 1927 году за сына богатого крестьянина-казака, которого немедленно записали в кулаки, только вот осенью. Но старик был умён. Он продал большую часть имущества ещё в 1928 году, сам остался жить в маленьком доме, а сына отправил вместе с двумя другими, ещё неженатыми, искать счастья в Среднюю Азию. Тамара (редкое имя для украинки или казачки) уехала в Оренбург и жила у родственников мужа, ожидая писем и вызова. Но не было писем уже более полугода, и смутные слухи были, что братья ушли за границу. Тамара хотела ждать ещё до осени, а потом ехать самой

в Киргизию, чтобы наконец дознаться правды и решить, как быть дальше.

На таком перепутье я и встретил эту молодую женщину.

Я недавно побывал в Киргизии, и у меня были там знакомые даже среди контрабандистов, поэтому я мог помочь Тамаре, да заодно, как она ни отказывалась, я настоял на согласии, что я помогу и деньгами для дорогого в те времена билета.

Так мы проговорили до позднего вечера, потом пошли купаться на речку, потом... или это было лишь на следующий вечер? Тридцать шесть лет тому назад...

Я помню неяркую раннюю луну, тихий погожий тёплый, как обычно, вечер с лёгкими, чуть набегавшими порывами ветерка.

Мы с Тамарой поднялись на сырт за речкой. Она шла какой-то своей особенной походкой — не широко по-деревенски, но и не мелко шагая по-городскому. Я не помню, что было у неё на ногах — тапочки, босоножки или просто она шла босиком, но не пришлёпывая, как обычно ходят в деревне. Тамара шла легко и быстро, как-то слегка вертясь на ходу и сливаясь с сумерками под склоном сырта. Не помню, о чём мы говорили, лишь смысл тревоги и невесёлого ожидания

своей судьбы остался от Тамариных слов. Но это вовсе не было мрачным или печальным, нет, чувство приподнятой напряжённости, дерзкого накала существа, полного силы и желания, — вот что исходило от Тамары.

Мы поднялись на сырт. Абсолютно пустая степь, ни животного, ни человека, ни звука, кроме шороха ветра. Резким тёмным силуэтом против низкой луны очертилась прекрасная фигура Тамары. Я взял её за руку, и она вдруг резко и сильно сжала мою.

— Сядем, — предложил я, и мы полу-уселись, полу-разлеглись на траве, сухой и ломкой, несмотря на недавний дождь и тёплую, точно на печке, землю.

Тамара перевернулась на живот и, подперев голову руками, неотрывно смотрела мне в лицо, а я пытался угадать её мысли в глубоких тенях её лица, едва освещённого умирающим светом садящейся луны.

— Что же ты мне скажешь, суженый мой? — нежно, дерзко и насмешливо прозвучал тихий вопрос Тамары.

— Суженый? — спросил я. — Почему ты думаешь? -а сердце забилось бешено, и крупная дрожь пробежала по всему моему телу, как у выходяще-

го из воды коня.

— А как же иначе? — спокойно сказала Тамара, стараясь скрыть своё участившееся дыхание, — я зачем приехала сюда? Мне сестра написала о тебе.

— Но как же ты заочно?

— А почему заочно. Сестра моя знает толк в людях и в... мужиках.

Почему-то меня неприятно резанула последняя фраза -каким-то деловым оттенком, нестерпимым для меня всегда, а тогдашнего романтического юнца и подавно.

— А может, ошибается твоя сестра? Может, я вовсе не такой, каким вы меня посчитали? — с усмешкой спросил я, приподнимаясь и заглядывая ей в лицо.



Вот тип её фигуры

- Не ошибается. Я посмотрела сама... — впервые в её голосе мелькнуло смущение, — когда ты купался на речке один... когда встретились.

— Что ж, то-то я и подумал, что кто-то смотрит. Однако, ты как коня выбирала! — ещё более возмущённо сказал Тамара ответила совершенно спокойно:

— А как ты понимаешь, что для бабы мужик меньше, чем для хозяина конь? Ты сам-то как меня оглядывал — сверху донизу... али не понравилась я тебе? Да нет, понравилась!

Это она сказала с той же нежной дерзостью, совершенно очаровательной, и заставившей меня чувствовать прилив яростного желания. И в самом деле, за слишком деловыми, почти циническими словами молодой женщины была какая-то древняя чистота прямого желания, не говоря уж о мощной чувственной тяге, которой нельзя было не поддаться около Тамары.

- Понравилась, милая! — горячо и нежно ответил я, приближая своё лицо к ней, — понравилась, желанная! — добавил я тихим, уже сдавленным страстным голосом.

Я протянул руку, обвил её талию и мощным рывком придвинул её к себе. Тамара на миг рванулась прочь, но тут же обвила мою шею руками

и прильнула всем телом.

— Понравилась, так смотри! Смотри ещё! Смотри всю! -жарко зашептала она, всем телом изгибаясь, точно крупные волны пробегали через неё как через что-то текучее, плавное. Я крепко поцеловал её в губы, и женщина замерла, приоткрыв горячие губы и отвечая мне языком.

Её дыхание, свежее и горячее, само было похоже на степной ветерок. Поцелуй длился долго. Едва оторвавшись от моих губ и задыхаясь, Тамара шепнула:

— Смотри же, смотри! — слегка двинув бедром, на котором лежала моя рука, и вдруг снова прильнула к моим губам с такой силой, что я забыл обо всём в мире.

Руки мои скользнули под платье по гладкому и горячему телу её и нашли, что ничего не было у Тамары одето, этого старого тёмного платья.

Резким извивом тела она помогла поднять её платье выше грудей, и молодая женщина оказалась совсем обнажённой. Но луна уже скрылась, и только звёздный свет помогал мне различить линии ее тела. Впрочем, руки ощутили его формы ещё острее и чётче, чем глаза, занятые бездной тёмных глаз, слабо различимых на едва освещённом лице Тамары. Её тело по теперешним

канонам было сильно и широко, несмотря на очень тонкую талию и плоский, с сильными мускулами живот ещё не рожавшей врождённой атлетки. Груди — особенно нравящейся мне «скандинавской» формы, которые называются в канонах красоты почему-то «дисковидными», то есть не полушаровидные, а более низкие (не по расположению на груди, тут они - высокие), а по собственной высоте, которая в два раза меньше их ширины в основании. Это груди, какие любил изображать у своих женщин Кустодиев[70] — «Купальщица», «Русская Венера». Моя большая рука как раз только покрывала их до основания. Твёрдые, они не выдавались слишком, но их ещё более тугие тёмные соски упрямо и непреклонно торчали прямо вперёд. Широкие крутые бёдра, сильно выпуклые спереди, и круглый, твёрдый, гладкий как яблоко зад, подвижный на тонкой талии, был полон женской силы.

Едва моя рука легла на груди и начала мять и ласкать их, сжимая и сдавливая соски между пальцами, как замершая в поцелуе Тамара

---

[70] Примечания: 70

Кустодиев Борис Михайлович (1878-1927) - русский художник. Его картина «Купальщица» (1921) изображает сидящую вполоборота женщину на берегу реки, «Русская Венера» (1926) — женщину с распущенными волосами в бане.

обезумела. Вскрикнув, она прильнула ко мне, закидывая высоко и смело одну ногу на меня, в то время, как рука её слепо искала мой член и, найдя его, крепко схватила и сжала, чувствуя его толщину и твёрдость. Я ещё шире раскрыл её бёдра, но тут вдруг в женщине произошёл перелом. Закусив губы, с полузакрытыми, чуть ли не закатившимися глазами, Тамара отчаянно оттолкнула меня и вырвалась. Я не сразу пришёл в себя и лишь через несколько секунд тупо спросил:

— Что такое, что с тобой?

— Ой, не тут, только не тут! Нельзя, милый! Ведь я бешеная, а мне, — она обвела рукой тёмную степь кругом, — могут быть люди... даже далеко... не хочу держать себя... таиться... понимаешь.

— Понимаю, — ответил я, приходя в себя, — так пойдём домой?

Безмолвно Тамара оправила платье, поднялась, встал и я, взяв её за руку и слегка привлекая к себе за талию.

— А ты — милый, — шепнула Тамара, обдавая своим горячим дыханием. — Это легко, когда тебя понимают.

И я поцеловал её, и Тамара ответила мне неистово, но снова вырвалась, вся дрожа.

— Не могу, не могу больше, пойдём!

Мы стали быстро спускаться с сырта к тёмной заснувшей деревне, однако молодёжь где-то пела у речки, как раз на нашем конце, и нам пришлось сделать крюк, чтобы не привлечь ничьего внимания. В темноте мы быстро перешли влажные мостки через Янгиз.

— Сколько тебе лет, Тома? — тихо спросил я.

— Двадцать два. А тебе двадцать пять будет?

— Нет, года не дотянул, двадцать четыре.

— А выглядишь ты старше, больно здоров, — усмехнулась Тамара, нашаривая лаз в плетне, который вёл к колодцу, стоявшему между двумя усадьбами — той, где я жил, и соседской.

Мы бесшумно нырнули в высоченные подсолнухи, вышли на плотно убитую тропку и прокрались к моему сараю. Ни огонька, ни звука не было ни в нашем, ни в соседнем доме. Мы вошли в глухую темноту моего жилища.

— Закрой дверь! И окно не открывай! — потребовала Тамара. — Ты спишь на топчане, сними тюфяк и положи на пол! — донёсся её шёпот из темноты угла, куда она зачем-то отдалилась.

Я повиновался. Вдруг горячие руки обняли меня за шею, нагая Тамара прижалась ко мне, шепча:

— Снимай всё, снимай скорее.

Сбросить нехитрую одёжку было секундным делом, и вот мы уже стояли в тёплой тьме, крепко прижимаясь друг к другу. Тамара была много ниже меня — около 160 см роста, но она поднялась на цыпочки и откинулась назад, чтобы теснее прижать свой живот к моему. Её бёдра «играли» в боковых изгибах талии, а опущенная вниз одна рука (в то время как другая продолжала крепко обхватывать тело) нашла мой член и сжала его.

— Ох! — голос её прервался, — иди же, желанный мой!

И словно силы оставили её, колени Тамары подогнулись, и она скользнула вдоль моих ног на тюфяк. Я последовал за нею.

Мы замерли в очень долгом поцелуе, ощущая тесное соприкосновение наших тел, потом её бёдра широко раскрылись, и я почувствовал тугое сопротивление её йони.

— Сразу, милый, сразу, — вырвалось у Тамары полустоном, но меня учить не надо было. Я уже понял, что случай свёл меня с редкой женщиной, у которой йони так же подчиняется её страстным порывам (или, может быть, она подчиняется своей йони). Вставив головку в горячие, уже увлажнившиеся губы, я улучил момент и резко, с силой вогнал член вглубь, когда йони разжалась,

раскрывая вход. Тамара громко крикнула, и её йони сильно сжалась. Тут и началось подлинное безумие — она неистово сжала меня бёдрами, оплетая и притягивая меня своими стройными крепкими ногами, яростно обвивая руки вокруг шеи.

Десятки лет позже этого тридцатого года я увидел в Москве знаменитую египетскую танцовщицу живота — такая же полнота чувств тела отражалась в игре поразительно развитых мышц — каждая часть тела звучала особой нотой в хоре гибкого движения прекрасных форм.

То же самое было и у Тамары. Её удивительно крепкое тело играло всё в неистовом танце страсти с такой силой, что, пожалуй, только я в то время с моей отлично развитой (по Мюллеру) и тренированной мускулатурой мог найти такое же (равное ей) удовольствие в её бешеных объятиях. Я понял, почему тюфяк лежал на земле и были плотно закрыты окно и дверь — мы разбудили бы весь дом и сломали топчан в первые же минуты неистовой страсти. Что-то нашло на меня, и я действовал с частотой машины, и Тамара отвечала мне не реже. В результате мы оба быстро окончили, но не потеряли накала страсти и, чуть отдышавшись, начали снова, не

разлучавшись ни на секунду.

У неё были удивительно развитые мышцы не только на животе и ногах, но и вокруг йони, которые сжимались и разжимались в такт движениям члена, сдавливая его или трепеща на нём в моменты экстаза, когда мы замирали, чтобы начать снова.

Я взял её ещё раза три, когда наконец наши тела потребовали отдыха, и мы вытянулись рядом в жаркой темноте. Тамара тихонько встала и приоткрыла дверь. В щель ворвался прохладный (по сравнению) ночной ветерок, и я вздохнул полной грудью. Тамара лежала рядом на спине, едва видимая в темноте. Иногда она высоко поднимала руку, опускала, касаясь ей своего тела, и потом скользила ладонью по мне.

Может быть, мы задремали, но через короткое (так мне показалось) время наши объятья возобновились с ещё большей силой. Тамара едва смогла вырваться, чтобы закрыть дверь, как я положил её ноги мне на плечи и вторгся в нее до конца, вызвав громкие стоны и новые страстные извивания. Так ей было вполне достаточно, и она уже более не устремлялась мне навстречу, а только виляла задом, покачивая бёдрами из стороны в сторону или крутя ими вокруг члена

как вокруг оси.

Я был поражён искусством страсти у деревенской женщины, которую вряд ли могли учить всему этому, как учили искусную Люду или позднее, много позднее встреченную мною Мириам. Таким удивительным было то, что Тамара вовсе не стыдилась своей наготы, как стыдятся даже превосходно сложённые деревенские женщины — в этом теле тоже была какая-то особая, древняя или восточная мудрость, вероятно, инстинктивно свойственная этой страстной женщине, недаром считавшейся вместе со своей сестрой ведьминого происхождения.



Почти портрет Тамары

Другой раз я велел ей положить одну выпрямленную ногу мне на плечо и пригнуть к своей груди, а второй обхватить меня за талию и притягивать к себе. Это тоже вызвало экстаз Тамары. Едва дыша, она проговорила:

— А как называется, знаешь... хоть и молод! Видно, учительница хорошая была?

— Была, и не одна, — согласился я, имея в виду Царицу Ночи и Люду, — целых две. Да, Тамара, милая, как же мы будем...

Я замялся.

— Чего будем?

— Да с этим делом, — пробормотал я. — Ведь я здесь без... ну этих приспособлений, чтобы ребят не было.

— А, ты вот о чём, — сообразила Тамара, — так не тревожь себя. Я ведь не совсем без ума, куда мне сейчас с ребёнком!

— А как же ты?

— Да это есть такой у нас старинный способ — ягодка такая, кислая и терпкая... вот её и надо положить себе поглубже. И вреда никакого, и дело верное.

— А почему же другие женщины этого не знают?

— Да потому что дуры, учить некому. Они много

чего не знают по нашему женскому делу. Да вот, вишь, и я не знаю, а ты вот знаешь, оттого те, кто учил тебя, знают больше моего.

— А ведь есть такие древние книги, где куда как больше про всё написано.

— Да ну?! Вот бы я хотела прочесть.

— Достану, как приеду в Ленинград, хочешь, тебе пошлю, адрес мне пришлёшь.

— Может быть, всё может, да времена сейчас не те для таких, как я... — Тамара задумалась и притихла.

Я, чувствуя перемену в ней, стал нежно целовать её грудь и плечи, бёдра и живот, восхищаясь её кожей и прекрасными линиями тела, уже хорошо видными в предрассветной мгле. Руки мои ласково скользили по всему телу Тамары. Она скоро стала вздрагивать и слышнее дышать.

— Что ты так меня... ровно невесту какую, — сказала она прерывающимся от волнения голосом. — Я же баба безмужняя, и видишь, с тобой как сразу стакнулась, будто блядь. Только ты не думай...

— А я и не думаю ничего, а знаю. Знаю, что ты необыкновенная, что женщина такая, как ты, встречается одна на десять тысяч, что я с тобой счастлив, вот и всё. Надолго ли — этого не знаю,

но чувствую, ненадолго встретил я тебя на краю каком-то и ты вот-вот улетишь.

— Верно сказал, Ваня мой, сейчас мой... ну если так... — и Тамара, вся изогнувшись, положила мне ногу высоко на плечо. — И сюда поцеловать можешь?

— Конечно!

— А-ах! — радостно вскрикнула Тамара, обхватывая мою шею ногами.

Я прижал её всей тяжестью вперёд, придавив плечом и грудью к её груди её скрещённые и высоко поднятые ноги, вонзаясь сверху вниз в самую глубину. Тамара ответила мне новым взрывом эротического неистовства. В этом положении она не могла «поддавать» мне снизу, навстречу движению моему, но стала извиваться из стороны в сторону, яростно вертясь на члене.

Я уже израсходовал первый пыл человека, довольно долго бывшего без женщины, и пришёл в свою эротическую норму, при которой каждый раз длился около получаса, а иногда и больше. Тамара тоже пришла в полное забытьё, кончая по два раза за мой один, и эта её страсть не ослабла и к самому утру после восьмого или девятого Раза. Только сила её объятия заметно уменьшилась, йони стала воспалённой и не такой влажной,

ещё туже, но почти расслабившейся, как и её распухший полураскрытый рот, готовый, казалось, бессознательно пить поцелуи без конца.

Мы уснули мёртвым сном и очнулись уже поздно утром -давно пора было завтракать. Хорошо, что я мог поехать на геологию когда хотел, так как с опробыванием отвалов на сырту мы покончили позавчера, а тереть пробы в хате должен был с рабочими коллектор.

Тамара, очнувшись, опёрлась на руку и долго рассматривала меня молча из-под полуопущенных век, лёжа рядом со мной на полу нагая. Наконец она потянулась с силой, вздохнула и сказала:

— Закрой глаза, я оденусь. Ох, всё тело будет болеть теперь. Бычок ты хороший. Сестрёнка не зря тебя приметила, смыслит...

С этими словами она выскользнула из сараюшки и, щурясь от солнца, побежала, опустив голову, в хату. Я немного погодя пошёл на речку. Обтираясь после холодной ванны, я собирался одеть сетку, но вовремя заметил на плечах, на груди и выше локтей метки от укусов и диких поцелуев, чётко выделявшихся на загорелой дотемна коже. Почему-то это не вызвало во мне возмущения, а, скорее, воспоминание о дикой

ночи, заставившееся забиться сердце.

Чувствуя зверский голод, я вернулся в сарай, одел футболку и пошёл в хату завтракать. Хозяин ушёл на работу, а хозяйка всё приготовила и сидела на лавке рядом с Тамарой, обняв свою молодую сестру за плечи. При моём появлении Тамара зашлась тёмным румянцем, а хозяйка, внимательно осмотрев меня, изрекла не то одобрительно, не то осуждающе:

— Хороший!

Запрягши своего вороного Араба, я поехал принимать пробы.

На следующий день весь опробывательский отряд переводился на Ново-Уральско-Берёзовские рудники, поблизости к главной базе в Горном[71], а я оставался здесь, чтобы закончить детальные геологические исследования долины Янгиза и Янгизского сырта. Теперь одинокая работа поодаль от главной базы не смутила меня и радовала тем, что по всем нашим планам должна была занять не менее двух недель. На самом деле вышли не две недели, так как мне через 10 дней добавили горные работы — ещё недели на две.

---

[71] Примечания: 71

Горный — в первой половине XX века хутор на реке Усолке. Ныне урочище. Ближайшие современные населённые пункты — хутор Новенький и село Комиссарове Оренбургской области.

И всё это время ночные неистовства продолжались. Странное дело — я не чувствовал потери сна — наоборот, днём была странная лёгкость в теле, а ночью половая сила, казалась, увеличивалась с каждым разом. Только какое-то равнодушие ко всему, кроме предстоящей встречи с Тамарой, овладевало мной всё сильнее.

Тамара полюбила начинать наши встречи с того, что ложилась нагая поперёк постели, подложив подушку под свой круглый и гладкий зад. Притянув меня ногами за талию (я стоял перед ней) и приняв во всю глубину, она сосредоточенно и яростно извивалась.

— Ой, как же это! — не то вздохнула, не то простонала Тамара после одного, особенно сильного взрыва страсти, когда она, вскрикивая, бессвязно говоря мне что-то и вертясь подо мной как бешеная, кончила раза два, пока я собрался. Такое иногда бывало у меня, когда сосредоточение в страсти было так велико, что, вместо поспешного конца, затягивалось всё в каком-то трансе до полного изнеможения.

И сейчас Тамара, даже не в силах убрать закинутую на меня ногу, жарко дыша, признавалась, что никогда такого не испытывала.

— Губы горят, манда тоже как в огне! И хоть

распухла, а ослабела и не держит, только старается, чтоб вобрать поглубже, и вся я расслаблена, как на жару, только груди набухли точно каменные, и соски болят, смотри, какие тугие... А сама слабею, и средства нет.

— Какого? — спросил я.

— Есть такое растеньице, оно делает её, — она коснулась рукой своей йони, — туже.

— Зачем? — возразил я. — И без того тугая, как у девушки в первые разы.

— Дак разве не чувствуешь? Я в такую вхожу страсть, что как ты возьмёшь меня раза три, так я вся будто расплавляюсь под тобой, и мне кажется, что она не держит тебя так крепко, как хочется.

— Не беда, — возразил я. — Но если уж ты так хочешь...

— А что? — Тамара приподнялась на локте.

— Сумеешь сплести колечко для меня вот такое, -и я рассказал ей о японском кольце из конского волоса, с торчащими по периметру пуговками коротких подрезанных волос.

Тамара заставила меня тем же утром, ещё до выезда на работу, вырезать ей из длинного хвоста моего Араба побольше волос, и к ночи кольцо было готово, точно по мерке шейки моего члена, которую Тамара сумела хорошо узнать.

Что было в эту ночь, даже трудно описать, — во всяком случае, страсть Тамары, и без того очень сильная, перешла прямо в экстаз. Она извивалась бешено, не сдерживая стонов и криков, а в промежутках лежала, вытянувшись и учащённо дыша, словно в забытьи, а по её крепкому телу пробегала него судорога, не то просто вздрагивали перенапряжённые мускулы. Я даже встревожился за Тамару, но ничего не случилось.

Только наутро хозяйка сказала мне за завтраком:

— Смотри, не попорть сестру-то. Я допрежь боялась, что она тебя испортит, а ты вон, жеребцуешь нещадно. Я выходила до ветру ночью, так прямо всполошилась, как Томка стонала да кричала!

Тамара низко опустила голову от стыда, а хозяйка продолжала:

— Скоро, что ли, тебе уезжать в Горный?

— Скоро попрощаюсь с вами, — ответил я, подмигивая Тамаре.

Мы с ней уже сговорились. Я думал бы ещё дней с десять провести на Средней Каргалке, в районе хутора Привольного, а потом уж уезжать совсем на базу, а Тамаре пора было в Среднюю Азию, и так она уже пропускала сроки.

Я уехал не в Горный, а в главный лагерь партии

на Дмитровском руднике и там провёл с неделю, отчитываясь и получая новое задание — обследование района Королёвского рудника, с чем я вполне мог справиться один.

Один я и перебрался на хутор Привольный — там, где степь была как-то попросторнее, и сырты (то есть водоразделы между оврагами) более пологими. Здесь, видимо, коллективизация уже продвинулась успешнее, чем в другом районе, свидетельством чему были обширные районы степи, оставшиеся с прошлого года незапаханными.

Я тосковал по Тамаре всем телом и немного огорчился, когда, приехав в Привольный, не нашёл там молодой женщины, но почему-то я был уверен в приходе Тамары и не ошибся.

Я ехал на моём Арабе по сырту, спускаясь с Королёвского рудника к тёмным отвалам маленькой безымянной шахты в вершине широкого лога, сплошь заросшего мелким березняком. Далеко на степи, такую крохотную под плотными кучевыми облаками, я увидел тёмную фигурку, в которой вещим чутьём угадал Тамару и не ошибся. Она шла ходко и скоро заметила меня и помахала рукой. От Татьяновки сюда было около сорока километров, но Тамара почти подбежала ко мне,

разгорячённая ходьбой и солнцем, пахнущая ковыльным ветром, и наш поцелуй был долог, как после долгой разлуки.

— Запыхалась я, — сказала она, чуть задыхаясь, — пить хочется.

— Съедем вниз, в лог, там родник, — предложил я, окинув взглядом весь палящий простор кругом — на километры ни одной живой души.

Под обрывом лога между каменной стеной и густой берёзовой рощицей было маленькое озерко прозрачной и прохладной воды, горевшее на знойном солнце. Дальше бугор мелкого и чистого жёлтого песка уходил в тень березняка. Я съехал по крутой дорожке стороной и поставил Араба в тень, где деревья были редкими, а мы с Тамарой прошли через чащу тонких белых стволов к озерку.

— А что, я вымоюсь? — сказала Тамара, расстегнула платье и вдруг посмотрела на меня.

— Хочешь, уйду, — нехотя сказал я, не в силах отвести глаз от вновь обретённой возлюбленной.

— Не надо, смотри, я с тобой бесстыдная стала, — усмехнулась Тамара, — знаешь, ты как исцеловал меня всю, так я перед тобой словно в одежде из твоих поцелуев.

— Как ты хорошо сказала! — воскликнул я, пытаясь обнять её, но она отпрянула в сторону, мигом сняла через голову платье, под которым, как обычно, не было ничего.

Её тело казалось совсем смуглым на фоне берёзовых стволов, на солнце в сверкающей воде озерка стало лишь бледнозолотистым, с резкими, тёмными чертами в складках. Она легла в мелкую воду, обтёрлась и, освежённая, выпрямилась на грани солнечного света и тени берёз, будто мифическая богиня леса или нимфа источника. Её чёрные волосы упали на плечи, а твёрдые груди выставили свои тугие и тёмные соски наверх, не в стороны, как у большинства юных женщин, ни тем более слегка вниз, как у более зрелых. Нет, у Тамары они торчали прямо вперёд, параллельно один другому, а широкие основания грудей придавали им чувство какой-то особенной женской силы.

Я сам хотел освежиться и разделся до трусов, но тотчас забыл про всё и поспешил приблизиться к Тамаре.

Я привлёк Тамару со всей силой ко мне спиной, положив обе руки на её груди, как всегда, твёрдые и без возбуждения. Дрожь прошла по её телу, голова запрокинулась назад, и она замерла,

отдаваясь моей ласке. Почувствовав меня сзади, она внезапно качнулась вперёд с тем инстинктивным искусством врождённой жрицы любви, какое было ей свойственно, и приняла в себя. Я в тысячный раз с удивлением испытал какое-то втягивающее действие её йони, жадно стискивающей и принимающей в себя. Это удивительное чувство сопровождало каждое соединение с Тамарой, и всё её тело, и губы, и руки, и ноги — всё вбирало в себя сильное мужское тело. А йони, то сдавливая, то отпуская член по мере его вхождения вглубь, тоже вбирала в себя и, вобрав, держала туго, не отпуская, а лишь делая те странные движения, которые сообщали йони как бы самостоятельную жизнь, помимо извивов тела.

Так было и на этот раз. Нагнувшись, она приняла член вглубь, и когда он оказался крепко стиснутым, Тамара выпрямилась и прижалась задом ко мне, изогнувшись дугой и прильнув ко мне ещё плечами, предоставив выпяченные вперёд груди моим рукам. Её крепкий и широкий зад буквально играл, вертясь и резкими извивами гибкой талии усиливая трение. У другой женщины такое соединение прервалось бы, но Тамара искусно держала свою йони прижатой к мне, несмотря на все виляния зада, а, кроме того,

её йони крепко держала мой член в себе.

Бешеная страсть овладевала нами всё сильнее, и наконец с криком:

— Нет, хочу ещё больше! — Тамара опустилась на песок и простёрлась на нём на животе подо мной.

От её движения её лобок погрузился в песок, и мой член в своём движении, захватив понемногу песок в её йони, страшно усилил трение с болью и отчаянным желанием. Только когда порыв прошёл, мы опомнились от наваждения Эроса.

Мы приехали в Привольный перед вечером, и я объявил своей хозяйке-старухе, что привёз жену.

— Городской ты, а жена деревенская, — неодобрительно окинула взором Тамару моя новая хозяйка, — толком венчались али так регистровались?

— Так, — ответил я.

— Ну, стало быть, вокруг куста кручёные, — успокоилась старуха и подала на стол молоко, хлеб и яйца.

А ещё через час в моей новой сараюшке мы с Тамарой праздновали Эроса после недельной разлуки.

Страсть была тем отчаяннее, чем больше близилось неизбежное расставание. Я всё время брал

Тамару с собой в геологические поездки. Окончив дневную работу, мы неизменно съезжали в Большой Королёвский лог к заветному источнику, где, подобно Леде и Лебедю, служили Эросу.

Так было и в последний день, когда я повёз Тамару в Оренбург. Мы поднялись ещё до рассвета и сразу же поехали в Королёвский лог. Здесь, сосредоточенная и суровая, без слов, Тамара трижды отдалась мне на чистом песке, каждый раз стараясь, чтобы наши объятия были с песком. Изранив себя и меня до крови, она стала на колени передо мной, нежно целуя, и шепнула:

— Как бы я хотела, чтобы больше у тебя никого не было.

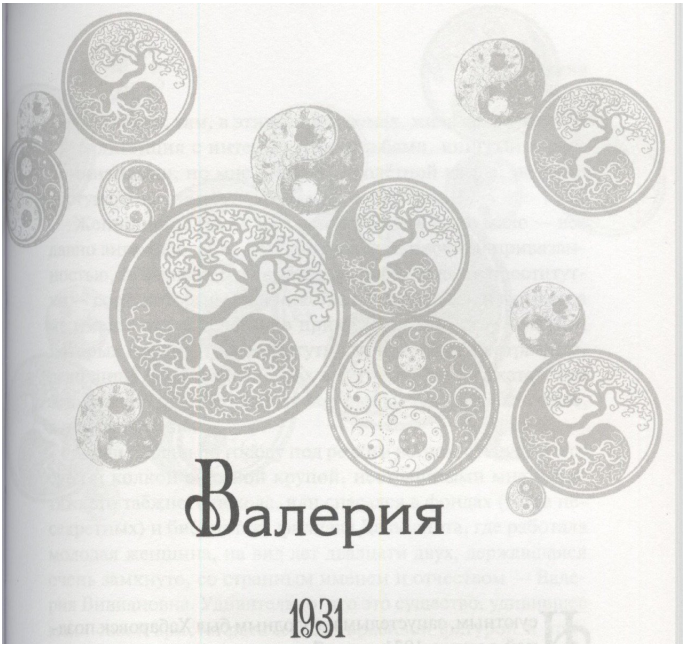
— Также и я... — угрюмо отозвался я.

Мы мало разговаривали во всю 60-километровую поездку до Оренбурга. Было заранее уговорено, что она уедет тотчас же, поэтому я взял ей билет до Пишпека на 5-часовой поезд, поцеловал крепко у выхода на перрон и пошёл, не оглядываясь, к коновязи, в ту же минуту двинувшись в обратный путь в степь.

И я как будто утратил свою силу — похудевший, вялый и безразличный, хоть и честно довёл до конца работу, но с утратой интереса. И ведьмина близость не прошла мне даром — я мало инте-

ресовался женщинами довольно долгий период (как после Люды).

И испуганный этим, я поспешил жениться, но неудачно — брак был недолог, хотя мне встретилась очень хорошая девушка, но — я был отравлен страстью ведьмы. Так и после — второй брак — тоже был отмечен отравой — таково было долгое возмездие Эроса.



Неуютным, запустелым и голодным был Хабаровск поздней осенью 1931 года. Я явился с низовьев Амура из тяжёлой экспедиции с последним пароходом и по уговору стал ждать товарищей — начальника экспедиции и других, запаздывавших из своего маршрута. В общей сложности мне пришлось прожить три недели в грязной гостинице, в общем номере с лихими

пьяницами — работниками рыболовной промышленности, от которых я спасся в отдельное «купе» — нишу в конце коридора, отделённую стеклянной, вроде врачебной, загородкой. В библиотеках почти не было книг, которых бы я не читал, или были такие, какие не читались, переполненные немногие кино меня не привлекали, пьяные рестораны с жалкой едой и вовсе были не по душе.

Город как-то притих, затаился в обнесённых заборами небольших домах, переживая трудное время начала индустриализации, когда больше всего досталось Украине и Сибири.

Должно быть, там, в этих старых домах, жила какая-то своя интеллигенция с интересными судьбами, книгами и воспоминаниями, но мне, чужаку, пролётной птице, не было доступа туда.

Женщин в те года на Дальнем Востоке было мало — все давно ангажированы, а кто не гнался за прочной привязанностью, те были уж очень развязны, практически проститутки — сорт, который меня никогда не привлекал, и я никогда не имел с ними дела, не в пример большинству мужчин, которых почему-то проститутки привлекают неотразимо, дело лишь в той или иной их категории. Мне кажется, что эти мужчины

— несчастливы в любви или браке, точнее, в половой любви.

Я или бродил по городу под резким ветром с Амура и Уссури и колкой снежной крупой, нестрашными мне после тяжкого таёжного похода, или спасался в фондах (тогда несекретных) и библиотеке филиала Дальзолота, где работала молодая женщина, на вид лет двадцати двух, державшаяся очень замкнуто, со странным именем и отчеством — Валерия Вивиановна. Удивительно, что это существо, удивившее меня своей аристократической, красивой фигурой и приострённым, «серебряковским»[72], северным лицом, однако, с красным полногубым ртом и чистыми карими глазами, не пользовалось никаким успехом среди множества мужчин, очень предприимчивых здесь, на Дальнем Востоке, из-за малого числа стоящих женщин. Это была, несомненно, стоящая женщина.

Набродившись по городу и не зная, куда приткнуться, я облюбовал библиотеку Дальзолота и просиживал здесь целыми днями до закрытия, роясь в не столько нужных мне непосредственно, сколько интересных исторически рукописях

[72] Примечания: 72

Имеются в виду лица, типичные для картин З. Е. Серебряковой, например, «За туалетом. Автопортрет» (1909).

и отчётах прежних исследователей этих мест — горных инженеров.

Как-то мы разговорились, и вначале односложная беседа затем стала обоим настолько интересной, что я проводил её домой, к чёрному, одноэтажному, бревенчатому дому с обширным двором, стоявшему на краю одного из многочисленных оврагов, на которых стоит (или, точнее, тогда стоял) Хабаровск. Так возникло первое доверие — с обеих сторон, так как тогда следовало и мне опасаться всяких доносителей, как раз начавших входить в силу, в чём я имел возможность убедиться в экспедиции и даже вынужден был выгнать своего коллектора (хромую сволочь по фамилии Ульянов) и топографа — истерического и вечно хныкавшего волжского богатыря.

После тяжёлых испытаний на краю гибели в тайге, голода, гибели моего верного промывальщика Фомина я не был склонен к сантиментам, но тем не менее, как всякий интеллигентный романтик, очень хотел бы найти нечто, соответствовавшее «пылинке на ноже карманном» (по выражению Блока) в таком далёком месте России.

Случилось так, что я, посещая, кроме библиотеки, краеведческий музей, где в запустении,

заросшие высокой травой, стояли интересные китайские скульптуры, принялся расчищать эти скульптуры, чтобы рассмотреть их как следует, и привлёк внимание человека, показавшегося мне тогда очень старым. На деле ему вряд ли было больше пятидесяти лет. Это оказался один из добровольных помощников хранителя музея, представитель недобитой старой интеллигенции, в прежние времена очень много путешествовавшей по Китаю, Японии и Монголии без шпионских, как теперь, а с чисто торговыми и любопытственными целями. Затеялся разговор, в результате которого я пил отличный чай в тесном домике, похожем на тот, где жила библиотекарша, заставленном и набитом всяческими музейными редкостями — книгами, рукописями, произведениями искусства, преимущественно из Китая. Мне было предоставлено право эти книги и рисунки рассматривать, что я и делал, как только считал возможным посещать этого человека, не надоедая ему.

Но, естественно, Валя интересовала меня гораздо больше и была, по существу, единственным «светлым пятнышком» на сером, холодном фоне хабаровской осени. Я попробовал расспросить о ней у сослуживцев, но те, склонные к сплетням,

как всегда бывает в маленьком мирке, удивительно мало могли сказать о ней. Лишь от одного я удостоился пожатия плеч и остроты, что Валя вообще «четыре В и ни одного Б», потому что у ней что-то неладно по женской части. Но, вновь встречаясь с нею и поддаваясь очарованию её ловких свободных движений и гибкой фигуры, я решил, что эти слухи о ней — ерунда. Очевидно, была личная трагедия, которая отбила охоту общаться с нашим полом, среди которого в те годы на Дальнем Востоке хамья было предостаточно.

Погода становилась всё холоднее, и облезлый и запущенный «парк» над Амуром, где мы обычно гуляли, стал совсем непривлекательным. Мы подолгу разговаривали в облюбованном уединённом и тёмном проходе между стеллажами, у сто лет немытого маленького окна, в библиотеке фондов.

Обоюдная симпатия росла, и при одинокости каждого из нас сближение шло не по дням, а по часам. Валя знала, что я жду только своих товарищей — начальника экспедиции и его заместителя, чтобы уехать в Ленинград. На беду (или на счастье), те застряли на золотых приисках в

Керби[73] и теперь выжидали ледостава и первопутка, чтобы добраться до Николаевска-на-Амуре, а оттуда прилететь в Хабаровск на почтовом «Юнкерсе». Такое дело не могло случиться очень скоро, но неотвратимость разлуки висела над нами как меч, который однажды разрубит всё — сразу и навсегда.

Я не мог приглашать Валерию к себе в гостиницу, где со мной ютилось немало полупьяных коблов, даже когда получил на себя и товарищей отдельный номер — комнату с убогими кроватями, тумбочками и венскими стульями -гостиница эта в Хабаровске 1931 года была совсем не роскошна.

Зато у Вали мне показалось чрезвычайно уютно. Узкая, как коридор, комнатка, длинная, с одним маленьким окошком в одном конце и дверью в другом, напоминала чем-то её прибежище в фондах, но большая печка, важно выступавшая посредине комнаты, отгораживала нишу, в которой вместо дивана помещался большой сундук, застеленный тюфяками и ковром из шкур иманей — горных козлов, — мехом, дешевле которого

[73] Примечания: 73

Керби — река в Хабаровском крае, относится к бассейну реки Амур. Керби с её притоками является одной из главных золотоносных систем Дальнего Востока.

были только лезучие оленьи шкуры.

Ближе к окну стояла узкая железная кровать тогдашнего стандарта, а рядом мог поместиться только маленький письменный стол, а ела Валя за некрашеным деревянным шкафчиком, стоявшим против тёплой печки. Дверь была сделана на совесть — из лиственничных досок, и ещё завешана одеялом — получился изолированный уютный мирок, очень хорошо действовавший на меня после полугода, проведённого всё время на людях.

Когда Валя убедилась, что я не намерен смотреть на приглашение к ней как на взаимное обязательство тут же приступить к мужско-женскому делу, она стала звать меня к себе каждый вечер, тем более что сибирский климат вступал в свои права и за окнами потрескивал двадцатиградусный, самое меньшее десятиградусный мороз, часто с резким ветерком, — мы и забыли о прогулках на берег Амура.

Здесь было так тепло, я приносил из крайисполкомовской столовой чего-нибудь вкусного по тем скудным временам, красной икры и кеты «ледникового» посола я привёз с низовьев Амура вдоволь (как знал, что в Хабаровске её доставать труднее) и всю отдал Вале, так как со склада, где лежали

коллекции, всё съестное крали голодные китайцы, а в гостинице — растащили бы на закуску лихие камчатские и сахалинские рыбные деятели. Было бы совсем братское житьё с сестрой, но поцелуи, которыми мы имели неосторожность обменяться, производили своё таинственное действие в нас обоих, и это, запретное для Вали по каким-то особым обстоятельствам и тем самым сдерживавшее меня, становилось неодолимым.

Царица Ночи, Сахавет, «старуха» и «бешеная» Тамара — всё это были девушки совершенно нормальные, лишь иногда поставленные в особые обстоятельства. Мысль эта несколько охладила меня, несмотря на естественное любопытство и нараставшее давно желание, прорваться которому мешала не только сдержанность Вали, но и собственная моя умученность таёжным походом.

Однако Валя, казалось, приняла какое-то решение. Её русые, всегда гладко причёсанные на прямой пробор волосы распустились и распушились, обрамляя её слегка приострённое книзу лицо с широким лбом, чёткими прямыми бровями, удлинённым прямым носиком и довольно крупным ртом. Щёки с лёгкими западинками подчёркивали оттенок аскетизма в этом строгом,

хотя и юном лице. Она опустила глаза, вставая на колени на шкуре, и вдруг, глубоко вздохнув, быстро стащила через голову платье, чулки и поясок, а затем и рубашку. Она стояла передо мной (а вернее — надо мной, так как я сидел на полу) на коленях, подняв руки к затылку, чтобы заплести в две пряди рассыпавшиеся волосы, совсем открытая до конца и беззащитная. Её тело с очень белой, «молочной» кожей оказалось сильнее, чем оно выглядело в тёмном и узком платье, плечи прямые и сильные, удлинённые пропорции торса, не очень широкие, но резко очерченные бёдра, тесно посаженные, не приострённые, а сферические, не сильно выступающие груди с очень большими тёмными окружностями вокруг сосков, как-то не гармонирующими с девической стройностью и удлинёнными, породистыми пропорциями тела русской аристократки.

Валя молча повернулась, не меняя позы, так, что блики света из печки, пробегая справа налево, яснее осветили её.

— Посмотри как следует! — вдруг сказала она, и тут я увидел, что соски её грудей обведены странными кольцами какой-то тёмно-красной или фиолетовой татуировки.

Присмотревшись, я понял, что от сосков вниз

сбегают полоски того же цвета, скрещиваются на животе, обегают пупок, снова скрещиваются под ним и расходятся к паху. Острое зрение помогло мне распознать фигуру татуировки — две змеи, хвостами обвивающие соски, изгибающиеся, скрещиваясь над пупком, и обегающие его с противоположной для каждой груди стороны, снова скрещивались, выходя на свою сторону, и с разверстыми пастями смыкались вокруг йони, утопая в волосках «треугольника» внизу лобка.

— Боже мой, что это у тебя! — невольно воскликнул я.

Валя медленно опустилась на шкуру дивана и, вдруг озябнув, велела мне покрыть её одеялом. Я исполнил это и, подсунув руку под её голову, поцеловал крепко и нежно. Валя сперва отвернулась, я погладил её по виску и снова поцеловал сомкнутые губы. Тогда она мне ответила, нерешительно, как бы в задумчивости.

— Тебе это ничего? — спросила она так осторожно, что у меня защемило сердце от жалости к ней.

— Конечно, ничего, — ответил искренне я.

— Если так... — медленно произнесла Валя, плотнее укутываясь в одеяло, — сядь сюда, — она показала на край сундука рядом с собой.

Я повиновался, подбросив ещё несколько смолистых полен в печку, и в комнатке стало светлее.

— Ты помнишь, — сказала девушка, — когда мы были с тобой у твоего знакомого и смотрели альбомы китайских и японских рисунков...

— Помню, — улыбнулся я, — там был один с такими... как бы это сказать, забористыми, что ли!

Я имел в виду альбом самой чудовищной эротики, с самыми немыслимыми позами, однако нарисованными столь искусно, что потом они мерещились перед сном. Валя, наткнувшись неожиданно на это произведение, побледнела, а я стал хохотать, спрашивая, чего же она испугалась этой выдумки.

— Это не выдумка! — ответила Валя резко, пожалуй, зло, отбросила альбом и более не разговаривала со мной почти весь вечер. Я так и не смог от неё добиться, что такого страшного в этих старинных эротических гравюрах.

— Так вот, моя реакция тогда была неспроста. Дело в том, что мне пришлось близко познакомиться с подобными... делами!

— Тебе?! — изумился я, — когда, где? Сколько тебе лет?

— Не то чтобы мне, но очень близкому мне

человеку. Ну, раз уж у нас с тобой дошло до близости, я тебе расскажу.

— Может быть, не надо? — усомнился я, вспомнив про

Люду.

— Нет, мне надо пересказать это, давно лежащее на душе.

И ты мне кажешься наиболее подходящим...

— Для откровенности? — перебил я.

Действительно, со мной люди почти всегда были откровенны, особенно женщины, ещё с моих мальчишеских лет.

— Да, но только будь серьёзен. То, что я тебе скажу, — не моя тайна.

И Валя рассказала мне горькую повесть, каких так много было в белоэмиграции, когда весь старый мир рухнул и уважаемые прежде люди высокого положения оказались нищими и презираемыми беглецами на чужбине.

Валя была старинного аристократического рода, из военной семьи. Её отец, морской высший офицер, был расстрелян, а мать с двумя дочерьми убежала через границу в Монголию, сначала Внешнюю, затем Внутреннюю, в её восточную часть. Сестра была значительно старше Вали, которая была на год моложе меня (1908 года рож-

дения), а сестра 1901 года — старше на семь лет. Был ещё брат, но он Умер давно, ещё в детстве в Петербурге.

Валя не помнила точно, где они скитались в Монголии, пока наконец не очутились в каком-то городке у озера, пыльном, пустом и бедном. Было это в 1919 году, и Вале было одиннадцать лет, а сестре — восемнадцать. Средства матери от продажи вещей окончательно истощились, и сама она, измученная до предела, умерла от тифа. Девочек приютила довольно интеллигентная бурятка-вдова, владевшая домом и садом, где прожила свои последние дни мать Вали. Сестра Вали написала в Харбин, где был какой-то комитет помощи детям эмигрантов, но, прежде чем пришёл оттуда ответ, судьба решила сделать совсем необычайный поворот.

К хозяйке часто приходил лама из большого монастыря, господствовавшего в городке. Однажды бурятка предложила сестре Вали поступить в канцелярию монастыря, чтобы писать там какие-то письма на русском языке, которые посылались в советскую Бурятию, в тамошние дацаны.

Сестра ушла и... исчезла на полтора года. От бурятки Валя узнала, что сестра поехала сопровождать в целом штате слуг какого-то важного

духовного наставника чуть ли не в Тибет и оставила хозяйке денег, чтобы кормить и содержать Валю. Трудно описать беспросветную жизнь двенадцатилетней девчонки, обречённой проводить время в маленьком китайско-монгольском городке, без знания языка, да Валя и не хотела вдаваться в подробности.

Когда Вале исполнилось тринадцать лет, она сильно простудилась и заболела. Бурятка призвала врача, тот дат какое-то сильное питьё, и Валя несколько дней была в полузабытьи. Смутно помнила кого-то, врача или другого склонявшегося над ней, чувствовала иногда порядочную боль, жар, тело казалось воспалённым. Когда она очнулась и стала поправляться, она вдруг обнаружила на себе змеиную татуировку. На её крик пришла хозяйка, объяснила ей, что это способ лечения тяжёлых заболеваний, чтобы отогнать злых духов, и татуировка исчезнет сама со временем. Наконец явилась сестра, и Валя не узнала её. Ушла девушка, появилась женщина в полном расцвете, одетая в дорогое шёлковое дели (халат).

Её русые, как и у Вали, волосы были выкрашены в чёрный цвет, заплетены в две косы под шапкой дорогого меха Был 1921 год, когда Вале

исполнилось тринадцать, а сестре -двадцать.

Не обращая внимания на хозяйку, которая как-то избегала её, сестра уединилась с Валей в её комнатке над сенным сараем. Валя рассказала ей про свою жизнь, упомянула и о татуировке. Сестра побледнела как мел, велела Вале раздеться и осмотрела её.

В тот же день, вечером, стараясь не привлекать ничьего внимания, они уехали в закрытой китайской двуколке, добрались до железной дороги, проехали на север до Таонаня и в Цицикар, а оттуда уже в Харбин, до которого так и не добралась несчастная мать Вали. Сестра вела себя так, будто опасалась погони, и вздохнула свободно лишь в поезде, переполненном китайцами[74].

В Харбине сестре повезло — она устроила Валю

---

[74] Примечания: 74

Ольга Валерьевна Карасёва, востоковед-китаист, у которой я как редактор-составитель попросила консультации, высказала предположение относительно татуировок.

В китайской культуре Нюйва и Фуси — это первопредки людей, полузмеи-полулюди, они изображаются в виде переплетённых змей с человеческими головами, хвостами вниз, головами вверх. Но на татуировке героини змеи были со змеиными головами, обращёнными вниз, что может говорить об их тёмной функции.

Змеи могли быть знаком принадлежности девушки какой-либо могущественной организации, например, тому же монастырю, в который ушла и где пропала на долгий строк старшая сестра, и обозначать, что по достижении определённого возраста девушка поступала в распоряжение этой организации и могла быть отправлена в публичный дом или использована в качестве проститутки. Подобное

лечение могло случиться, когда героиня заболела, а у хозяйки не было средств заплатить врачу, и девушку согласились лечить при условии покупки её жизни.

Сестра, вероятнее всего, вынуждена была стать при буддийском монастыре проституткой, так сказать, высокого эшелона. Это были женщины в высшей степени образованные и интеллигентные, сопровождавшие буддийских чиновников. Обрывочная информация о таких женщинах содержится в данных английских чиновников начала XX века.

Реакция героини на «альбом самой чудовищной эротики» касалась того, что пришлось пережить её сестре, которая вернулась из монастыря в дорогой одежде. Возможно, татуировка обозначала, что девочку ждёт то же, что уже пережила её сестра. И старшая постаралась спасти младшую сестру от этой участи, увезя её в Харбин.

в школу-интернат при казачьем землячестве, не в духовную, как она думала, придётся. Там с 1922 года четырнадцатилетняя Валя продолжала образование, прерванное в Петрограде и проучилась почти пять лет, когда было объявлено, что дети эмигрантов, оставшиеся сиротами, могут возвращаться на родину через советскую миссию. Так в конце 1926 года Валя приехала в Хабаровск, найдя здесь отдалённую родственницу отца. Ей было восемнадцать, а сестре — двадцать пять лет.

Должно быть, по контрасту всё с тем же холодным, неуютным городом и моим собственным неприкаянным житьём, мне было очень хорошо в этой длинной полутёмной «горнице» с хорошей печью, перед которой можно было посидеть, слушая дрожание второй заслонки и следя за бликами огня, после резкого ветреного мороза снаружи.

Я как-то всегда любил старинный, хорошо устроенный, приспособленный к условиям жизни быт. И сейчас, при всероссийском разорении и беде, с нищетой, нехваткой самых элементарных вещей, голоде и начинающемся озлоблении, хотя бы достаток в дровах был уже великолепен. Я не имел тёплой куртки — только обычную геологическую кожанку, под которую надевал свитер,

хороший, мягкий - из Союззолота, на чёрную косоворотку — тоже «выдача спецовки». Но израненные в голодном походе ноги не позволяли мне надевать ничего, кроме ботинок, и ноги у меня мёрзли против обыкновения. Стёртые до костей ступни ногти под «косточками» не заживали (они зажили только весной 1932 года), кровоточили и примерзали к ботинкам сквозь носки.

Один раз, после прогулки в сильный мороз, я стал прихрамывать — Валя это заметила и заставила меня разуться у себя. Она ахнула, увидев пропитанные кровью носки и заскорузлые ботинки, промыла и завязала раны и потом долго гладила ноги, пока я, смущаясь и пряча их, рассказывал ей об убийстве промывальщика, о голодном походе с гольдом -300 километров сквозь неисследованную амурскую тайгу. После этого Валя стала относиться ко мне не скажу — нежнее, но как-то внимательнее.

В канун 7 ноября мы решили отпраздновать два дня у Вали на квартире, никуда не ходить, а хорошенько отдохнуть без людей, тем более что старики-хозяева собрались в гости на заимку и сами мне предлагали ночевать у них в большой кухне, «чтобы какой мужик был в доме — время пуганое».

Валя упорно не пила ни водки, ни спирта, поэтому я попросил завсклада Крайисполкома, раздававшего нам праздничные подарки (это был первый раз, когда я столкнулся с этим, к несчастью, столь укоренившимся обычаем), сменять положенный мне литр спирта на какое-нибудь лёгкое вино, лучше бы сладкое. Тот обрадовался, тем более что я пообещал отдать ему всю очертевшую мне красную икру и белую муку, долго сопел, припоминая, и наконец объявил, что у него есть бутылки три вина со смешным похабным названием «Бардак». Его никто не берёт, и он отдаст мне их все.

Я недаром в студенческие годы жил вместе с дегустатором Плодовинсоюза (была такая кооперативная организация), чтобы узнать в этом ругательном слове марку чудесного золотого вина «Барзак»[75], лучшего из всех мускатов Крыма, какое могло уцелеть лишь случайно в таком вот именно месте. С торжеством я приволок это вино Вале вместе с какой-то снедью: маслом, сахаром, шпротами, колбасой — всё, что нужно для лукулловского пира двух молодых, здоровых, но не очень-то чревоугодливых людей.

---

[75] Примечания: 75

Имеется в виду «Барсак» («Barsak») — сладкое белое вино янтарного цвета.

Вино очаровало Валю — даже налитое в простые чайные (к счастью, не гранёные) стаканы, оно поражало своим солнечным цветом, чистым ароматом и лёгким вкусом.

Потрескивала лиственница в печи, полная тишина стояла в домике, мы были одни во всём мире. Валя где-то достала превосходного кирпичного чая (так называемый № 1000 Иркутской фабрики[76]), я, распаренный и ублажённый, освободив свои многострадальные ноги и разоблачившись до косоворотки, сидел на козлиной шкуре на полу у печи.

Мы давно погасили электролампочку и любовались уютом огня, освещавшего лишь часть комнаты сквозь щели печной заслонки.

Попозже вечером мы стали пить вино — действительно превосходный «Барзак» счастливого для меня 1926 года, и вино как-то ударило обоим в голову. Обычно серьёзная и как-то замкнутая Валя развеселилась необычно, стала смеяться, поддразнивать меня, заставила рассказывать о моих прежних «дамах сердца». Я рассказал про последнюю — всего лишь в прошлом и уже таком далёком другом году моих уральских (оренбург-

---

[76] Примечания: 76

Иркутская чаеразвесочная фабрика была основана в 1932 году. Действие рассказа относится к 1931 году.

ских) исследований — о «бешеной» Тамаре.

Валя умолкла, слушала внимательно и вдруг сама налила вина.

— Это за неё! — отрывисто сказала она, — и за всех неведомо скитающихся сейчас по страшной России!

Мне показался странным эпитет «страшная», — я ещё не думал так о своей стране, по которой скитался уже много и много пережил приключений, несмотря на свои двадцать четыре с небольшим года, однако я выпил за Тамару с охотой, и тотчас же Валя снова налила стаканы.

— А это — за нас! — тихо сказала она, рассматривая на свет золотой цвет крымского вина, выпила и сама подставила мне губы для поцелуя.

Я не замедлил этим воспользоваться и, схватив её на руки — она сидела на сундуке, покрытом шкурой, а я у её ног около топки печки — стал целовать крепко и долго. Валя сначала отвечала мне, потом как-то стала инертной и только, раскрыв губы, обмякла на моих руках с закрытыми глазами.

Я перестал целовать её, и она не шевельнулась, однако её руки не отпускали моей шеи и глаза оставались закрытыми.

Я уже подумал, что Валя — девушка и что мне

— проезжему, перелётной птице, неблагородно пользоваться минутой, после которой — неизбежная разлука, и легонько отстранился от неё.

Вдруг Валя сильно, точно когти, погрузила пальцы в мускулы моей спины и плеча — а они после полугода гребли на лодках, оморочках[77], плотах, хождения с шестом против течения быстрых амурских речек были в полной силе и выступали твёрдыми буграми под тонкой косовороткой. По-прежнему не открывая глаз, она заговорила низким, громким, странно отрывистым голосом:

— Ох, эти мужские мускулы, эта проклятая сила... опять... опять... — и резко, больно прижалась к моим губам своими.

Я мгновенно понял, что она — никакая не девушка, а женщина, но с какой-то особой, необычно сложившейся судьбой. Помню, что мгновенно успел подумать, что судьба моя тоже необычна — почему-то она посылает мне именно таких женщин. Начиная с Лизы, Зина и Люда, затем врачиха из Май-Тюбе — все они были особенными, испытавшими и мучения, и необычное именно в

---

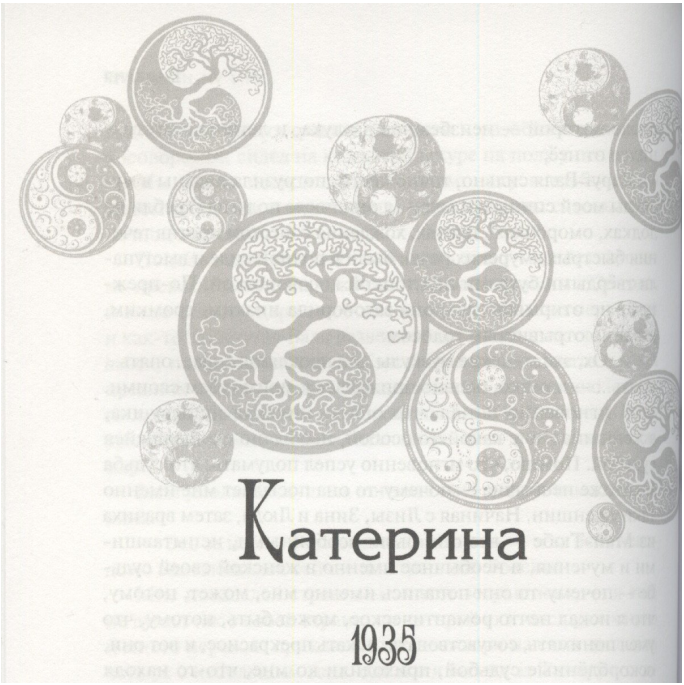
[77] Примечания: 77

Оморочка — у нанайцев и удэгейцев лёгкая лодка, нос и корма которой имеют одинаковые очертания, что позволяет не разворачивать лодку на узких реках.

женской своей судьбе — почему-то они попались именно мне, может, потому, что я искал нечто романтическое, может быть, потому, что умел понимать, сочувствовать, искать прекрасное, и вот они, оскорблённые судьбой, приходили ко мне, что-то находя для себя.

Я не имел в виду, конечно, совершенно нормальных Е.П.М...

[На этом в рукописи рассказ обрывается. — О.Е.]



Этот коротенький эпизод ранней весны 1935 года[78] интересен, собственно говоря, лишь как характеристика старых сибирских обычаев, уже и к этому времени почти ело стёршихся от наше-

[78] Примечания: 78

8 июня 1934 года И. А. Ефремов выехал из Ленинграда во главе Верхне-Чарского геолого-петрографического отряда Прибайкальской экспедиции. Экспедиция закончилась лишь весной 1935 года.

ствия огромной массы ссыльных, заключённых и просто сорванных с насиженных мест коллективизацией людей.

Мы с А. А. Арсеньевым[79] только что вышли в Могочу[80] из долгого путешествия по тайге, начавшегося ещё летом 1934 года, и поджидали возвращения наших коллекторов из отдельных маршрутов, чтобы собрать и отправить всё снаряжение, коллекции, да и самим возвращаться в Ленинград.

Однако, нас не оставляли в покое, как и в прошлом году, представители треста «Верхамурзолото». Узнав, что в Могоче находятся два классных сибирских геолога, известных и по «золотой» работе, они всячески упрашивали о консультации — то одного, то другого — из маленьких, полузаброшенных приисков, расположенных недалеко от Могочи на восток, к Амазару и дальше.

На этот раз просьба заключалась в консультации старого прииска Д-к Второй, на котором работы почти совсем остановились. Получалось так, что судьба прииска зависела от консуль-

---

[79] Примечания: 79

Арсеньев Алексей Александрович (1907-?) - геолог, петрограф экспедиции.

[80] Примечания: 80

Могоча — станция на Забайкальской железной дороге.

тации.

Арсеньев отказался наотрез. Усталый от длиннейшего зимнего маршрута, он посылал к чорту всех и вся, заявив, что, в конце концов, «Верхамурзолото» достаточно богато, чтобы выписать специального консультанта. Он был прав, но я, будучи начальником экспедиции, не мог отказаться посмотреть прииск — может быть, мне и удалось бы разгадать направление новой разведки. Арсеньев остался в Могоче составлять финансовый отчёт и подсчитать продукты для расчёта рабочих, а я выехал за сто с лишним километров на восток на специально присланной за мной лошади.

Возница оказался симпатичным словоохотливым стариком, крепкий конь бежал резво, и я, надёжно укутавшись, развалился в санях на сене. Впрочем, мартовский мороз мне вовсе не был страшен после громадного похода с низовьев Олёкмы через Чару в разгар зимы.

Мы ехали с одной остановкой допоздна, чтобы добраться за два дня по таёжной просеке. Снег уже осел, но всё ещё звонко хрустел под копытами, вечером ранняя луна освещала лес, весь в голубом серебре инея, а на рассвете длинные синие-синие тени испещряли снег между серыми

стволами осыпавшихся листвянок.

На прииске встретили меня очень радушно и хотели поместить в конторе горного десятника, но я уже договорился с дедом, что остановлюсь у него, так как у него есть вдовая дочь и внучка, которые сготовят всё что нужно, разумеется, из продуктов, выданных Союззолотом, — время для Сибири было голодноватое.

Когда я сказал об этом начальнику прииска и местному маркшейдеру, они почему-то заулыбались, охотно соглашаясь. Прииск почти совсем обезлюдел, только с десяток рабочих ещё ковырялись в шурфе в верхней части отвода, а большая часть их перешла на другую делянку в тридцати километрах через водораздел. Здесь оставались золотоскупка, управление, архив и пробирня, обслуживавшаяся тем же начальником прииска. Я с хода погрузился в документы разведок, обнаружил, как и везде, недобитые шурфы (до плотика) — вопиющую безграмотность, настолько недопустимую, что невольно приходили мысли о преднамеренности этого дела. Может быть, то было влияние всеобщей шпиономании и «охоты за ведьмами», которые усиленно воспитывались партией Сталина в то время.

Я назначил контрольную «добивку» через пять

шурфов по профилю поперёк долины и три шурфа вдоль. Если бросить на это дело всех оставшихся рабочих, то требовалось не меньше четырёх-пяти дней, особенно с подвозкой дров для пожогов, которые приходилось доставлять уже издалека — вокруг прииска на километры было всё начисто вырублено, как и на всех старых приисках.

Делать было нечего, выпивать с начальством я не горазд, охотник из меня никакой. В общем, я обосновался у гостеприимного деда, отсыпался вволю и поедал в огромном количестве пельмени и блины.

Значение таинственных улыбок управляющего и маркшейдера очень скоро разъяснилось — внучка деда, Люба, была хорошенькая дерзкая девушка, ходившая, озорно выпятив грудь, и острая на язык. Говорили, что её благосклонностью пользовались многие приезжие (за мзду, разумеется).

Я не имел никаких амурных намерений после тяжёлого таёжного пути и считал за самое приятное — наесться и спать. Очевидно, я не заслужил уважения у Любы, но зато гораздо большее у её матери, Катерины, кажется, Афанасьевны, не помню уж точно, которая, видимо, не всегда поощряла «промышленность» своей дочери.

Однако, деду моё целомудрие не нравилось — он, очевидно, и привёз инженера к себе, чтобы внучка поживилась.

Прошло три дня, и дед принялся топить баню — у них была своя собственная, а дров навезли для разведки. Я с удовольствием согласился помыться и даже попариться, так как в Могоче с мытьём было сложно — или гнусная общественная баня, или железнодорожная за четыре километра от нашего дома, и мы обходились тазами в кухне у хозяев.

Я только попросил, чтобы семейство помылось вперёд, так как боюсь очень большого жара. Я отдал своё бельё, надел дедову рубаху и выждал, пока все явились сияющие, как медные тазы, распаренные и ублажённые. Дед вымылся первым и блаженно сидел на лавке, вытянув стакашок спирта, который я заранее выпросил в золотоскупке для банного случая.

— Ну, теперь ты, инженер, не отвертишься, не мерин же ты, в самом деле! — сказал дед. — Чего зенки выкатил, пойдёшь с Любкой, она спину потрёт!

Я давно знал этот прежде очень распространённый в Сибири обычай для уважаемых гостей, родившийся, очевидно, из малого числа женщин

среди первоначального населения.

— Зачем же она пойдёт? — ответил я несколько смущённо, потому что мне не хотелось обидеть славного старика. -Я с ней не сговаривался!

— Ещё чего! Скажу — и пойдёт. А ты что ж, откажешь ей в удовольствии? Ведь не со всяким так можно, сейчас много народу порченого, больного.

— А ты почём знаешь, что я не порченый и не больной?

— Вижу. Я, знаешь, инженер, повидал тут всякого народу, ходил по тайге и в жилухе от Нерчинска до Хабарова.

Речь старика прервалась приходом обеих женщин. Люба метнула в меня особенно выразительный и обещающий взгляд.

Странное упрямство овладело мною. Мне вовсе не захотелось, чтобы меня вот так на примитивной приманке тащили за собой. Отказаться — в этом положении было невозможно, и я нашёл выход.

— Люба мне слабоватой кажется, — покраснев, сказал я, пристально взглянув на Катерину Афанасьевну, — вот если бы вы согласились...

Моё заявление потрясло всех, кроме деда.

— А что такое? Почему бы тебе, Катька, и не

попытать счастья с молодым!

Действительно, мне тогда, в двадцать восемь лет, хозяйка казалась пожилой, на самом деле ей было лет тридцать шесть, вряд ли более.

Хозяйка залилась румянцем, опустила голову, взявшись за щёки ладонями. Я впервые посмотрел на неё как на женщину. Застиранное ситцевое платье туго обтянуло её под распахнутой, едва наброшенной на плечи шубейкой. Груди, несомненно, ещё крепкие, поднялись от взволнованного дыхания, выступило сильное полулуние подтянутого живота, ещё резче подчёркивая крутые, очень широкие бёдра. Это была женщина в полном расцвете женских сил, и я против воли почувствовал, как сердце моё заколотилось.

— Ого, наш тихоша-инженер смотри как на тебя зазырился, — весело вскричал подогретый спиртом дед, — гляди-ка, даже ноздри раздувает, вот тебе и тихоня!

Катерина отняла руки от лица и посмотрела мне прямо в глаза. У неё, несомненно, была бурятская кровь в очертаниях глаз и скул, но русская яркость карих глаз с длинными ресницами. Эти глаза испытующе посмотрели в мои, и я ощутил ещё большее волнение, мускулы моего тогда

мощного тела напряглись. Катерина что-то прочитала в моём взгляде, и тёплый свет появился в её глазах.

— Глядите-ка, деда, мама-то! — ревниво вскричала Люба. — Не видывала я...

— Мало ли што ты не видывала, несмысля ещё, — оборвал её дед, — так поладили? Иль ты пошутил, инженер? Тогда плохая твоя шутка!

— Нет, не пошутил, — сразу охрипшим голосом сказал я, — если Катерина Афанасьевна согласна.

— А чего ей быть несогласной? — заторопился дед, но хозяйка остановила его жестом руки.

Она подошла ко мне, высвободила руку из-под полушубка и тихо спросила:

— Так в самом деле хочешь? Очень?

— Очень, — ответил я, смело взглянув ей в лицо, и она снова стала заливаться краской.

— Хорошо, тогда иди в баню, дедко проводит. А я приду, может быть, — сказала она в ответ на мой недоумённый взгляд.

Мне осталось покориться. Я ещё раз посмотрел на неё. увидел жаркий румянец на высоких скулах и стал надевать полушубок. Через минуту я вышел на мороз и в ночь. Баня была близко и оказалась на удивление просторной, даже с

предбанником, что редкость в простых сибирских банях, рассчитанных на мороз и экономию тепла.

С трудом оторвав забухшую дверь, я вошёл в сухое тепло, сбросил валенки и, ступая по ледышкам в щелях пола, разделся на лавке. Дед повесил какую-то коптилку в парильном «отсеке», едва мерцавшую сквозь влажный и тёплый воздух, показал, где поддавать, где свежий распаренный веник, оглядел меня, пробурчав:

— А ты, инженер, ладный, — и ушёл, громко стукнув дверью.

Оставшись один, я принялся с наслаждением мыться, не рискуя особенно поддавать, а лишь время от времени выплёскивал ковш на камни для тепла. Прогулка по морозу охладила меня, и я решил, что хозяйка не придёт. К чувству облегчения, что я избавился от Любы и, очевидно, вообще избежал амурного приключения, к которому, как и вообще к случайным мимолётностям, я не был никогда склонен, примешивалось сожаление.

Всё же молодость брала своё, а я был молод и здоров и находился в тайге с середины прошлого года, уже около девяти месяцев. Внезапный ток влечения, замкнувшийся между мной и Катериной, сделал своё, и, когда я услышал стук двери,

сердце забилось неистово. Правда, это мог быть дед, но нет, тот вошёл бы прямо из предбанника сюда, а тот... та, что пришла, явно раздевалась. А может быть, это всё же упрямая Люба?

Я снял с гвоздика мохнатое полотенце и обернул его вокруг бёдер.

Бесшумно открылась дверь из предбанника, и я увидел Катерину Афанасьевну в белой, складками, рубахе ниже колен. Она закрыла дверь и остановилась, прижавшись спиной к ней. Даже в ничтожном свете коптилки я увидел, как бурно дышит её грудь, и вспомнил, что по дороге в баню дед говорил мне:

— Как это тебе повело сговорить Катьку мою? Она уж и не упомню сколько никому не давала, разве тайно от меня, и вообще не поблядок, как Любка выдалась.

Действительно, волнение хозяйки были непритворно и выдавало не слишком большую практику встреч с сильным полом.

— Ну что ж, Иван, назову уж тебя без батюшки, давай потру тебе спину. Вертайся спиной да сбрось полотенце-то!

— А ты — рубаху, — полушёпотом от волнения сказал я.

— Нет, нельзя, что ты! Ну вот, где у тебя шай-

ка-то, я веник помочу, да помылю... ох и спина широченная, только худоват малость, не в теле. И нельзя быть в теле после этакого путешествия, — продолжала она, — да нет, смотри, тело-то как железное... — шёпотом закончила она, начиная тереть душистым веником мне спину и поясницу.

Я стоял, соблюдая незнакомый, но подозреваемый этикет. После того как Катерина смыла в третий раз мыло, я сказал:

— Ну, спасибо, хозяюшка, Катеринушка.

— Ишь ты, как меня назвал-то, — и она ласково провела обеими руками по спине и вдруг крепко прижалась ко мне сзади.

Я повернулся, и не успела Катерина отступить, как я обнял её за талию и привлёк к себе. Попытка отстраниться ни к чему не привела — я держал её железной хваткой, и она вздохнула с лёгким стоном, запрокидывая голову с тяжёлыми, ещё влажными волосами и отвечая на мой крепкий поцелуй.

Соски её грудей стали твёрдыми и торчали сквозь полотно рубахи, а рука обвилась вокруг моей шеи. Другая, опущенная вдоль тела, нашла мой неистово вставший член, сдавила его, и тут колени её подкосились. Я поднял её на руки и

положил на широкую нижнюю полку, обнажая бёдра. Случайно полка оказалась удивительно удобной для меня по высоте, и я, стоя между раскрывшихся ног Катерины, глубоко вонзил свой линга в её сравнительно маленькую по мощному её телу йони.

Она громко вскрикнула, но вдруг замерла, отталкивая меня ногами.

— У тебя есть... эти... — спросила она, задыхаясь.

— Нет! — ответил я, поняв, — но не бойся, я умею.

— Как?

— В тебе не кончу, только придётся тебе вытирать пузик.

Её рассмешило слово «пузик», и, счастливо смеясь, она свободно «пошла» мне навстречу. Я выполнил своё обещание, и едва кончился первый раз, сразу начался второй. Желания накопилось в тайге много.

— У тебя уж очень много... этого, как у быка племенного, — тяжело дыша, сказала Катерина.

Мне это сравнение не совсем понравилось, и я решил «отомстить». Рубашка и так была у Катерины под шеей, я просунул руку и неожиданно снял её совсем. Оставшись вовсе нагой, Катерина

не застеснялась, как я ожидал, а почувствовала себя ещё свободнее. Но я поднял её ноги себе на плечи и прижал членом до конца.

- Ах, ах, ах! — троекратно вскрикнула она, пытаясь овладеть инициативой, но ничего не могла сделать и продолжала вскрикивать и стонать, пока я, на этот раз очень долго, мучил её.

Она кончила раз, но у меня всё продолжалось, она загорелась снова, и пришлось ей продолжать порывисто раскачивать широким задом, пока я, обняв её бёдра перед своей грудью, нещадно мял и ласкал её хорошие крепкие груди, широкие и тесно посаженные, как раз какие мне всегда нравились больше всего.

Потом она вытянулась на лавке, прикрывшись рубашкой, и застенчиво спросила:

— Довольно? Хорошо ли тебе было?

— Очень хорошо, даже слишком хорошо, чтобы я отпустил тебя.

— Как, ты хочешь ещё сейчас? — с неподдельным удивлением спросила хозяйка.

— И сейчас, и потом, - заявил я, видя в этой сильной женщине отличную партнёршу, и даже менее требователь-ную, чем я ожидал сначала, глядя на её мощное женское тело, — я хочу вас и после бани.

— Какой ты... — тихо засмеялась Катерина, — только что мял, как хотел, совсем голую бесстыдницу, и на вы называешь. Или у вас в России так?

— Не в России, а у кого как. Кто возьмёт женщину и потом считает себя вправе делать любую грубость, а я, если уж Целую женщину, так чем больше целую, тем больше уважаю.

Катерина помолчала, потом отбросила рубашку и отдалась мне с ещё большим желанием.

Когда мы пришли в дом, то были встречены недоброжелательным восклицанием Любы:

— Ну и долгонько же вы мылись! Али инженер больно грязен оказался?

Катерина вспыхнула, а я как-то парировал ее шпильку. Мы уселись за стол, выпили спирта с дедом, наелись пельменей. После ужина Люба вскочила и сказала:

— Я пойду к Саньке, может, там и заночую, — и посмотрела на мать сузившимися глазами.

— Заночуй, что ж, время позднее, — спокойно ответила уже оправившаяся от смущения хозяйка.

Девчонка убежала, хлопнув дверью, дед полез за печку, а Катерина постелила мне в своём закутке за дощатой перегородкой, где они спали

вместе с Любой, пока я помещался в передней «горнице». Мы улеглись на широкую дощатую кровать, и Катерина погасила лампу.

Я заставил её снова снять рубашку, и последовала длинная ночь, наполненная страстью. Если я накопил её много, давно уже был без женщины, то, очевидно, то же самое было у Катерины. Она крепилась, чтобы не разбудить деда яростным скрипом деревянной постели, вскриками и поцелуями, но дед, очевидно, всё же проснулся и выкурил, кашляя, пару самокруток.

Я научил Катерину отдаваться лёжа на подушке и на животе, исцеловал, испятнав, всю её гладкую, белую, без всяких волосков, как у всякой хорошей русской женщины, кожу, измял, и оба мы, умученные, крепко уснули.

Утром меня рано разбудили посланные от маркшейдера -в двух шурфах поперечной линии, вставших на гранитную дресву, оказалась золото, ещё не в промышленной концентрации, но в количестве, подающем большие надежды. Я ещё раз просмотрел профиль, увидел, что плотик в долевых шурфах, по-видимому, очень глубок для разведки наспех, и назначил ещё два шурфа в поперечной линии. Забегая вперёд, скажу, что они нащупали ответвление древнего русла речки

и дали золото, не слишком много, но всё же окупили и затраты на разведку, и мои скороспелые усилия.

Я работал в конторе и на разведке до вечера, а перед глазами нет-нет да появлялись безупречно гладкие, чистые и стройные ноги с широкими икрами и тонкими щиколотками, обнимавшие меня так беззаветно в бане и всю ночь. Вконец усталый, я пришёл домой, поел, завалился спать и проснулся лишь поздним вечером. Люба с матерью улеглись на моём месте. Встав, напившись и покурив, я снова улёгся и тихонько позвал Катерину. После нескольких минут приглушённого шёпота между Любой и матерью Катерина явилась ко мне и нырнула под гостеприимно откинутое одеяло. Я сразу же в нетерпении принялся снимать рубашку, но Катерина стала удерживать меня, шепча, что Люба тут.

— А если бы на твоём месте была Люба, — спросил я, — разве она стала бы стесняться? Бывало так?

После некоторого колебания Катерина покорилась, а уже после второго раза вертелась и вскрикивала так же, как и в прошлую ночь. Время было уже близко к утру, когда во время какого-то более громкого стона Катерины вдруг раздался

злой голос Любы:

— Слушай, мать, тебя уже прут в восьмой раз, как тебе не стыдно!

— А ты что считаешь, скверная девчонка, — сердито сказал я.

Катерина неожиданно фыркнула и продолжала смеяться, уткнувшись в моё плечо. Воцарилось молчание. Немного погодя Люба встала и принялась возиться, негромко переговариваясь с дедом. Катерина сладко потянулась.

— Ох, всё тело болит, будто черти на мне ездили...

— Как ты сказала, — воскликнул я, — вот так спасибо!

Катерина принялась смеяться пуще прежнего.

— Ну и сказанула я! Дак ведь взаправду ездил ты на мне без милосердия! Издержалась вся я, руки-ноги болят, поясницу ломит.

— Так ведь не восемь же раз, наврала девчонка.

— А я посчитала тоже. Ошиблась Любка — семь, — погромче закончила она, — ну и пусть будет, сколько она сказала! — и Катерина звучно поцеловала меня, смело, не по-простому, закидывая ногу на мою поясницу.

Её гладкие бёдра с твёрдыми мышцами были

столь широки, что, обнимая меня, образовали круг, горячий, сильный, обладавший магической силой желания, и я загорелся им, но распухшая йони с трудом уступила мне.

Катерина вскрикнула:

— Ой, стало совсем туго! Что это, вроде я и не баба! Всё горит, отвыкла я, наверное... ох!

Но тут я преодолел тугое кольцо, и она вскинула ноги, подставляя груди выгибом стана. Сквозь туман желания я смутно услышал хлопок двери...

Потом мы уснули, а когда я встал, то хозяйка уже накрыла стол к завтраку с неизменными «блинками», густо политыми отличным «союззолотовским» алтайским маслом.

Дед уехал по каким-то делам, а когда я пришёл в контору и меня поздравили с «золотишком», то маркшейдер спросил вдруг:

— Ты что же это, инженер, или чем Любку обидел, что она уехала в Могочу на неделю?

— Ничем я не обижал! — энергично возразил я, и тогда маркшейдер решительно заключил:

— Значит, ты ей не показался!

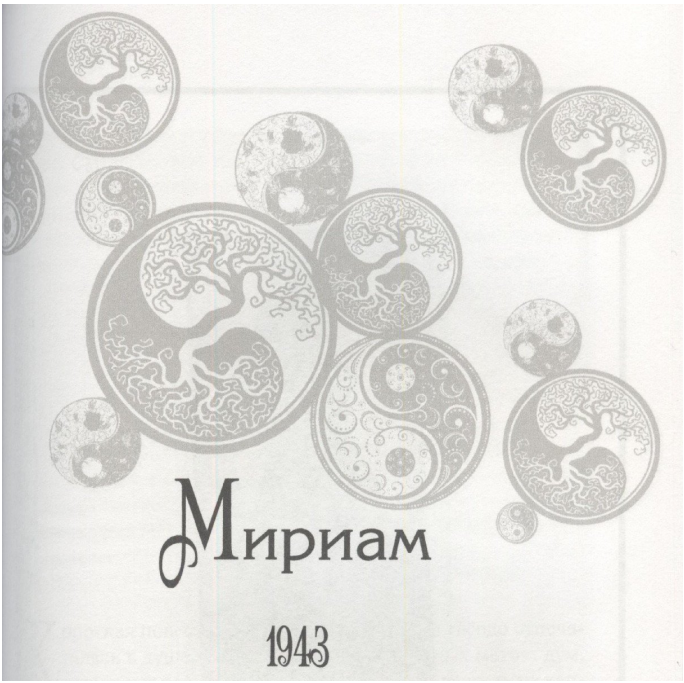
— Значит, не показался, — согласился я.

А ещё через два дня Катерина пошла провожать меня вечером, так как мы с дедом выехали в ночь — я и так запоздал на два дня против положенно-

го времени, и из-за отсутствия связи Арсеньев мог приехать на поиски. Катерина долго целовала всё моё лицо, крестила меня и шептала сквозь слёзы:

— Сладкий мой! милый мой! Никогда раньше не мыслила, что это дело может быть таким... — она помедлила в поисках слов, — ясным и горячим, будто в огне горишь и не сгораешь, а чище делаешься.

Эти прекрасные слова простой русской женщины я запомнил навсегда.


Мириам
1943



Мириам Нургалиева – почти портрет
(только две длинные косы до подколенок)

Короткая повесть о Мириам Нургалиевой твёрдо отпечаталась в душе поверх множества памятных меток, дум, тягостных воспоминаний и нежных или радостных картин прошлого.

1943 год. Фрунзе[81], куда я прибыл после тяжёлой болезни и был вскоре назначен членом тройки по реэвакуации Биологического отделения Академии Наук. Августовские знойные дни и прохладные ночи, длинные улицы, покрытые мягкой светлой среднеазиатской пылью, улицы, путь по которым сопровождает непременное журчание узких арыков и резкая тень высоких тополей.

Было хорошо поздними вечерами возвращаться домой после обхода разбросанных по всему городу «точек» — возвращаемых в Москву лабораторий или шагать через огромный, заросший колючками пустырь из находившейся за тридевять земель столовой. Хорошо потому, что прохладный ветерок со снеговых гор обвевает тело сквозь лёгкую полотняную одежду, и всё сильнее чувствуешь, как растут в теле мощь и удаль ещё не прожитой молодости, возвращается весёлая беспечность и то особенное, восхити-

---

[81] Примечания: 81
Фрунзе — город, ныне — Бишкек, столица Киргизии.

тельное ощущение, которое свойственно только юности или более зрелым романтикам, обладающим достаточным запасом здоровья и энергии, — ощущение, что за каждым поворотом дороги, за углом дома вот-вот встретится что-то совершенно особенное, ещё никогда не изведанное, полное новой и невиданной прелести.

Сумерки ещё не спустились на город, и был тот час, о котором пишет Паустовский[82] и говорит, что японцы называют его хораи — час, когда исчезают резкие тени, но ещё не угасает свет, хотя блекнут и насыщаются особенной серебристостью все краски, но в то же время всё становится каким-то необычайно отчётливым, а бескрасочность и «бестенность» света придают всему окружающему какой-то неведомый в наших северных местах короткий и глубокий покой.

Впереди меня шла девушка в белом платье, легко перескакивая через канавки — отводы арыков в пробитые в стенах заборов дыры для поливки садов. Длинная улица, обрамлённая

---

[82] Примечания: 82

К. Г. Паустовский в романе «Романтики» (1923) писал: «Вечер:' в Севастополе — это “хораи”. Слово это Винклер услышал от знакомого моряка-подводника, и оно ему очень понравилось. По-японски “хораи” — это те несколько минут, когда день ушёл, а ночь ещё не началась, когда всё до сердцевины пропитано последним светом дня и вместе с тем уже наливается густой голубизною ночи. Бывает такая ткань, она отливает двумя красками — золотой и синей».

глинобитными дувалами, была пуста и тиха. Моё внимание невольно сосредоточилось на девушке, и тотчас я увидел её великолепное сложение — высокую, открытую низко шею, прямые, но не широкие плечи, очень тонкую талию, перехваченную узким ременным поясом, очень широкие и крутые, удивительно красиво очерченные бёдра, стройные загорелые голые ноги в запылённых серых сандалетах. Голова была ничем не покрыта — только массой густых и вьющихся чёрных волос, в беспорядке обрамлявших виски и прикрывавших ухо, видное мне в четверть оборота. Сзади и по темени волосы разделялись на прямой пробор и были заплетены в две длинные косы, достигавшие своими разлохматившимися концами почти до подколенок.

Я всегда любил женские волосы и не удержался от громкого восхищённого восклицания:

— Вот это косы!

Чуть-чуть обернувшись, но глядя вперёд, не на меня, девушка (очевидно — молодая женщина) спокойно ответила:

— Разве это косы! Значит, вы не видели настоящих кос!

— Может быть, не видел, — ответил я, ускоряя шаг, чтобы догнать незнакомку, — но те, которые

вижу, — для меня — просто прелестны! Как и вы сами!

— Так уж уверены, — насмешка зазвучала в реплике девушки, — смотрите, не спешите признаваться, не разглядев! Иначе потом будет стыдно!

— Не будет, — с великолепной уверенностью настаивал я, — достаточно я видел. И не ошибаюсь... потому что я знаю женщин! Я бы гордился знакомством с вами.

— Если так, смотрите, — девушка вдруг остановилась так резко, что я чуть не налетел на неё, и повернулась лицом ко мне.

Я увидел большие серые, казавшиеся особенно прозрачными под чёрными, как уголь, бровями и чёрными волосами, глаза, смотревшие на меня пытливо, внимательно и, как мне показалось, с тревогой. Круглое лицо, правильный короткий нос, твёрдый, хорошо очерченный профиль, чуть заметные монгольские черты в скулах и в разрезе глаз, но не губ, изогнутых капризно, по-европейски.

И всё это было бы вполне красивым и соответствовало бы всему облику девушки, если бы не множество глубоких ямок и шрамиков от оспы, покрывавших всё лицо и совершенно снимав-

ших красоту обличья, более того, даже исподволь огрублявших лицо, придавая ему простое и неизящное выражение. Теперь я всё понял, и её тревогу тоже. Но для меня красота тела имеет такое важное значение, настолько важнее красоты одного лица, что это испорченное оспой лицо не разрушило возникшего очарования!

Ясные серые глаза старались прочитать мои скрытые чувства, а я и не старался лицемерить. Необыкновенная притягательность незнакомки, ощущение редкой живости её души, великолепная её фигура — всё это было куда как сильнее красивого лица, какие не так уж редки — мы часто их пропускаем, оставляя без внимания именно потому, что они не оживлены подлинной силой чувств.

Лёгкая тень улыбки скользнула во взгляде девушки, и она переступила, готовая повернуться.

— Не уходите, прошу вас, — горячо взмолился я, — раньше, чем мы познакомимся!

И я назвал себя. Девушка вдруг решительным движением подала мне руку, назвавшись Мириам Нургалиевой. Я взял её за тонкое запястье и, быстро поднеся к губам, крепко поцеловал. На две-три секунды рука девушки сжала мою, потом Мириам освободилась. Я пошёл с ней рядом в

угасавшем дневном свете, говоря о себе, когда вдруг она встала как вкопанная.

— Я знаю, видела вас в Академии Наук, — она подразумевала помещение Фрунзенского Пединститута, временно отданное под институты Академии и под организующийся Киргизский филиал.

— Вы там работаете?

— О, нет! Но дальше вы со мной не идите. До свиданья! — и снова её сильная рука протянулась ко мне, и снова я поцеловал её.

— Мириам, мы увидимся? Когда? — и на её предложение встретиться в субботу, то есть почти через неделю, возмущённо воскликнул: — Завтра!

— Пусть завтра, — внезапно уступила Мириам, и мы сговорились встретиться под большим карагачем (есть на улицах Фрунзе такой исполинский тысячелетний карагач с невероятно широкой кроной и густой тенью под ним) в самый жаркий час дня.

И я увидел её снова в том же безупречно белом платье, с так же по-девичьи заплетёнными косами. И мы стояли долго в почти чёрной от контраста тени и говорили, а вокруг слепящий знойный день разогнал всё живое по домам и

победно затоплял улицы, дыша жаром от глинобитных стен и жёсткой, как цемент, пыльной дороги.

Потом Мириам распрощалась со мной и медленно пошла, чуть опустив голову и не оглядываясь... до следующей встречи.

Мои расспросы в естественном желании узнать побольше о так сильно привлекавшей меня девушке были безрезультатны. Мириам, слабо улыбаясь, отвечала, что всё это не имеет никакого значения, так как ничем важным, особенным или красивым она не занимается в жизни, а если так, то не всё ли равно, уборщица она, архитектор или маленькая артистка — это не имеет отношения и не накладывает никакой печати на наше знакомство.

Удивлённый и в то же время как-то очарованный странным взглядом на жизнь, я прекратил расспросы, а также перестал интересоваться, замужем ли она, после того, как на этот вопрос она ответила «я — женщина» и категорически ограничилась двумя этими словами. Но мы встретились под карагачем ещё раз — ещё одно странное свиданье в самые знойные часы дня, в затихшем под ослепительным солнцем городе.

Я издалека смотрел из тени, как приближалась

Мириам — она теперь шла без грусти, как в расставание позапрошлого дня, а высоко подняв голову, стройная и прямая. Её походка с первого же момента показалась мне особенной — лишь много лет спустя я узнал, что так обучают ходить в Европе киноартисток и моделей ателье — ставя вытянутую прямо ногу на пальцы, так, что ступня поворачивается при последующем шаге носком наружу и лишь после этого опускается на высокий каблук.

Эта походка красива лишь у женщин с очень правильным сложением, так как у других будут слишком вертеться бёдра с неприятно вызывающим оттенком.

Широкие бёдра Мириам слегка раскачивались на ходу, в сочетании с постановкой ног говоря понимающему взгляду о большом достоинстве женского сложения, очень интимном.

Разглядывая Мириам под ярким солнцем, в сегодняшнем её платье, тоже белом, я заметил, что она не носит лифчика, и, действительно, он ей совершенно не нужен. Лишь очень зоркий взгляд (или любящий) мог заметить, как чуть-чуть просвечивают сквозь плотную ткань платья тёмные соски её крепких девических грудей.

Сколько лет было Мириам? Я не задал ей этого

вопроса, а на вид девушке можно было дать года двадцать два — двадцать три, но потом я решил, что ей было больше.

Мириам подходила ко мне, вся пронизанная золотым ореолом солнечного света. Руки нервно прижимали к боку маленькую сумку простой кожи, на изрытом мелкими оспинками лице блестели жемчужинки пота, а прозрачные серые глаза светились огневыми искорками радости и беспечной силы. Мне уже нравились эти свидания в знойные часы полудня, но сегодня я сообщил Мириам, что буду занят четыре-пять дней напролёт, без единого свободного часа. Мириам сжала мои руки, державшие её ладони, и дыхание её участилось.

— Значит, скоро? — спросила она.

— Что скоро? — не понял я.

— Отъезд Академии!

— Да, осталось немного, самое большое недели на две.

Пристально глядя на меня, девушка молчала. Я потянул её к себе, чтобы поцеловать, и впервые она не освободилась, как раньше, ловким поворотом сильного тела. Её губы дрогнули, встретившись с моими, глаза закрылись, и она рванулась резко, почти ожесточенно. Но тут уж я

держал крепко, и при достаточной силе руки мои становились железными.

Я только почувствовал, как напряглось и стало твёрдым все её тело, как углубилась бороздка вдоль спины и выступили мускулы.

Губы Мириам раскрылись и прильнули к моим, кончики твёрдых грудей упёрлись в мою грудь сквозь тонкую одежду. Девушка вздрогнула, застонала почти с отчаянием и, отодвинувшись от меня грудью, крепко прижалась животом и бёдрами. Её руки то притягивали мою шею, то выпрямлялись, отталкивая меня.

И вдруг она вся тесно слилась со мной, а язык меж полу-раскрывшихся губ коснулся моего. Это было так неожиданно после твёрдой неуступчивости Мириам на нескольких свиданиях, что я даже на секунду ослабил руки, и в новой попытке сопротивления девушка освободилась. Грудь её вздымалась, резко обозначая напрягшиеся соски, широко раскрытые глаза смотрели на меня, как мне показалось, с испугом или даже ужасом.

— Какая вы... особенная, — глуповато пробормотал я, опять завладевая её руками и искоса оглядывая направо и налево пыльную улицу.

— Вы можете освободиться на целый день? — задыхаясь, спросила девушка.

— Почему день, а не вечер или ночь, Мириам?

— Так надо!

И я согласился освободить завтрашний день под предлогом поездки на станцию Пишпек.

И мы уговорились встретиться в верхней (к горам) части города, в известном нам обоим месте у головного арыка.

Далёкие снежные горы ещё не освободили свои подножия от голубой пелены сумерек, а я уже сидел на больших камнях, смотря, как быстро укорачивались ещё длинные тени пирамидальных тополей — могучих деревьев, в два ряда огораживавших головной арык — главную водную артерию города. Сильный поток здесь уже не издавал мелодичного журчания, а глухо шумел, стремительно мчась по крупной гальке на другой конец города.

Меня всегда гипнотизирует быстро текущая вода, и я очнулся только тогда, когда почувствовал на себе взгляд Мириам. Она не изменила белому цвету и своим открытым сандалетам на высоком каблуке, только на голове красовалась яркая, с пёстрым кашгарским шитьём, тюбетейка. Девушка присела рядом и, погрузив руку в холодную мутноватую воду, приложила мокрую ладонь к горячему лбу.

Я хотел поцеловать её, но она, как ни в чём не бывало, легко вскочила на ноги и предложила итти. Мы направились за пределы города через маленькие посадки кукурузы, сделанные в это голодное время повсюду, куда только могла достичь вода. Все эти индивидуальные маленькие огороды были уже убраны, и здесь царствовало полное безлюдье и тишина, нарушавшаяся лишь звонким шелестом ветра по иссохшим кукурузным стеблям.

Мы шли по узким тропкам между зарослями, поворачивая то направо, то налево, и почти не разговаривали. Молчание и торжественная сосредоточенность Мириам как-то обескуражили меня. Как я понимал, мы шли куда-то, где могли быть свободными и спокойными, в какой-то дом или убежище, но почти хмурая серьёзность девушки, лишённая какого-либо кокетства или веселья, противоречили пути влюблённых.

На секунду я подумал даже, что я очень мало знаю Мириам, вернее, совсем не знаю, но сразу же посмеялся сам над собой в душе. Взять с меня, кроме парусиновых брюк и защитной рубашки, было совсем нечего, а находившаяся в кармане сотня рублей в тогдашнее военное время не представляла интереса даже для карманника.

Слева начался большой арык с деревьями вдоль него, и мы вышли из зарослей остатков кукурузы к небольшому холмику, на котором, совсем спрятавшись за высокими колючими кустами джиды, находился небольшой глинобитный домик. Сердце моё заколотилось — я понял, что мы пришли. Мириам, оглянувшись, быстро повлекла меня за руку сквозь проход в кустах, обежала строение и вернулась с ключом.

Я с усилием отпер старый замок, и мы оказались в тёмных сенцах с глинобитным полом и двумя ступеньками, ведшими ко второй двери во внутреннюю комнату.

— Запри дверь ключом изнутри, — сказала девушка почему-то шёпотом, — и подожди меня здесь, пока я не позову.

Голос Мириам дрогнул, и она скрылась за второй дверью. Я остался в темноте, едва сдерживая своё нетерпение, но ожидание не было долгим.

— Я готова, милый, — глухо прозвучал зов Мириам из-за двери, — входи, только... Только — сними с себя всё, совсем всё, там.

То, как это было сказано, развеяло малейшие оттенки сомнений и опасений, так часто звучащие в делах любви. Сбросить с себя всю одежду было делом пяти секунд, и я поднялся вовнутрь

домика. Мои глаза привыкли к темноте сеней, и потому слабый рассеянный свет из щелей между потолком и крышей да несколько тонких золотых лучиков из запертых ветхих ставень показались мне яркими. Мириам, совершенно нагая, стояла посредине маленькой комнаты, прикрыв руками глаза.

Не сразу дошла до меня великолепная красота её тела, которое, будучи обнажённым до последней морщинки, не только ничего не утратило из влекущей таинственности красивых линий под тонким платьем, но, как это бывает лишь в очень редких случаях, получило ослепительное подтверждение. Подтверждение всем смутным догадкам мужчины, смотрящего на свою будущую возлюбленную совсем одетую и лишь в соответствии со своим опытом, интуицией и вкусом угадывающего красоту.

Помню, сначала меня поразил странный контраст между загорелыми ногами и руками и белизной её гладкой, даже, может быть, слишком гладкой для такой белизны кожи. Казалось, она была одета в чулки цвета загара, заходившие выше колен, и в старинные перчатки до плеча. Кожа была белой даже для рыжеволосой, а не то что для такой яркой брюнетки, какой была Ми-

риам. Никакого пушка или волосков не было на этом теле статуи. Волосы на лобке были удалены по обычаю мусульманок, и губы её очень высоко расположенной йони были обнажены в одновременно вызывающей готовности и какой-то детскости.

Её фигура была совершенно критской — осиная талия, мощные бёдра и сильные полушаровидные груди — идеал женской зрелой красоты. Плотно сомкнутые бёдра не имели никакого просвета и очерчивали удивительно красивую линию, точно надутые крепким ветром паруса. Спереди бёдра тоже были выпуклыми, отчего треугольник богини казался углублённым, переходя в продольную бороздку плоского, мускулистого, как у танцовщицы, живота.

Мириам, стоявшая, замерев, точно живая статуя, навсегда врезалась в мою фотографическую память, благодаря которой я помню каждый поворот когда-либо проеханной дороги, все пейзажи и, уж конечно, в абсолютной точности тела и лица любимых женщин — тех, с кем было незаурядное чувство.

Странное сходство было между Мириам и Людой, хотя, казалось бы, они резко отличались друг от друга.

Чёрные волосы и ослепительно белая кожа Мириам, её точно полусферические тесно и высоко посаженные груди с поднятыми вверх тугими сосками, наконец, её высокое расположение йони (высоко ценящийся королёк). Я знаю, что обращённые вверх соски грудей тоже очень ценились в гаремах Востока и в древней Элладе, но почему — так и не смог узнать.

Пепельно-золотистые волосы Люды, её низко посаженные груди, как широкие конусы с прямо-торчащими вперёд сосками, кожа с красновато-золотистым загаром, нежные рыжие волосы на треугольнике, её далеко отставленная назад йони, которой она несколько стыдилась.

И у обеих — безупречно гладкая кожа, без всяких волос, кроме «положенных» мест, густейшие волосы, чуть завивавшиеся (длинные у Мириам, стриженые у Люды), тесно сближенные груди, осиные талии у обеих, сильные и стройные ноги у обеих, крутые бёдра и круглые зады, блестящие, яркие глаза, круглые, твёрдые подбородки.

И ещё чем обе очень походили друг на друга — это сильная выпуклость бёдер спереди, благодаря чему треугольник лобка не выдавался над ними, а казался утопленным между бёдрами, несмотря на обладавшие сильными мускулами животы.

Обе женщины одинаково отличались от Тамары большей одухотворённостью своих лиц и тел, как бы отражавших какой-то утончённый облик служительниц Афродиты, хотя и излучавших большую чувственную силу.

Тело Тамары, хотя и не менее прекрасное и скульптурное, но более массивное и мускулистое, было полно могучей анимальной силы. Тамара вызывала ярое желание и слепое восхищение, а нагота Мириам и Люды требовала ещё и поклонения, обещая нечто высокое.

Всё это, конечно, пришло мне в голову много позднее, лишь по памятному слепку обнажённой Мириам, разумеется, не в тот момент, когда я с бешено бьющимся сердцем любовался ею и в то же время сбрасывал свою лёгкую и простую в жаркой Киргизии одежду.

Был вызов, и была победа в этом прекрасном теле, и я замер от восхищения, в то время как Мириам стояла, закрыв ладонями лицо. Внезапно она отняла руки и прочитала на моём лице ответ, какой был ей нужен, — глаза засияли гордостью — настоящие серые озёра. Грудь поднялась ещё выше в нетерпеливом вздохе.

Мириам заложила свои косы чёрным венцом, и теперь её голова запрокинулась назад, словно под

их тяжестью. Одним прыжком я оказался подле неё и схватил её за талию, но Мириам повернулась ко мне спиной, прижавшись внезапно и крепко. Её руки обняли мою шею, голова легла на плечо, губы искали мои губы, а гладкий зад тесно прильнул к моим бёдрам. Всё её тело казалось удивительно упругим и точно отполированным и прохладным, за исключением горевших в огне губ и сосков. Её зад стал совершать вращательные движения, скользя по моему уже до предела напряжённо члену, а груди отвечали этому порывистыми движениями в моих ладонях. Неиспытанная яростная страсть поднялась во мне. Я поднял Мириам на руки и опустил на широкие нары у стены, покрытые ковром и застеленные пёстрым ватным одеялом.

Она запрокинула голову, чтобы подставить мне полураскрытые губы, и с осторожной нежностью обняла мою голову руками, целуя меня один, другой, третий раз. Я положил руки на её твёрдые, точно ядра, груди. Они были будто действительно сделаны из отполированной слоновой кости Мириам вздохнула полувздохом-полустоном, но никакой торопливости, столь свойственной женщинам, называющимися «темпераментными» («скорей, скорей, лишь бы избавиться от мучения

страсти»), не проявила. Она, как и некогда Люда, служила страсти гордо, с глубоким достоинством. Медленны и плавны, почти торжественны, как у богини, были её движения, когда я стал целовать её груди, сдавливая соски зубами, и каждая мышца её очень развитого тела отзывалась на мой поцелуй и ласку, как у арабской танцовщицы на удар барабана.

Она внезапно согнулась кольцом, закинув ноги мне на спину, и как-то сумела подставить мне для поцелуя свою высокую йони. Я не замедлил с крепким поцелуем, и, будто выполнив некое испытание, Мириам мгновенно извернулась, и я оказался с ней рядом на ложе. Медленно раскрылись её колени, а руки так и остались закинутыми назад-отдавая всё тело в полную мою власть. Так же медленно-подчиняясь торжественной серьёзности девушки, я стал сильнее и глубже входить в неё.

Дыхание Мириам прервалось, она крепко обвила меня ногами, вздымая свои груди и прикусывая нижнюю губу. Она замерла, напрягшись струной, а член входил всё глубже -видимо, она не ожидала его длины.

— Ах! — вдруг громко вскрикнула Мириам, — ах! — и её неподвижность сменилась ритмиче-

ским движением на спине, девушка извивалась, точно ползущая змея, сильно и сосредоточенно, изредка вскрикивая глубоким грудным голосом. Её серьёзное, похожее на служение некому божеству чувство захватило и меня.

Второй раз, который длился гораздо дольше, я, охваченный всё более сильным желанием, действовал сильнее, с нарастающей скоростью, и Мириам, словно попав на раскалённый кол, вертелась, извивалась, выгибалась дугой, оглашая низкую пустую комнату стонами и нежными криками.

И снова наступал экстаз, и снова Мириам вся откидывалась назад и выгибалась, отдаваясь вся до последней частицы тела, и её нежные полувскрики-полустоны звучали всё чаще после первоначальной молчаливой сосредоточенности.

Странное ощущение особенной благодарности переполняло меня. Я целовал Мириам всю, от пальцев ног до маленьких ушей, старательно пересчитывал губами все некрасивые щербинки на пылающем лице. Час за часом всё теснее становилась наша почти немыслимая близость. Никакого стыда, всё абсолютно открыто и ясно, всё можно — таким ощущением любви и страсти,

наверное, обладали олимпийские боги Эллады.

Единственно, чего почему-то очень стыдилась девушка, — когда в моменты самой горячей страсти губы её туго сжимавшей меня йони при движении издавали звуки поцелуев. В полузабвении Мириам прикрывала глаза тыльной бороной ладони и твердила:

— Ой, как стыдно, стыдно!., как стыдно!

Мы не заметили, как кончился день, наступила тёплая и звёздная южная ночь. У меня было ощущение, точно я стал невесомым, — так легко и прозрачно было чувство тела.

Вконец измученная Мириам тихо лежала, касаясь то губа-ми, то кончиками ресниц моего голого плеча, изредка шепча.

- Я не знала, я не знала...

- Что ты не знала, дорогая? — спросил я.

- Что может так быть... что я смогу точно лететь над всем миром и — до звёзд.

Я начал задавать обязательные вопросы, которые теперь, после такой близости, стали неизбежными и для девушки. Я узнал, что Мириам — дочь таджички и русского (вот откуда эта белая кожа, эти точёные формы, эти серые глаза — от древнейшего арийского корня!). Отец был убит, а Мириам ещё маленькой удочерена новым

мужем своей матери — узбекским татарином. Что ещё в детстве она была красивой, а потом вдруг заболела оспой, и всё погибло! Тогда одна старая женщина, когда-то бывшая при дворе эмира бухарского, взялась за «воспитание» Мириам. Она говорила девушке, что тело её — божественно (с чем я не мог не согласиться!), но красота лица невозвратно испорчена. Поэтому единственное, с чем она может иметь успех в жизни, — это её тело и страсть. Значит, она должна постигнуть древнюю науку страсти, которую знала старуха, и она обучала её — как -я уж не решился спросить.

Старая женщина часто повторяла, что Мириам создана для любви, но несчастье с болезнью теперь изменило её судьбу, и, не имея красивого лица, она должна в совершенстве владеть искусством страсти, чтобы властью тела победить и накрепко привязать к себе мужчину. И юная девушка, почти девочка, но уже с горячей кровью, верила ей и слушалась во всём.

— И что, как удалось победить и привязать? — неловко и ревниво спросил я.

Неожиданно Мириам разрыдалась так, что я оторопел и принялся как мог утешать свою нагую возлюбленную. Она так и не сказала мне ничего, но чутьём, не имея возможности даже опреде-

лить свои чувства, я понял.

Если, с одной стороны, девушка казалась сильной, щедрой и властной в своей огненной страсти, то с другой, она была очень чувствительна и очень легко ранима как раз в наиболее беззаветные мгновения полной и беззащитной открытости всего её существа — и души, и тела. Ярко, так. как это может подсказать лишь сильная ревность, я представил Мириам такую, как я теперь знал её, в объятиях любого негодяя — холодного циника, себялюбивого развратника или просто слабого человека. Пришло понимание всей трудности её пути через жизнь — такого пути, и огромная бесконечная нежность заставила сжаться моё горло. Я принялся покрывать её всю поцелуями, чтобы успокоить и отвлечь от чего-то безрадостного, чего я не знал, да и не хотел знать.

И снова в нищенском домике, затерявшемся среди зарослей собранной кукурузы, раздались её нежные стоны. На этот раз движения её тела не были порывисты и быстры. Медленно, с совершенно закрытыми глазами, Мириам плавно извивалась вокруг меня какими-то слитными воедино изгибами в талии, ногах, поворотах плеч, подставлявших крепкие, чуть ли не каменные

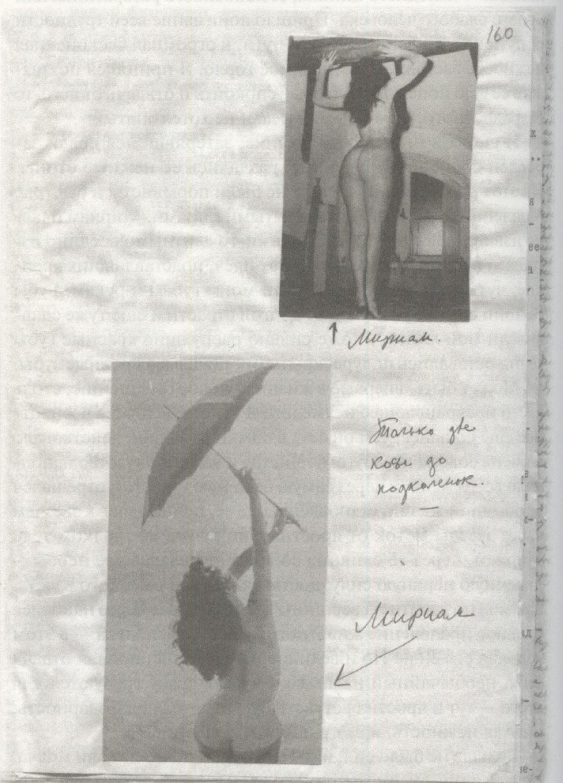
груди моим губам и рукам. Губы её йони сильно распухли от долгой страсти и ещё туже сдавливали мой линга, а тоже сильно распухшие красные губы её рта оставались полураскрытыми, показывая ровные зубы.

Может быть, впервые в жизни половое соединение, столь часто превращающее неумелого и тупого человека в животное ещё большее, чем он есть в обычной жизни, действовало на меня совсем по-другому. Чистое и высокое чувство наполняло всего меня, и через самую бешеную страсть я отрешался от обычной жизни, становясь выше её, поднимаясь к звёздам через звёзды меток от яростных поцелуев на гладком теле Мириам, через её слияние со мной, придававшее необыкновенную нервную силу, достаточную для высокого взлёта. Так можно взойти на вершины жизни как раз через наиболее сильное проявление животного существа человека — в этом великая его сила! Но и великое напряжение, полная отдача себя, необычайный накал всех чувств сразу требуются для этого — тут и яростная страсть, и умилённая благодарность, и тихая нежность, и безграничное утешение.

Больше не было сил, и мы с Мириам долго лежали молча, слушая лишь биение наших сердец

и остро чувствуя близость и прикосновение наших тел.

Пора было расставаться. Кончился день, прошёл вечер, наступала ночь.



Мириам. Только две косы до подколенок

Мириам, смело оглядывая меня, сказала:

— Ты хорошей породы, и ясный...

— Почему? — спросил я.

— Волосы на твоей голове густые, а тело без волос и без пятнышка, с чистой, гладкой кожей. Ты не пахнешь ничем неприятным, а всё это может быть лишь при хорошей, здоровой породе.

— Это прежде всего относится к тебе самой! — воскликнул я, гладя её удивительно упругое, гладкое и прохладное тело.

Мириам тихо засмеялась:

— Есть ещё один признак хорошей породы.

— Какой?

— То, что у тебя так долго... — шепнула она мне, смущаясь.

— Не согласен, у тебя ведь как раз наоборот!

— Милый, так и должно быть. Хорошая порода у женщин сказывается, когда они быстро кончают и...

— Быстро начинают снова? — досказал я, и Мириам согласно кивнула.

Несколькими годами позже, изучая индийскую «Кокашастра»[83], я увидел, что Мириам расска-

---

[83] Примечания: 83

«Кокошастра» — древнее индийское руководство по сексу, содержащее любовные и сексуальные советы. Автор текста — Коккола, живший в XII веке.

зывала мне тысячелетнюю мудрость индийской науки любить.

Особая отрешённость и сосредоточенность отражались на лице Мириам, она отдавалась с предельной открытостью, с закрытыми глазами и закушенной нижней губой. Её ритмические вскрики были сдержанны, исторгались как бы через силу.

Это было религиозное служение, резко контрастировавшее с яростным комом страсти, в который превращалась Тамара с её бешеным нетерпением и кобыльей силой.

Если сравнить Мириам с двумя другими великолепными женщинами моего прошлого, не считая эпизода с японкой, то в Мириам не было ничего похожего на беспечную отчаянность Люды или тигриное бешенство Тамары — те обе стремились слиться, вобрать меня в себя, в то время как Мириам, наоборот, даже чуть-чуть отдалялась, несмотря на пламя самой горячей страсти, пожиравшее её, так как она должна была подняться ещё выше, ещё на одну ступень в своём религиозном служении Эросу.

Удивительная гибкость и физическое развитие Мириам, как у хорошей художественной гимнастки, позволяли ей проделывать самые различные,

казалось бы, невозможные позиции соединения. Но как-то очень быстро она увидела, что для нас обоих они не нужны, и наибольшее удовлетворение приносит простая «древняя» позиция индусов, а также так называемая «малайская» позиция (наперекрест друг друга, с ногами, чередующимися у меня и у неё). Обе с «павлиньим добавлением», то есть одна нога Мириам обвивала меня за талию, а другая выпрямлена, высоко поднята и прижата к собственной груди со ступнёй, касающейся моего затылка в древней позиции, или на моей спине - в малайской. Кроме того, большое наслаждение приносило положение Мириам ничком, с подложенной под живот подушкой, а я лежал на ней сверху и сзади, то есть в индийской аталане.

И всегда Мириам оставалась серьёзной и сосредоточенной, точно предаваясь таинственному и возвышенному обряду. В ней не было ни весёлой отчаянности Люды, ни истового служения мужчине Кунико, ни яростной исступлённости Тамары.

Мириам научила меня тому, что знали издавна индусы: согласованной ритмике медленных движений, когда её тело становилось подобным медленно опускающейся и поднимающейся

волне, а я так же точно отвечая ей, медленно вводил и выводил свой линга во всю его длину. Это, приглушая неистовство, погружало обоих в гипнотическое состояние наслаждения, в своеобразную нирвану пола, и сочетание могло длиться очень долго, вероятно, час или более!

Лёжа на животе, она любила, чтобы я, протягивая вперёд руки, брал её груди, сжимал и ласкал соски, а она, прижав свой подвижный, круглый зад к моему животу, извивалась, то надвигаясь на член толчками, то вращая задом из стороны в сторону. Линга, доставая до дна, приносил ей особое наслаждение.

В обычной позе, но с «павлином», Мириам выгибалась мне навстречу, и, в яростной страсти, закидывала голову, поднимая груди, и вся вытягивалась, стараясь насадиться на глубоко вошедший член. В этой позе она бесилась и стонала больше всего, хотя мне казалось, что больше всего наслаждения ей доставляла позиция на животе.

Когда она уставала, я предлагал ей перевёрнутую позицию — верхом, ту, в которой так искусна была Люда, но Мириам никогда не соглашалась на неё, говоря, что она ощущает себя женщиной полнее всего под мужчиной, чувствуя его силу и всё тело. При этом ответе меня куснула ревность,

что она уже знала и «верховую» позицию, но Мириам знала уже так много, что её надо было или принимать как есть, или отвергнуть начисто. Я принял её начисто.

Расстаться казалось невозможным, и всё же это было неизбежно.

Я не мог отвести глаз от Мириам. Её прекрасное тело, утомлённое и возбуждённое долгой и сильной страстью, стало ещё красивее. Что-то неуловимо изменилось в линиях тела, в лёгких западинках на боках, в углубившихся складках паха, в ставших чуть-чуть более крутыми очертаниях бёдер, в ещё сильнее поднявшихся вверх сосках грудей. И некрасивое лицо девушки, освещённое широко открытыми глазами, которые стали совсем прозрачными, глубокими и лучистыми, с припухшими алыми губами, с печатью пережитого духовного подъёма, сделалось безусловно прелестным.

Медленно-медленно, точно с большим усилием, опустились ресницы Мириам в ответ на мой взгляд.

— Поцелуй меня так, чтобы остались знаки... надолго... сюда и сюда, и ещё... — девушка показала на плечи, груди, живот и бёдра.

Я послушно запечатлел большие синие отме-

тины там. где она показала, и прибавил ещё и на внутренних сторонах бёдер. Потом, спохватившись, спросил:

— Но как же, Мириам? Если увидят?

— Никто не увидит, и никто не может, — с отбрасывающей вопросы решительностью отвечала девушка.

Я воспользовался моментом, чтобы повторить свои вопросы о жизни, будущем, замужестве-незамужестве Мириам. Поднялись опустившиеся ранее ресницы, и взор прозрачных глаз потерял сияние бесконечной нежности, приобрёл спокойную твёрдость.

— Милый, ничего интересного нет для тебя у Мириам. Мы не можем быть вместе, зачем же мне передавать тебе свои заботы и тяжесть моей жизни? Зачем и мне знать твои? Пусть всё у нас будет как в чудесном сне — мы двое совсем открыты друг другу в лучшем, что у нас есть, оба здесь, в этом домике, как во дворце счастья, как в раю, нагие, свободные и беззаботные. Всё другое пусть останется за порогом, оно не твоё и не моё, и не наше вместе.

Я впервые встретился с таким желанием, и тогда оно не показалось мне правильным. Я мучился любопытством узнать как можно больше о

Мириам, желанием вполне естественным в моём положении. Но выслеживать Мириам я не мог и так и не узнал ничего о ней. Никогда.

Мы расстались, чтобы встретиться через два дня, потом раз через четыре дня, потом два раза через день. И с каждым разом девушка казалась мне прекраснее.

Я узнал, что красота — это не какой-то предельный канон, — нет, красота человеческого тела может возрастать всё больше, становиться всё сильнее и ярче с какими-то едва заметными изменениями линии тела, и ещё сильнее — с отражёнными на теле или просвечивающими через него духовным подъёмом, психическим состоянием и возрастающей силой любви.



Мириам Нургалиева

Я знал, что если бы Мириам захотела, то я, бросив всё, пошёл бы с ней «на край света». Но она не хотела или не могла, хотя я не раз умолял её остаться со мной. И, конечно, не искусство древней науки страсти овладело мной и околдовало меня. Мириам уже при второй встрече отказалась от разнообразия поз и положений, которые она попробовала в первый раз. Девушка и не могла иначе, потому что слишком долгое соединение захватывало её и отнимало все силы и в одной естественной позе, а её изумительно гибкое тело отвечало мне и в этой «простой» позе так, что богатство ощущений было на самом деле совершенно неисчерпаемым и сила страсти возрастала с каждым новым объятием.

— Я в плену у тебя, — говорила мне Мириам, — я вся до глубины души твоя пленница, оплетённая цепями страсти, и эти цепи — необыкновенное счастье. А ты, милый?

И я отвечал девушке совершенно правдиво, что никогда не было у меня женщины, ей подобной, хотя в прошлом их было немало.

Мириам не была обыкновенной женщиной в своей страсти — она была богиней, настоящей древней богиней, ставшей возлюбленной смертного. Неиспытанная, захватывающая бла-

годарность наполняла меня и требовала выхода. Я без конца целовал всю Мириам, до самых сокровенных мест её тела. Такое богатство страсти не могло быть у девушки без известного оттенка сапфизма как отражения предельной женственности её натуры, и я сам, до краёв наполненный страстью и желанием, тоже приобретал какую-то часть женской природы. Казалось, уже нечем более выразить переполнявшую нас любовь, мы становились как будто двумя подругами, по-женски глубоко ощущая соприкосновение тел. Это было сначала так неожиданно для Мириам, при совершенно несомненной моей мужественности, что она замирала, не дыша, и лишь потом поняла всё без слов и жестов.

Приближался мой отъезд, и вот, после пятой встречи, когда мы шли через поле от домика к главному арыку, я заметил необычайную бледность Мириам.

Я спросил у неё, не больна ли она, и тут...

Я навсегда запомнил то место, где Мириам сказала мне это. Огромный покривившийся тополь склонялся к шумящей воде арыка, чистейший воздух раннего среднеазиатского утра позволял видеть вдали снежные зубья далёких вершин на сияющей голубизне неба.

Мягкая пыль, припудрившая голые ноги Мириам в открытых сандалетах — эти стройные ноги, много раз обнимавшие меня в безумной страсти, слегка запавшие, испещрённые рябинками щёки, глубокие чёрные тени вокруг глаз, внезапно взглянувших на меня в отчаянной тоске так, что я почувствовал буквально удар.

Глаза опустились, и глуховатым от волнения голосом девушка сказала:

— Больше не увидимся, прощай, мой любимый, мой свет и солнце, моё сердце.

Онемев, я протянул руки к ней. Мириам отстранилась, потом так сильно прильнула ко мне, что я пошатнулся. Долгий, долгий поцелуй, в который она вложила всю страсть, нежность и ласку. Со стоном девушка оторвалась от моих губ и... побежала.

Я кинулся за ней, догнал, схватил. Мириам вырвалась и, задыхаясь, сказала:

— Ради нашей любви, ради меня... во имя всего, что было... не иди за мной... молю тебя... уходи! Уходи, моя радость, уходи, моё солнце!

И снова лёгкий бег девушки, несколько секунд моей нерешительности — и Мириам исчезла за углом ближайшего к арыку дома. Я пошёл за ней, остановился и вдруг понял, что ничего не

получится. Всё же я понёсся вдогонку, но, когда завернул за угол, от Мириам не было и следа. Обшаривать ближайшие дворы после её просьбы не показалось мне достойным окончившейся сказки.

Медленно я вернулся к арыку, к тому месту, где мы расстались, как будто не был в силах покинуть его. Долго, не знаю сколько, я стоял там и курил, позабыв обо всём на свете, и наконец медленно побрёл к своим обычным делам, к счастью, настолько напряжённым, что они давали подобие забвения и кончались поздно ночью.

Наступили странные дни и ещё более странные ночи. Необыкновенно сильная страсть, становившаяся всё сильнее и тоньше, всё нежнее и глубже, оборвалась внезапно, как ударом грома, хотя оба мы давно уже жили под нараставшей тревогой неизбежной разлуки. Надо отдать должное Мириам, она не раз говорила мне о том, что мы скоро расстанемся и что это неизбежно, как бы мы ни любили друг друга. Но в это не верилось, как в смерть, и когда это случилось, то оно всё равно было внезапным — слишком много нежных нитей связывало нас.

Оборванная, осаженная на всём скаку страстная любовь нанесла мне какой-то шок — внутренне

я продолжал ещё жить в том мире, и всё остальное не имело ни цены, ни смысла. В то же время слишком ответственна и напряжённа была моя деятельность по реэвакуации, и я продолжал действовать наподобие некоего робота с заданной программой поведения в делах и семейном быту. Механизмы делали своё дело без всякого участия подлинных чувств, без волнений и ощущений — металлический робот было самым подходящим словом. Каждый кусочек свободного времени я отправлялся бродить по улицам Фрунзе, примерно в тех местах, где я встречал Мириам, но ни разу не мелькнула даже издалека её незабываемая фигура, хотя каждое белое платье заставляло останавливаться дыхание и сердце подступало к горлу.

Но я так и не встретил Мириам и понял, что, наверное, она уехала куда-то на время или насовсем, чтобы избежать возможной встречи, не будучи сама уверена в своей твёрдости. Как я узнал потом, так и было!

Теперь я довольно часто видел сны с Мириам — девушка стояла или в низу, или на верху лестницы, прикованная к стене или колонне. Я бросался к ней, к её протянутым рукам, но тут неизменно оказывалось, что лестница обломана

и ужаснейшая пропасть разделяет нас. Я метался по краю, смотря вверх или вниз, в зависимости от того, где во сне оказывалась девушка, или отваживался на безнадёжный прыжок, после которого проваливался в пучину сна без видений или просыпался с отчаянно бьющимся сердцем.

А потом длинный эшелон повёз меня со всем моим небольшим семейством в Москву. Это было тогда, когда я прославился на всё биоотделение своей грубостью «бывшего матроса», скомандовав на одной станции, которую с нетерпением ожидали все наши «учёные» обыватели в надежде поспекулировать солью:

— Ну, звери, набрасывайтесь!

В Москве устройство полуразбомблённой квартиры, бесконечные выгрузки и таскание тяжестей в Институте заставили меня наконец свалиться, и я проболел начало зимы. Острая тоска по Мириам отошла, притупилась, ослабла. Осталось лишь воспоминание, настолько яркое, что любой оттенок, каждая мысль о пережитом заставляли кровь бросаться в голову и учащаться дыхание.

Я не был вольным человеком — была война, и я, как все, не мог никуда поехать без специального разрешения и без командировки. Не имел я и

отпуска — иначе давно бы уже сделал попытку разыскать Мириам во Фрунзе.

И вот однажды (было уже лето 1944 года) меня позвали к телефону. С равнодушием человека, ничего более не ожидающего от жизни, я назвал себя в трубку... и вдруг точно удар молнии разорвал окружавшую меня серую пелену. Я услышал бесконечно милый, прежний, глуховатый от волнения голос Мириам!

Через час я вне себя стоял у памятника Пушкину и смотрел, как в белом платье ко мне подходила прежняя Мириам. Нет, не совсем прежняя — сильный загар покрывал не только лицо, ноги и руки, но и открытые плечи девушки. Серые глаза казались ещё более глубокими и прозрачными, а походка оставалась такой же скользяще-танцующей, как и на пыльных улицах Фрунзе.

Ещё полчаса, и мы оказались в маленькой комнатке старинного дома, среди множества каких-то ходов и переходов, обилия крохотных квартир и таинственных мансард, каких было немало в Москве того времени, да, наверное, есть и сейчас. Комнатка была в распоряжении Мириам на две недели! И девушка собиралась пробыть в Москве столько же!

И вот наконец, дрожа как в лихорадке, с преры-

вающимся дыханием, я снял с Мириам последние из её немногочисленных одёжек и замер в изумлении. Ни одного белого пятнышка не было на теле девушки — сильный и ровный загар покрывал её всю до самых скрытых складочек. Чёрный треугольник волос был низким по сравнению с высоким расположением йони, и его верхний край срезался прямой горизонтальной линией, выше которой ни один волосок не поднимался на загорелом животе.

Девушка, тоже вся дрожа, стояла с полузакрытыми глазами, тревожно сжав руки перед грудью. Я наконец заметил её волнение, почти испуг и спросил её, чего она боится.

— Не знаю, милый, только я так давно ждала встречи с тобой, и прежде... было так сильно всегда... мне кажется... когда ты возьмёшь меня, глубоко и сильно, то... я... могу умереть... или потерять сознание...

Я понял. Нежно и ласково я взял Мириам на руки, положил на постель, опустился на колени перед ложем. Краснокоричневатый загар не испортил её гладкую кожу, и она вся блестела так, как блестит кофейное зерно, только, конечно, с более светлым оттенком. Я стал покрывать девушку поцелуями, и постепенно, когда она

всё больше погружалась в страстный экстаз, мы стали любовниками. И забыв про все страхи, она отдалась мне с прежней яростной силой, и я мучил её по-прежнему долго, как в те незабвенные дни в бедной хижинке на кукурузных полях.

Ничего не изменилось, разве только ещё большая нежность, ещё большая жадность к каждой драгоценной минуте вместе, потому что мы познали всё горе и тяжесть разлуки.

— Где ты так загорела, Мириам, ты, такая удивительно белая? — спросил я, лёжа рядом и перебирая в пальцах пряди её расплётшихся длинных кос.

— Я не должна была говорить... но я скажу тебе! После тебя я не могла больше быть ничьей, стала слишком строптивой для... для своего положения... И меня решили привести к покорности... я была нагая в уединённом саду, под беспощадным солнцем... чтобы оно испортило цвет моей кожи... целых две недели я не могла никуда спрятаться от солнца и от бдительных глаз женщин, сторживших меня. Но я знала, что ты будешь любить меня и такую, и я приехала к тебе!

— Но кто же сейчас, в наше время, может делать такие вещи? Кто имеет власть над тобой, как в древности царь? Что это такое?

— Ты не знаешь многого из нашей жизни, — тихо сказала девушка, — но кто бы то ни был, никто не властен над моей любовью — она только твоя. Ты завоевал меня всю, без остатка, я теперь твоя совершенно в любви ... да, в любви...

— А в жизни, Мириам?

— В жизни — нет! Я не могу быть твоей... о, о, не могу, не спрашивай, ничего хорошего я не скажу тебе, ничего, что находилось бы наравне с небывалым чувством, которое переполняет меня. Мы теперь оба — как боги гор — ничто в мире не властно над нашим счастьем, кроме разлуки, но ведь разлука неизбежна в жизни, в смерти, в старости, в умирании любви... во всём, что дыханием мрака веет на пылающий огонь любви. А сейчас ничто не затемняет нашей встречи, и судьба нам даёт испытать необыкновенное счастье, но долго быть вместе нам не дано. Наверное, так и должно быть, чтобы такая большая страсть была короткой — иначе слабое человеческое сердце не выдержит её... или душа не выдержит — быть на такой высоте.

Здесь девушка не боялась ничего, что загадочно, но определённо заставляло остерегаться её там, во Фрунзе. Затворники любви могли выйти на свет, к миру, к свободным прогулкам, к долгим

беседам где-нибудь в опустелом парке — тогда ещё Москва была пустовата.

Я опасался, что Мириам живёт бог весть на что, без денег, но боялся возмущения или обиды и не предлагал ей, хотя у меня было много — тогда уже начались мои литературные успехи. Редкая обособленность девушки заставляла меня быть осторожным, и всё же я — решился.

К моему великому изумлению, девушка спокойно взяла, сказав, что знала, что я обязательно предложу ей.

— И очень кстати, — добавила она, — завтра мне бы уже нечего было есть.

Дни шли, и меч неизбежной разлуки висел над нами. Я знал, что Мириам не согласится быть со мной — что-то во всём её поведении, в прямом и прозрачном взоре, в тихих спокойных ответах говорило мне убедительней самых горячих споров, что она быть со мной не хочет или не может. И от этого каждый миг, проведённый вместе, приобретал особенную ценность.

Каждое движение мышц под красновато-коричневатой, словно полированной кожей, каждая складочка при каждом новом изгибе, морщинка или прядка волос вызывали новую вспышку нежности, ласки, и чувство постоянного

обогащения и ответной благодарности — не проходило, а усиливалось. Всё казалось невыносимо прекрасным и неповторимым, потому что надо всем довлело ощущение красоты ускользающей, могущей быть утраченной каждое мгновение... И только в ощущении поцелуя, объятия, так сказать, в «обратной связи», в отклике страсти на страсть восстанавливалось целостность, и наше единство казалось прочным и вечным, но лишь... до размыкания объятий. И неистовство страсти возрастало с каждым днём, приближавшим к разлуке.

Мы уже не бродили по городу — не было сил, Мириам вернулась к неистовому разнообразию и отдавалась мне всякий раз по-другому, изгибаясь в немыслимых, акробатических позах. Но и это прошло. Девушка полюбила продевать свои длинные чёрные косы себе под мышки и потом завязывать их узлом на моей шее, так, что моё лицо оставалось прижатым к её твёрдым грудям с их гранатово-тёмными маленькими сосками, обращёнными вверх с трогательным доверчивым задором. Так мы почти не размыкали объятий по целым ночам, и лишь с вторжением в комнатку дневного света я начинал священный обряд поцелуев на всём теле Мириам.

Священный — да, иначе я никак не могу назвать его, потому что какое-то особенно высокое чувство, ранее не знакомое мне на земле, — поклонения, восхищения красотой, благодарности за дивную страсть и за то, что Мириам — такая необыкновенная женщина, и сознание своей силы и гордость, что это я смог быть таким в наше время, отнюдь не способствующее подлинному Эросу, — вот эти силы и вызывали восторг нашей с любимой службы Афродите и Эросу.

Полутаджичка-полурусская, воспитанная в татарской семье, и полурусский волгарь-четвертьфинн из ленинградских болот вместе образовали редкую чету эллинских поклонников Эроса. Удивительно, какие вещи может делать жизнь и как мало значат наши попытки как-то разграничить и определить человеческие души и жизни!

Всё оборвалось ещё внезапнее, чем во Фрунзе. Однажды, придя в обычное время к Мириам, я нашёл дверь запертой. Предчувствуя худшее, с выступившим на лбу от волнения потом, я постучал. Мне открыла не очень приветливая пожилая женщина, объявившая, что Мириам уехала домой, во Фрунзе, не оставив адреса, как я того и ожидал. Женщина вручила мне коротенькую

прощальную записку.

И теперь, шестнадцать лет спустя, мне не хочется вспоминать и тем более написать эти слова, полные печали, заботы и ласки, любви и нежности.

В записке девушка предупреждала, что она поедет не во Фрунзе, как если бы знала, что я поеду её искать. Но если я смог бы поехать ненадолго во Фрунзе, то искать её по городам Средней Азии, будучи привязанным к военкомату офицером запаса в войну, я, конечно, не мог, и я никогда ничего не узнал и не услышал о странной и чудесной девушке, несмотря на все попытки.

Много раз я задавал себе вопрос — откуда было это чувство безусловного доверия, интуитивной веры в Мириам без всяких вопросов, без обязательного требования разъяснить всю эту таинственность её поведения?

Сначала, конечно, от ощущения полнейшей чистоты её тела. Я очень брезглив и наделён острым обонянием — малейший неприятный запах, или звук, или жест может убить чувство или, во всяком случае, надломить что-то, оставить трещину, которая потом, при повторении, неизбежно разрастётся. Иногда просто сам на себя негодуешь, какого пустяка достаточно, чтобы разрушить

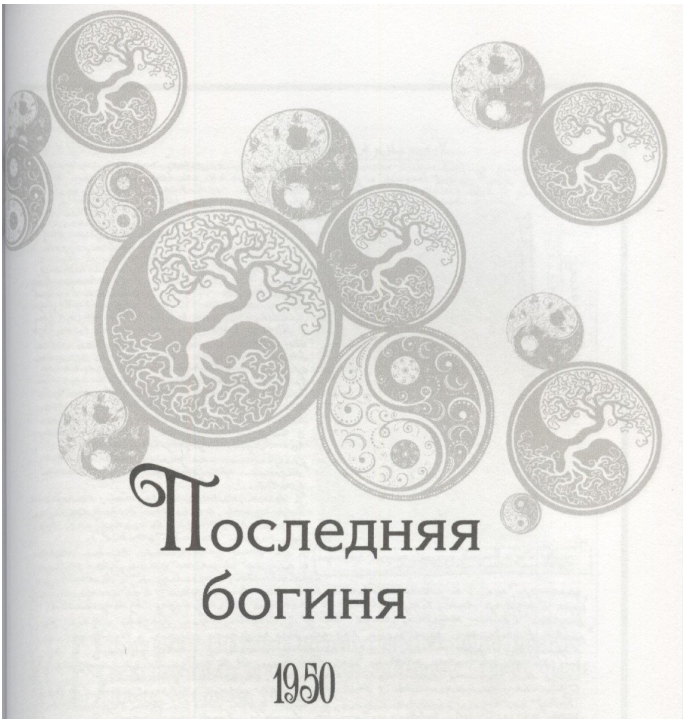
многое из только что созданного очарования. И если я, брезгливый и до смешного чувствительный в страсти человек, мог с абсолютной полнотой принять девушку — значит, так оно и было, значит, Мириам и была той на редкость чистой душой и телом женщиной, которой можно спокойно вверить свою собственную душу.

На её абсолютную и беззаветную открытость можно было ответить только тем же. Никогда не мог ни на одну секунду я подумать о лжи, неискренности, не говоря уже о более гнусных мужских предположениях вроде опасности алиментов, заразы и прочих подлостей — девушка не могла быть затронута ни одним из этих подозрений. Может быть, ещё более важную роль сыграла абсолютная несвязанность и не-обязанность друг другу, главной линией прошедшая через всю нашу близость. Именно об этом чувстве полной свободы и независимости больше всего заботилась девушка!

И всё же без малейшего колебания я отдал бы не только всё, что имел, но и душу, и тело, и жизнь за неё, если бы понадобилось или если бы пришлось...

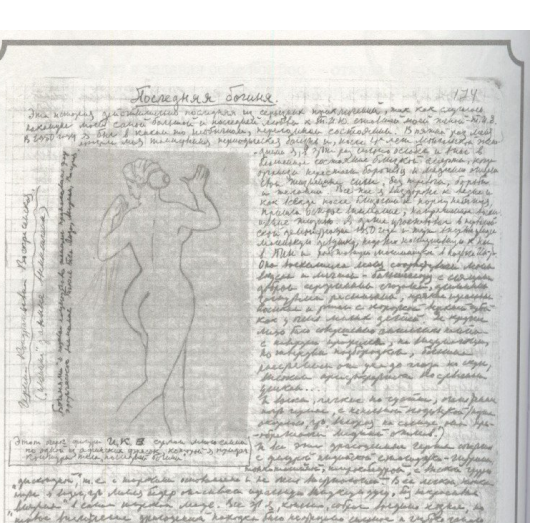
Но ей не понадобилось, и мне не пришлось. И от этого ещё больше усилилось ощущение какой-то

нереальности, «неземности» всего происшедшего. Может, и впрямь Мириам была богиней любви и страсти, посланной мне, простому смертному, за непрестанные поиски любви и прекрасного в течение всей жизни, за нежадные, неэгоистичные встречи, за печальные разлуки со всеми любимыми, за утраты мимолётного прекрасного? Кто знает.



Последняя богиня

1950



Этот очерк фигуры И.К.В. сделан мною самим по одной из афинских фресок, которой я придал контуры тела «последней богини»

Богинями» я называл полушутливо женщин, привлекающих сразу эротическое внимание. Такие были Люда, Мириам, Валерия.

Эта история действительно последняя из серьёзных приключений, так как случилась накануне моей самой большой и последней любви к Т.И.Ю., ставшей моей женой — Т.И.Е.

В 1950 году я был в каком-то необычном, переломном состоянии. В пятый раз меня сразила моя таинственная периодическая болезнь, и после четырёх лет монгольской экспедиции я в этот раз сильно ослабел и впал в блаженное состояние, близкое смерти, когда организм перестаёт бороться и медленно отдаёт свои жизненные силы без тревоги, борьбы и желаний.

Всё же я выздоровел к весне и, как всегда после близости к порогу небытия, пришло острое внимание, напряжённое восхищение жизнью. Я даже участвовал в первомайской демонстрации 1950 года и тут впервые увидел маленькую девушку, недавно поступившую к нам в ПИН[84] и работавшую машинисткой в подвале института. Она восхитила меня соответствием моим вкусам и мечтам — большеглазая, с сияющими добрыми

---

[84] Примечания: 84
Палеонтологический институт АН СССР.

серо-зелёными глазами, длинными загнутыми ресницами, прямым идеальным носиком и ртом с короткой верхней губой, как у очень милых детей. Её круглое лицо было совершенно античного типа — с твёрдым профилем, не выступающим, но твёрдым подбородком, большим расстоянием от уха до глаза по скуле, высокими, аристократически поставленными ушками. И волосы, лёгкие, но густые, очень тёмные, почти чёрные, с пепельной подцветкой (потом оказалось, что, выгорая на солнце, они приобретают медный отлив).

И все эти драгоценные черты сочетались с фигурой индийской статуэтки-читрини — тонкоталийной, широкобёдрой, с высокой грудью «дискоидной», то есть с широким основанием и не очень выступающей. В её лёгком тонком платье я видел, что линия бёдер описывает идеальную выпуклую дугу, без некрасивых «вмятин» в самом широком месте.

Всё это я, конечно, собрал воедино позже, но первое впечатление драгоценной находки было неотразимо сильное и глубоко запало в душу, хотя казалось сначала, что она слишком маленькая и юная для меня и я не должен пытаться «завоевать» её. Тем более, что её добрую чистую душу нельзя было ранить каким-либо легкомыслен-

ным скороспелым увлечением.

С такими размышлениями я впал в состояние лёгкой и светлой печали, какая бывает на пороге недостижимого, а тут судьба нанесла мне очередной свой удар — по поганой чиновничьей ошибке запретили Монгольскую экспедицию перед последним завершающим годом её работы, накануне реализации всего подготовившегося в прежние годы успеха.

Поскольку об экспедиции неудачно доложили «самому», «великому», то никакие исправления были невозможны и все засланные туда деньги, снаряжение, люди и машины были возвращены на чиновничьем страхе (вместо того, чтобы законсервировать и в последующий год возобновить).

Это тяжёлое огорчение на время отвратило меня от палеонтологии, и я занялся литературой и также ушёл в своё любимое убежище — древнюю историю и Элладу.

В экспедиции я отошёл от пермской работы и ещё не начал новую, но зато много размышлял, вернувшись к своей очень старой теме — о женской красоте и красоте вообще, её основах в биологическом понимании. Читал много и впервые стал собирать то немногое, что попадало

к нам из заграницы при ханжеском «целомудрии», установленном «великим горным орлом» от явной импотентности. Подумывал написать что-нибудь из эллинского прошлого, но ничего ещё не родилось после гобийских пустынь.

С таким вот открытым всему и незанятым настроением я поехал со всем семейством в Крым, в Коктебель, в накопленный за экспедицию долгий отпуск.

Семейство потом уехало, а я остался на всю осень.

Свидание с милой крымской землёй после четвертьвековой разлуки было захватывающим. Давно, в трудные дни Отечественной войны, в острой ностальгии по тёплому морю, сухой и тёплой земле с великолепными деревьями, со всем очарованием светлой и яркой Эллады я написал «На краю Ойкумены» и ещё раньше «Эллинский секрет». В 1950 году последний всё ещё не вышел («мистика»), а «Ойкумена» была напечатана всего год назад.

После крушения экспедиции, недавно выздоровев от опасной болезни, поставившей меня на грань смерти, после встречи с Т.И.Ю., резко показавшей мне всю неполноту моего теперешнего существования, я особенно остро воспринимал

прелесть Крыма и жадно впитывал все давно забытые ощущения: прозрачного моря, сухих и тёмных бархатных или серебряно-лунных ночей.

Крым всё ещё был основательно разрушен, в особенности такой его захолустный (тогда!) район, каким был Коктебель, и в этом захолустье, разрушении, малолюдьи было совсем особенное очарование тех лет.

Дом Писателей[85] размещался практически всего в трёх домах побольше — Волошинском, «Сером» и «Ленинградском», удалённом через маленький парк бывшего пионерлагеря. Было ещё несколько меньших одноэтажных домишек, чуть ли не хижин, на «ленинградской» территории.

Зато население дома в основном состояло (и задавало тон) из москвичей и ленинградцев, давних знакомых вдовы Волошина Марьи Степановны[86], писателей, редакторов, инженеров,

---

[85] Примечания: 85

Дом творчества писателей в Коктебеле — пансионат для членов Союза писателей СССР, был создан по инициативе владельца дома М.А. Волошина.

[86] Примечания: 86

Заболоцкая Мария Степановна (1887-1976) — вторая жена поэта Максимилиана Волошина. Мария Степановна пережила немецкую оккупацию Коктебеля, сумев сохранить от разграбления и уничтожения дом и архив поэта. В 1945 году была утверждена в должности хранителя музея, но в 1950 году эта должность была ликвидирована.

переводчиков и прочей интеллигенции, очень слабо ещё разбавленной куда более серыми украинскими писателями и поэтами. Но «крупных» писателей было очень мало — Коктебель ещё не стал модой.

И пляж — в особенности в удалении от дома — или по направлению к даче Юнге[87] (развалины), где шёл сплошной пустырь, или к Лягушачьей, где уже за дорогой из деревни попадались лишь редкие купальщики (недавние переселенцы в Планерском[88] совсем не купались!), был совершенно свободен, чем и пользовались более смелые как мужчины, так и женщины, купавшиеся нагими без всяких костюмов и загоравшие так же (помню жену Рубинштейна, Пешкову, Людмилу Толстую и т. п.).

Директором был приятный и очень интеллигентный человек, сестрой-хозяйкой — Любочка, а над всеми нами царила Мария Степановна, дом которой был центром Коктебеля. Каждый вечер там собирались, Мария Степановна рассказывала, читала стихи Волошина, кто-нибудь читал свои

---

[87] Примечания: 87

Дача Юнге — имеется в виду вилла «Киммерия», построенная офтальмологом Эдуардом Андреевичем Юнге, основателем посёлка Коктебель.

[88] Примечания: 88

Планерское — название посёлка Коктебель с 1945 по 1992 год.

и кто-нибудь что-нибудь рассказывал. Нередко и я бывал центром внимания, или рассказывая что-либо из своих путешествий, или новые научные открытия, или просто пересказывая недавно прочитанное в английской литературе (помню Хаггарда, Meirsa's Rovenge).

И, конечно, вся библиотека Волошина была в моём распоряжении. Я наслаждался тишиной его кабинета, без конца просматривая там комплекты журналов «Мир искусства», «Аполлон», «Весы» и т. д., читая эллинских поэтов и Кама-Сутру Ватьсьяяны, с которой я познакомился именно там.

Всё это — море, пустынная земля и берег, эллинские поэты и индийская наука любви, вечера общения с интересными (для меня, одичавшего в Монголии) людьми создавало определённое настроение, ещё более усиливавшееся ночными купаниями в лунном море, несмотря на дурацкие преследования пограничников: после 11 часов за пределы сада дома на берег выходить запрещалось — хватали и волокли на заставу — характерная черта Крыма сталинского (да и посейчас) времени.

Всю эту вступительную часть я описал для того, чтобы было понятно моё особенное настроение того лета и осени: спокойное, открытое и эллин-

ско-индийское отношение к физической любви, красоте тела и женщине. Я не искал любви — она уже тихо зрела во мне после первомайской демонстрации, но не отказывался от общения с людьми и женщинами в частности, но не было никого, кто бы увлёк меня, потому что мой интерес был — к древним богиням критянско-финикийского типа великой богини.

И вдруг такая женщина появилась.

На одном из вечеров у Марии Степановны я заметил молодую (лет 26-28) женщину, державшуюся как-то особняком и даже сидевшую отдельно в уголке, в заднем ряду стульев. Сильно загорелая, с серыми, широко расставленными глазами, с узким носиком, ноздри которого были слегка расширены, с круглым, даже чуть скуластым и от этого квадратноватым лицом, она бросилась мне в глаза сначала лишь только жадным вниманием к моему рассказу (в тот вечер рассказчиком выступал я). Когда рассказ окончился и слушатели стали выходить на балкон (мы собирались в кухне-столовой), я проследил глазами за незнакомкой, и её фигура, обрисовавшаяся в лёгком сарафане на лунный свет окружающего ландшафта гор и моря, была такова, что у меня захватило дух. «Великая богиня» собственной

персоной, хотя незнакомка вовсе не была высока, величественна или выдающеся прекрасна. Но это была женщина — воплощение индийских канонов!

Она ушла, и я как бы невзначай спросил писателя Р., старого коктебельца, не знает ли он, кто это?

Тот с вредной улыбочкой сказал: как же, как же, и тут же поведал мне, что это некая Ирина Кондратьевна Воскресенская, ленинградка, живёт здесь с больной маленькой дочкой, но только изредка появляется в доме, и у Марии Степановны, потому что про неё дурные слухи, но что она знает про них.

— Как? — удивился я.

— Ну, эта история здесь всем известна, удивляюсь, как вы не слыхали, — с готовностью посплетничать, свойственной писателям, воскликнул Р. и выложил мне необычайную историю.

Ирина Воскресенская приезжает сюда уже второй год с пяти-шестилетней девочкой, она лёгкого поведения и еще лесбиянка.

— Что за чепуха! — воскликнул я, — откуда столь точные сведения?

— Вы здесь впервые? — с едкой усмешкой спросил Р.

Я кивнул утвердительно.

— Вот вы ничего и не знаете, иначе бы знали Ш-ву.

— Так я знаю её, вернее, видел, — не старая ещё женщина, жена известного деятеля.

— Вот именно, — она всем известная лесбиянка, и Воскресенская состоит при ней, приезжает уже второй сезон.

— А при чём здесь проституция?

— Когда приезжает муж Ш-вой, то она и с ним живёт. В пьяной компании он как-то сказал, что платит ей за то, что заменяет ему жену...

— Всё это не более чем гнусные сплетни! — решительно заявил я, ибо по своему ощущению людей я не увидел в И.К.В. ничего порочного или противного.

— Сплетни так сплетни, — неожиданно охотно согласился Р., — только почему её ни в какую компанию не берут? И сама она на отшибе держится?

Я поинтересовался у Марии Степановны, зная редкую справедливость её суждений, и получил ответ, что это женщина с неудачной судьбой, когда-то ещё девушкой приезжавшая в Коктебель. У неё посажена сестра, застрявшая в войну на Кавказе с немцами. Ирина воспитывает свою

дочку без мужа, муж её бросил или она его выгнала — М. С. не знает, знает только, что она живёт нелегко и водит дружбу с очень неприятным семейством Ш-вых.

— Не знакомилась с этой семьёй, — добавила М. С., — говорят, что она не то служила, не то служит в проклятом ведомстве.

Я и не собирался знакомиться с Ш-вой, но Ирина заинтересовала меня. На одном из ближайших вечеров в столовой М.С. кто-то что-то читал, а известный музыкант играл на стареньком рояле при потушенном электричестве (оно тухло около двенадцати или раньше, если портился мотор маленькой электростанции) и лунном свете. И.К.В. снова сидела отдельно, а я через стол часто взглядывал на неё и, встречая ответный изучающий взгляд, старался передать своей визави ту спокойную, даже ленивую нежность, которую я чувствовал тогда ко всему окружающему. Ирина взглядывала на меня всё чаще, я улыбнулся ей, она вспыхнула и опустила глаза, стараясь больше не смотреть на меня. Я всё же уловил её взгляд и улыбнулся ей снова. Потом погас свет, и была музыка, и я не видел её, сидевшую в глубине, но чувствовал на себе её взгляд, так как я сидел близко у двери, куда заглядывала луна.

Потом все стали расходиться и, по обыкновению, столпились на балконе, пропуская вперёд более почтенных, осторожно сходивших вниз по лестнице. Ирина оказалась около меня, и я открыто заглянул в её лицо и встретил такой же взгляд.

Я начал представляться — но она прервала меня, улыбнувшись:

— Не надо, вас тут хорошо знают, но знаете ли вы меня? Ведь вы — впервые в Коктебеле.

— Знаю, вы И.К.В., тут вас тоже знают.

— Кто? — резко перебила она.

— Хотя бы Мария Степановна.

— А, и ещё кто-нибудь?

— И ещё, — подтвердил я, видя, как она вся насторожилась.

— И что же? — тихо спросила Ирина.

— Ничего, — сказал я, — просто вы мне понравились, и мне захотелось познакомиться с вами.

— Благодарю вас, — вдруг сказала она, кладя свою руку на мою и неожиданно сильно стискивая её.

Я поднял её руку к губам и поцеловал.

— Боже! — воскликнула она, вырвав руку, — здесь все видят!

— Я вас не понимаю, — сказал я, — что же тут

такого, и пусть видят.

— Вы не понимаете, это я не для себя, для вас, — закончила она шёпотом.

— Не понимаю. Может быть, объясните? Вы живёте в деревне, позвольте мне проводить вас.

Как-то не совсем охотно Ирина согласилась. Мы не закончили разговора до её дома (она жила у Ш-вой, которая снимала целый дом), пошли по шоссе (выходить на берег вне пределов Дома Писателей не рекомендовалось) и сели на тёплой глыбе камня у мостика перед поворотом в направлении на Щебетовку.

Ирина стала смущённо объяснять мне, что про неё дурная слава здесь и сплетни, и она из-за этого избегает с кем-нибудь знакомиться, с женщинами тоже, чтобы не получилось горького афронта.

— Но сами-то вы как чувствуете — ведь это самое важное — сплетни на чём-то обоснованы? Может быть, именно в вашем поведении...

Ирина вскочила с камня и стала передо мной с раздувающимися ноздрями.

— Да! Да! Обоснованы, верно, я такая, — и она повернулась, чтобы уйти.

— Как можно всё перевернуть, неверно поняв! — с горечью сказал я, и, верно, это прозвучало убедительно, потому что Ирина снова поверну-

лась ко мне.

— Я считаю так, — продолжил я, — можно делать что угодно, но если у хорошего человека есть сознание справедливости, правильности своих поступков, то он может не обращать внимания на мнение других, не понимающих. И всё же это не значит, что надо закрывать глаза на последствия и обижаться на них. Нет, поймите и тех, кто осуждает вас, для того чтобы не чувствовать себя ни виноватой, ни обиженной! Тогда исчезнет и ощущение отверженности.

Ирина долго вглядывалась в меня, наконец сказав:

— Боже, как вы хорошо это сказали. Впервые встречаю человека, который мог бы так несколькими словами прояснить многое. Благодарю вас!

И она снова подала мне свою руку, сжимая мою, и снова я поцеловал её. На этот раз она не вырвала руку.

— Мне пора, — тихо сказала Ирина, — мы заговорились, и уже так поздно. Только скажите — вот вы объяснили мне, что хорошему человеку достаточно сознания своей справедливости, но как вы можете знать, хорошая я или плохая?

— Не смогу объяснить вам, только абсолютно уверен, что вы — хорошая. Да разве вы не чув-

ствуете, хорош человек или плох, при первой же встрече?

— Чувствую, конечно. Но ведь есть такие, которые умеют прикидываться, оборотни. Ох, как они это умеют!

— Есть. И тут надо не знаю уж что — жизненный опыт, психологическая проницательность, но их тоже видно. И как ещё видно. Только хотите совет?

— Боже мой, конечно, хочу!

— Чтобы распознать подобных людей, смотрите не на их слова, взгляните не на их, так сказать, крупные черты поведения. Следите за мелочами, за мелкими, мельчайшими деталями жестов, интонаций, за случайно, вскользь высказанными мыслями, и вы сразу увидите кончики змеиных хвостов.

Ирина взволнованно и глубоко вздохнула.

— И это верно, как верно! Ведь мы всё равно видим эти проявления, только поздно, когда время прошло и ничего нельзя поправить.

— И это неверно, Ирина, можно мне называть вас так, я ведь много старше вас.

— Не может быть, мне уже двадцать девять!

— А мне сорок три.

— Вот в чём дело, откуда у вас такое знание.

Мне-то показалось, что вам лет тридцать пять.

— Увы, много больше!

— Но почему же увы? Надо «ура», для меня, во всяком случае. И что же неверного в моих словах?

— То, что ничего нельзя поправить. Всё можно, только для одного случая это легко, а для больших ошибок — труднее, надо время, волю, запас духовных сил. Ведь самое главное — это поправить внутри самого себя, воскресить прежнее или, наоборот, уничтожить его, смотря по обстоятельствам. Для сильных поражений нужна сила для исправления, дешёвыми слезами ничего не сделаешь.

Так или похоже мы разговаривали под луной, в стрёкоте цикад и запахе чабреца и полыни, пока Ирина решительно не пошла назад, в деревню. Я проводил её до боковой тропинки к её дому. Дальше она просила меня не идти.

Она подала мне обе руки и сказала:

— Первый раз за долгое время мне не хочется расставаться с человеком. Спасибо вам!

— Но мы встретимся ещё? — спросил я.

— О, да! — воскликнула Ирина, смутившись, тихо добавила: — Вот видите, я какая невоспитанная.

— Наоборот, очень прямая и простая, а это и есть высшая воспитанность, — возразил я, и Ирина, посмотрев на меня молча несколько секунд, побежала по тропинке и скрылась за акациями.

Следующий день я не видел её и сидел в библиотеке, а потом катался в лодке по лунной дорожке.

Мне давно хотелось искупаться очень рано, когда море тихо и прозрачно, как хрусталь, а песок ещё холоден, и вода теплее, чем берег. Я встал с рассветом, но пока дошёл до бетонного памятника погибшему десанту[89] (по направлению к даче Юнге), солнце уже поднялось, заблестев на спокойной воде. Я спрыгнул с берегового подмыва, на котором рос высокий тамариск, на пляж и увидел Ирину, идущую впереди меня шагов на сто. Она сразу почувствовала мой взгляд, оглянулась, я помахал ей рукой, и, как бы неохотно, она не остановилась, а лишь замедлила шаги.

Одетая в лёгкий сарафан с открытой спиной и перекрещивающимися на спине лямками, она показалась мне ещё более соответствовавшей

---

[89] Примечания: 89

Памятник участникам Керченско-Феодосийского десанта в Коктебеле. Операция по высадке десанта проходила с 26 декабря 1941 года по 2 января 1942 года и сопровождалась крупными потерями со стороны войск Красной Армии.

моим представлениям о Великой Богине. Правда, её ноги, открытые до колен по тогдашней пляжной моде, не были безупречными. Маленькие ступни, тонкие щиколотки, но сильно развитые икры с резким расширением посередине и снова сужавшиеся, хоть и не резко, к круглым коленям. Эта резкость очертаний ног удивительно гармонировала со всем ощущением её фигуры, как-то дополняя силу очень широких, точно созданных для любви бёдер. Более того, несмотря на то, что такие ноги были, конечно, менее красивы, чем правильно очерченные, они передавали ощущение чувственности, вызывая желание больше, чем обычно.

Я быстро догнал Ирину, посмотревшую на меня со смешанным чувством удовольствия и неприветливости.

— Кто сказал вам, что я купаюсь рано и здесь?

— Никто, — даже немного сердито возразил я, — в кои веки собрался искупаться на рассвете, и тут кто-то что-то сказал! А место это с самого начала моё, — я показал на мысок, вдавшийся в море, немного не доходя траверза дачи Юнге, -дальше, к Киик-Атламе[90], я не хожу, чтобы не

[90] Примечания: 90

Киик-Атлама — безлесный возвышенный мыс с обрывистыми берегами между Феодосией и Коктебелем.

тратить времени.

— А я купаюсь здесь, — она показала на недалёкий песчаный откос, сбегавший к воде и поросший высокой чёрной полынью, — здесь удобно закопать одежду, а то бывают случаи...

Очевидно, с ней самой был какой-то «случай», потому что на лицо её набежала тень.

— Хорошо, давайте купаться здесь.

И снова Ирина нахмурилась ещё больше.

— Не надо, я без костюма, — сказала она.

— Как хотите, — пожал я плечами, — ведь можно и отвернуться, пока не окажетесь в воде.

Спокойный тон моего ответа как-то подействовал на Ирину.

— Что же, давайте, только вам придётся подождать, пока я закопаю свой сарафан.

— А знаете что? Пойдёмте лучше на моё место. Там далеко в море вдаётся намытая весной из юнговского ложка коса. Она оканчивается сухим островком всего в полметра шириной, к которому можно пройти лишь по подводному гребешку по колено, надо знать где, а если напрямик или справа, или слева — там глубоко, сразу метра три. Пойдёмте, я покажу вам место, и вы сможете всегда оставлять там одежду и купаться — сразу от островка хрустальная вода, сначала метра два,

а дальше четыре и больше.

— Как вы знаете здесь дно? — удивилась Ирина.

— Немудрено, после тяжёлой моей болезни врачи запретили мне сколько-нибудь далеко плавать. Я и болтаюсь у берега, исследую дно, играю, как в детстве, в потонувшие корабли и сокровища.

Ирина рассмеялась, и мы, сняв обувь, пошли дальше по холодноватому песку, пришлёпывая по мелким волнам-заплескам, тихо лизавшим плотный песок. Я довёл свою спутницу до нужного места, разделся до плавок и пошёл впереди по скрытому под водой песчаному ложку к островку из гальки примерно в 60—70 метрах от берега.

Заглянув в прозрачную воду на скат песчаного намыва, уходивший на трёхметровую глубину, я сказал:

— Я поплыву направо к берегу и не буду оглядываться. Купайтесь, плывите куда угодно, я буду здесь, около берега, а вы, наверное, плаваете далеко.

Не успел я отплыть и нескольких метров, как услышал за собой негромкий всплеск: Ирина скользнула в воду и поплыла прямо в бухту от берега.

Я, досадуя на своё ограниченное очень строгими предупрежденьями плаванье, понырял в прозрачной воде, решив, что обязательно буду продолжать утренние купания — так хорошо видно дно, и выбрался на берег, уже прогревшийся солнцем, поднимавшимся над Киик-Атламой настолько, чтобы лить нежаркое тепло.

Улёгшись на спину, я стал смотреть на облака над морем. Лёгкий шум снова заставил меня чуть повернуть голову и посмотреть из-под прикрывавшей глаза руки. И дыхание замерло от восхищения.

Ирина подплыла к островку, взглянула в мою сторону и вышла на гальку совершенно нагая, вся в катящихся с неё сверкающих в солнце каплях воды. Она выпрямилась, встряхивая откинутой назад головой, и снова, как на пути сюда, мне вспомнилась французская поэма XIX века, посвящённая Афродите, в которой её бёдра сравнивались с широкими парусами, туго надутыми ветром страсти, а груди — с широкими чашами, налитыми волшебным вином любви.

В самом деле, мощные и необыкновенно крутые (из-за тонкости талии; нет, скорее, талия казалась тонкой из-за ширины бёдер) бёдра Ирины были очень выпуклыми спереди — более,

чем плоский живот. Это «уравновешивалось» позади очень круглым высоким задом и прямой спиной, а спереди — нерезко выступающими грудями, очень широкими в основании и близко посаженными, по форме как бы вроде среза тора большого диаметра. Позднее я узнал, что этот тип грудей называется скандинавским, дискоидным.

Сильный торс Ирины, как бы вставленный в разлёт её бёдер, и давал те очаровательные для каждого сильного мужчины очертания амфоры, а прямые гладкие плечи несли высокую шею. Всё тело Ирины было покрыто ровным, одинаковым загаром, не тёмным, как у брюнеток, а, скорее, красно-медным.

Всё это я успел заметить в те несколько секунд, когда Ирина, выжав волосы и встряхнувшись всем телом, провела ладонями по бокам, животу и рукам, а затем мгновенно накинула свой сарафан — больше ничего на ней, оказывается, и не было. Это не удивило меня — очень многие женщины в Коктебеле у моря ходили так.

Ирина негромко окликнула меня — я поднялся, лениво повернулся и пошёл по берегу к своей одежде навстречу ей, медленно шедшей по воде, слегка поднимая платье.

Встретив мой восхищённый взгляд, она посмот-

рела спокойно и неласково и прямо спросила:

— Подсматривали, сознайтесь!

— Сознаюсь. Только правда — взглянул случайно, а после уже не мог оторвать глаз.

— Почему?

— Потому что вы прекрасны совсем по-особенному.

— Как это «по-особенному»?

Я стал объяснять поиски идеала древней красоты, и мы проговорили весь обратный путь. Говорил о культе великой богини в незапамятные времена матриархата, о половой магии, ритуальным назначением которой было поднять страсть нормального животного на высший человеческий уровень преклонения перед прекрасным и наслаждения им, не теряя ничего из огня желания. О мифе Цирцеи, красота и волшебство которой резко разделяли мужчин на две категории — превращая в свиней или делая достойным богини, её любви.

Ирина слушала так же безотрывно, как и в столовой у Марии Степановны.

— И для чего это всё вам? — спросила она, когда мы уже приблизились к памятнику.

— Мне кажется, что как биолог и как историк я смогу понять единство женской красоты, её

основы, заложенные в нас.

— Зачем?

— Чтобы, поняв, было легче искать, сохранять, увековечивать её, а следовательно, накопить в человечестве для людей, а в чём же цель жизни, как не в сохранении и накоплении прекрасного?!

— Вот как, — неопределённо сказала Ирина, — но вы задержитесь здесь, дальше я пойду одна. Не нужно, чтобы нас часто видели вместе — это и для вас.

Я сделал пренебрежительный жест.

— И... для меня тоже, — тише добавила она.

Видя, что я собираюсь спросить её, она заранее отрицательно покачала головой.

— Но как насчёт встречи вечером где-нибудь в саду или за деревней?

— Сегодня нет.

— Как угодно, но мне очень понравилось раннее купание. Я не нарушу вашего уединения, если приду на тот же мыс. Только скажите откровенно, я вовсе не хочу быть навязчивым — это одно из самых отвратных свойств людей.

Ирина подумала несколько секунд, а потом сказала:

— Нет. Не нарушите. Но... вы будете подгляды-

вать? Мне придётся одеть купальник, а это уже совсем не то.

— Подглядывать буду, — честно признался я, — это свыше моих сил — не смотреть, когда перед человеком такая воплощённая богиня. И не надевайте купальника — право же, сегодня всё было очень хорошо.

Я замолчал, увидев, как вдруг горько изменились черты её лица.

— Что такое? — встревоженно спросил я.

— Богиня... если бы вы... — она замолчала, с усилием проглотив нервный комок в горле. — Хорошо, до завтра!

И мы повадились вдвоём рано-рано ходить купаться на открытый мною «необитаемый островок».

Стояли совсем хрустальные тёплые дни середины сентября. Уехали все, кто был с детьми школьного возраста, поредел и взрослый состав отдыхающих.

Тогда Дом Писателей закрывался с первого октября, но я рассчитывал прожить до середины октября, а то и до конца его, если позволит погода. Но пока дни стояли удивительно жаркие, и тёплое море так ласкало загорелую кожу — я уже забыл про свои болезни, и только сердце ещё не

пришло в норму, напоминая о себе при плавании. Но тело впитывало силу, а душа — простор моря, и идеал женской телесной красоты был рядом в солнце и море, чтобы восхищаться всей этой истинно эллинской природной комбинацией — право, это были хорошие дни.

Ирина привыкла ко мне и, очевидно, чувствовала, что я восхищаюсь ею как-то даже не по-мужски только, а по-художнически. Теперь она не отплывала дальше в море, а плавала поблизости, и мы «исследовали» берег и дно в тихие дни, а они всё стояли, как по заказу.

Через несколько дней где-то проходивший шторм нагнал волну, островок оказался затопленным волнами, и мы перекочевали внутрь маленькой бухточки, за мысок.

Устав от борьбы с волнами, я стал выбираться на берег, а Ирина отплыла подальше. Вдруг я услышал негромкий вскрик, обернулся и увидел, что Ирина хотела выйти на островок, через который катились валы, и вдруг упала.

Я кинулся, яростно одолевая удары волн, вышел на мель к Ирине. Она уже встала, уверяя меня, что ничего не случилось, но тут я заметил в схлынувшей воде, что её ступня кровоточит. Очевидно, она разбила ногу о какой-нибудь ост-

рый камень. Не говоря более ни слова, я схватил мокрую и нагую Ирину на руки, поднял и понёс, шатаясь под ударами волн. Она сделала попытку освободиться, но я держал крепко, вынес её на берег и опустил на песок около нашей одежды.

Ступня ниже косточки была разрезана не очень глубоко, но сильно кровоточила, и я принёс платок с водой, смыл кровь и песок и натуго забинтовал, совсем забыв о наготе своей спутницы. Только остановив кровь, я поднял голову и выпрямил спину, встретившись со взглядом Ирины, нахмуренным и пристальным.

Вдруг она залилась краской, и я почувствовал её всю, протянул руку под её плечи, другой опираясь на песок, и в тот же миг её руки обвились вокруг моей шеи, и она с силой потянулась навстречу моим губам. Поцелуй был очень долог и силён. Я крепко прижимал к себе Ирину, чувствуя на своей груди давление её упругих грудей и дрожь, время от времени пробегавшую по её телу.

Когда обоим не хватило дыхания, Ирина откинулась на песок, не то глубоко вздохнув, не то простонав, и закрыла лицо руками. Я хотел было целовать её ещё, но она шепнула мне «не надо» так убедительно, что я понял — не надо. Да и на этом открытом берегу мы были видны издалека,

и её порыв угас, а я, конечно, не стал настаивать.

Набросив на неё полотенце, я взял одежду, отвернулся, отошёл под берег и стал одеваться. Вернувшись, я застал Ирину одетой — она также смотрела на меня в упор и молчала.

— Можете идти? — спросил я. — Пойдём под руку.

Ирина не отвечала, и я хотел взять её за локоть. Она отодвинулась и сказала:

— Хорошо, я скажу вам... Нет, не сейчас, вечером. Пойдёмте гулять.

Я опустил глаза на её забинтованную ступню, она встряхнула волосами:

— Пустяки.

И вдруг взглянула на меня с каким-то новым выражением покорности и насмешки надо мной или над самой собой — не понял тогда.

Ночи стали безлунными. Мы встретились при свете звёзд за тем самым поворотом дороги, но поднявшийся из-за Сюрю-Кая ветер заставил нас укрыться у каменного забора заброшенного засохшего сада на склоне холма недалеко от мостика.

Ирина взяла предложенную ей мою руку, и я почувствовал, что её рука холодная и вздрагивает не то от озноба, не то от волнения. Я снял с себя

лёгкий полотняный пиджак и накинул поверх её тоненькой безрукавной кофточки, но сосредоточенная Ирина почти не заметила, что её укрыли. Она начала мне рассказывать, так волнуясь, что я остановил её, сказав, что она вовсе не обязана мне исповедоваться и может не говорить ни слова о том, что ей неприятно.

Ирина резко и сильно сдавила мою руку, как делала это уже несколько раз, и энергично мотнула головой (она встретилась так отчуждённо, что я не решился её поцеловать, хотя и был ещё полон ощущения долгого поцелуя на берегу, когда Ирина уже отдавала себя мне через губы).

— Я не исповедуюсь, я себя проверяю и через умного хорошего человека — ведь вы хороший?

Удивляясь вопросу, я сказал:

— Не знаю.

— Очень хороший! — так громко сказала она, что я невольно оглянулся кругом, но безлюдная звёздная ночь была столь же молчалива, сколь и темна.

Молчала и Ирина, только её взволнованное дыхание доносилось до меня тонким дуновением, когда я склонился к ней, ожидая негромких слов. Видя её нерешительность, я начал:

— Послушайте, Ирина Кондратьевна, право же,

мне вовсе не нужно...

— Вы хотите сказать, что до такой степени безразличны ко мне? — вдруг спросила она.

— Вовсе нет, просто мне не нужно и не хочется вас мучить.

— А придётся — для меня, пожалуйста.

Я снова умолк в ожидании, и снова Ирина не решилась начать. И вдруг она обхватила руками моё тело и вся прижалась ко мне, и я целовал её долго — раз, другой, третий.

— Хорошо, — сказала она, медленно освобождаясь, — теперь у меня есть храбрость на признание. Вы знаете, что я лесбиянка? — внезапно выпалила она.

— Есть такая сплетня, но я в неё не верю, очень вы не похожи — такая, какая есть, какой вас видел, ну, там, на берегу.

Ирина, по обыкновению, сильно сжала мою руку, что, видимо, было у неё выражением высшей благодарности.

— А вы слыхали, что я... ну, за деньги, блудница, что ли?

— Слыхал и это, и тоже не верю. Вы могли бы этим путём достичь куда большего, чем эта скромная одёжка, — я коснулся пальцем её кофточки.

И опять Ирина, обняв меня за шею, наградила

долгим поцелуем и, едва переведя дух, сказала угрюмо:

— А ведь всё это правда!

— Не может быть! — запротестовал я, хотя и ощутил неподдельную искренность в словах молодой женщины.

— Ещё как может! — громко и уверенно сказала она, на несколько времени задумалась и продолжила.

Я узнал возмутительную трагическую историю, рассказанную мне спокойным тоном осудившего только себя человека, считавшего, что всё для него потеряно и остаётся лишь забыть о дорогих её сердцу людях.

Короче говоря: дочь не её, а сестры, попавшей в оккупацию и посаженной в 1947 году по какому-то нелепому обвинению. Ей удалось оставить у себя девочку, очень болезненную (но это всё, что у сестры осталось), по счастливому стечению обстоятельств девочка была у неё на лето в момент ареста сестры, и потому-то гепеушка оставила её в покое.

Но муж её отчаянно запротестовал. Он вообще перетрусил, когда узнал, что сестра его жены осуждена (боясь «запачкать личное дело»), а то, что её дочь осталась жить у них, переполнило

чашу, и он очень скоро ушёл и даже уехал в другой город, кажется, Киев. Его старые друзья (и её), через которых Ирина и познакомилась с будущим мужем, Ш-вы, вначале якобы приняли участие в ней.

Спустя некоторое время выяснилось, что Ш-ва — активная лесбиянка с мужскими задатками, которую неотразимо влекла могучая женственность Ирины. Она влюбилась в Ирину и, будучи естественно отвергнутой, пустилась на жестокое средство. Она пригрозила донести, что Ирина укрывает дочь врага народа и через неё связана с другими преступниками. Ни секунды не сомневалась Ирина, что эта жестокая и эгоистическая женщина сделает всё, чтобы исполнить свою угрозу. Она долго колебалась, взвешивая все возможности, хотела уехать, но 1948 год оказался ещё страшнее, её сестре прибавили наказание и перевели в более строгий лагерь. Ирина сдалась, не для себя, а для сестриного ребёнка, страшно боясь, что её отнимут.

— И... и это оказалось не так... не так...

Ирина не подыскала слов, опуская голову от стыда.

Я обнял её за плечи (мы сидели рядом, совсем близко) и крепко прижал к своему боку. Это брат-

ское объятие подбодрило Ирину, к тому же я сам закончил:

— Не так отвратительно.

— Да, да, стыдно сказать, но да! — зашептала молодая женщина.

— Я понимаю, — вдруг сообразил я, — это оказалось не очень трудно, потому что вы продолжали в этом быть женщиной, то есть отдаваться.

— Вот, вот, и я даже привыкла к тому, что принадлежу не мужчине, а женщине, у которой мужские руки и... язык, — еле выговорила Ирина.

— Так тогда какая же вы лесбиянка? Нормальная женщина, которую только судьба заставила.

— О нет, всё, всё было хуже.

Ирина продолжала рассказ о том, как болела её приёмная дочь и врачи постановили ей ехать на юг, а её зарплаты (забыл — она работала не то библиотекарем, не то лаборантом в каком-то плохо оплачиваемом музее, чуть ли не в Этнографическом — не Академии, а Русского музея) никак не хватало на всё, и продавать после реэвакуации было нечего. Ш-ва, её лесбийский «муж», предложила одолжить денег, убеждая взять. Она в конце концов решилась и взяла деньги, и буквально через неделю Ш-ва устроила так,

что Ирина стала ещё любовницей собственного мужа Ш-вой, давно уже не удовлетворённого своей лесбиянкой, всячески уклонявшейся от своих женских «обязанностей». Это было ещё хуже, и Ирине пришлось отдаваться и мужу, и жене, каждому на свой лад. Она только мечтала о близком отъезде с девочкой, когда выяснилось, что Ш-ва сняла дом в Коктебеле и едет с ней. Так она прожила своё первое лето в Коктебеле (1949 год), куда приезжал и муж Ш-вой.

Странные отношения не укрылись от глаз маленького тогда коктебельского общества, слухи о поведении Ирины распространились тем более охотно, что мужчины были не прочь приударить за ней, а женщины — ну что женщины, если появляется среди них такая, какая привлекает мужчин.

— И всё это продолжается до сих пор, вы понимаете? — закончила Ирина. — Вот вам ваша «богиня»!

Я молчал, задумавшись. Ирина, отстранилась от меня и старалась разглядеть выражение моих глаз. Несколькими вопросами я выяснил, что надеяться на какой-нибудь «откуп» или апелляцию к добропорядочности, жалости и вообще хорошим чувствам было бесполезно, главное

— абсолютно ненадёжно. Так с ядовитыми людьми надо обязательно найти противоядие или противопоставить их яду другой. Видимо, иного выхода нет.

— Слушайте, Ирина, внимательно и постарайтесь как можно хладнокровнее, отбросив и жгучую обиду, и меня, и поруганную женскую гордость. Ведь вы уже два или три года знаетесь с этой парой Ш-вых. Неужели вы никогда не слышали в разговорах между ними, что она чего-то опасается, что-то совершила такое, что карается. Ведь такие люди не могут прожить без каких-либо преступлений, ибо разве не преступление тот шантаж, которому она подвергла вас — из-за ребёнка? Значит, у них нет ничего святого, и тогда...

Ирина перебрала два-три разговора, которые я забраковал, не видя зацепок, но ещё один случай заставил меня привскочить на месте. Ирина вспомнила, что Ш-вы несколько раз возвращались к разговору о работе Ш-ва на опийной станции в Алма-Ата в тридцатые годы. Она вспоминала о какой-то угрозе, и сама судьба (уверен, не случайно) заставила меня быть на этой станции в 1929 году, когда я слыхал о крупных злоупотреблениях с утечкой опия (неправильной

оценкой горных маковых плантаций), вскрывшихся за год до этого. А мой друг контрабандист Джурум Ниязов говорил...

И тут, словно молния, вспыхнуло воспоминание. Ш-в? Конечно же, Ш-в!

Только бы вспомнить имя и фамилию человека, о котором говорил Джурум!

Стараясь уцепить за хвост ускользающее воспоминание, я согнулся, сжал виски ладонями.

Ирина глядела на меня с полным недоумением. И тут мне повезло — память сработала. Повезло и Ирине — она случайно или не случайно получила, может быть, единственный шанс, который давал ей возможность выпутаться из сетей скверных людишек. Я сказал ей об этом, спросил, где сейчас Ш-в.

— Он приехал несколько дней назад, — тихо ответила Ирина, опуская голову.

Я закурил и посмотрел на часы.



«Скандинавские» (дискоидные) груди, как у Ирины

— Всего лишь девять часов, — сказал я. — Забываешь, что уже осень и темнеет рано. Когда ложатся спать ваши «хозяева»? Поздно? Ну, тогда давайте я нанесу им визит — вы представите меня как случайного знакомца от Марии Степановны, который, услышав, что вы живёте у Ш-вых, заинтересовался и сказал, что знает таких.

И я рассказал свой план. Недоверчиво и глубоко вздохнув, Ирина согласилась, и мы пошли.

— Ваша дочь уже спит? Как её зовут?

— Маринка, я попросила нашу хозяйку (не Ш-ву, которую она страшно не любит) уложить её.

Мы пришли к вечернему чаепитию.

Сама Ш-ва оказалась совсем другой, чем я представлял себе — хорошо сложённой, ещё молодой женщиной, невысокой, со стриженными коротко каштановыми волосами и тёмно-карими глазами. Ничего сугубо «сволочного» я не увидел с первого взгляда, разве только неприятную привычку постоянно увлажнять свой широкий рот.

Зато Ш-в — полный, тоже невысокий, с длинным узким лицом и близко посаженными глазами — мне сразу не понравился. Я представился — они знали, конечно, меня, здесь я был заметен.

Мы закурили, затем я как бы невзначай сказал

Ш-ву, что я бывал в Алма-Ата в таких-то годах. Он насторожился, и опасение затаилось в его лице. Ободрённый, что, может, я на верном пути, я соврал насчёт комиссии, в которой я якобы участвовал для разбора дел в АКОСПО (так называлась организация, ведавшая опийными плантациями), когда обнаружилась утечка в Китай, связь с контрабандистами и неверная оценка урожая. И когда я назвал некую фамилию, которую посчастливилось вспомнить, тогда Ш-в принялся курить папиросу за папиросой. Я встал и откланялся.

— Я провожу вас, — внезапно сказал Ш-в и, несмотря на мой отказ, пошёл надевать пиджак.

Улучив момент, я шепнул Ирине:

— Подтверждайте или, в крайнем случае, не отрицайте ничего, что вам скажут сегодня обо мне.

Она, взволнованная до предела, стиснула мне руку.

Я попрощался с Ш-вой, не спускавшей с меня оценивающе-недоброжелательного взгляда, и мы вышли. В молчании мы дошли до ворот Дома Писателей, вернее, до того, что от них тогда оставалось, и Ш-в круто остановился, как бы приняв какое-то решение.

— Что вы знаете о делах АКОСПО, профессор?

— Всё! — коротко сказал я.

— И... и про меня?

— Да, и про вас.

— Но я, с тех пор прошло столько лет, я был тогда совсем молод...

— Знаю, — я говорил отрывисто, тоном безжалостного судьи, — всё давно забыто, но ведь можно и раскопать.

— Ради бога... — начал Ш-в.

— О, никакого бога не нужно! — резко оборвал его я.

— Так что же вам-то нужно? — крикнул Ш-в.

— Мне ничего. Но вот надо, чтобы вы и ваша жена навсегда, слышите, навсегда оставили Ирину в покое.

— Так я и знал, эта мерзкая проститутка уже оболгала, — задохнулся Ш-ов, — эта блядь...

Я прибегнул к испытанному средству величайшей наглости — сильно щёлкнул его по носу. Он отступил, точно подавившись и держась за нос, смотрел на меня со страхом и величайшим удивлением.

— Вы ничем не рискуете. Если всё, что она сказала — неправда, и она такая — выгоняйте её от себя, она опасная женщина. Если же шантаж с вашей стороны, то он должен прекратиться. Вы знаете, что дело — в ребёнке. Так вот — пока

ребёнок будет с Ириной — вы в безопасности. Если девочку отберут органы — значит, вы или ваша жена донесли, и тогда подробное дело о китайско-таранчинских контрабандистах, о шёлке и серебре пойдёт куда надо. Я напишу его сегодня же, запечатаю в конверт и дам поручение третьему лицу безупречной честности следить за всем. Ирина всегда сможет обратиться к нему — оно будет названо только ей. Идёт?

Ш-ов отступил ещё на шаг, пытаясь пронзить меня в полутьме глазами, кивнул, закурил и выдавил из себя:

— Согласен!

— Ну вот и хорошо, а мне от вас ничего не надо, даже продолжения знакомства. Прощайте.

На следующее утреннее купание Ирина не появилась. Я размышлял, что с ней могло случиться, но узнавать мне не хотелось, и я решил обождать до следующего утра.

Я увидел с радостью Ирину, которая с опущенной головой шла к нашему островку. Оказалось, что после возвращения Ш-ва произошла безобразная сцена, продолжавшаяся всю ночь, когда её клеймили, ругали, оскорбляли и наконец предложили убираться вон.

Наутро она перешла жить в маленький домик

недалеко от нашего Дома Писателей, сняв дешёвую комнатку у двух стариков — с окончанием сезона даже в полуразрушенном Коктебеле было сколь угодно комнат.

— Что вы им сказали такое ужасное? — нервно спросила Ирина, даже не делая попытки идти в воду.

Я передал разговор с Ш-вым, и молодая женщина вздохнула облегчённо.

— Теперь знайте — действительно, бумагу будет хранить такой-то, — я назвал человека.

Ирина молча стояла передо мной, опустив руки и глядя мне в глаза.

— Ну, что же, всё хорошо? — спросил я, уже начиная опасаться, не причинил ли я вреда вместо пользы.

— Боже мой! Да, конечно же, я ещё не могу поверить, — вопреки обыкновению, Ирина взглянула на меня не смело, а с какой-то робостью.

— Ну вот, как чудесно! — обрадовался я, протягивая ей обе руки.

Она жадно схватила их, я притянул её к себе, и мы обменялись долгим поцелуем. Впервые её губы трепетали от волнения, прижимаясь к моим, а она вся открыто и безудержно прижалась ко мне, опомнилась, почти оттолкнула меня и сказала:

— Я иду купаться, отвернитесь.

— Что же они сказали вам? — поинтересовался я, когда прошло первое ощущение холода и мы качались близко друг от друга на широких спокойных волнах.

— О, много, очень много, но самое забавное — и тут не удержались от мелкой мести. Ш-ва сказала, что вы не договаривались, чтобы они меня «кормили и поили», платили за меня, так пусть я буду проучена и вылечу от них без копейки.

— Слава богу, — сказал я, — что не было никакой речи о деньгах — это был бы шантаж, подобный вашему.

— Оборонительная мера, я так поняла, — ответила Ирина.

— Постойте-ка, — обеспокоился я, — и они действительно выкинули вас без копейки?

— Ну, рублей около пятидесяти у меня есть.

— Но ведь это же прожить в один день, в Феодосию съездить, — сказал я.

— Ничего, сейчас мне главное уехать, пора, а на дорогу я займу у Марии Степановны, у Любочки, мало ли у кого.

— Слушайте, Ирина, вы должны взять у меня деньги — у меня их достаточно. Возьмите тысячи полторы — и вам хватит и здесь, и доехать, и на

первое время в Ленинграде. Я пришлю вам ещё тысячу-другую, чтобы вы смогли устроиться как следует.

— Ни в коем случае! Зачем вы так! — воскликнула Ирина.

— Как это так? Я думаю даже не о вас самой, а о Маринке!

Гневное выражение на лице Ирины погасло, она посмотрела даже жалобно.

— Вы обезоруживаете меня, но всё же я никак не могу.

— И всё же я сегодня же принесу вам денег. Какой ваш дом?

— Нет, нет, нет! — Ирина даже забила руками по воде.

— Слушайте, женщина, — начал сердиться я, — право же, эти деньги мне ничего не составят. Я получил недавно большую премию, у меня большая зарплата, словом, это пустяки. А для вас, для Маринки, наконец, чорт возьми, для посрамления Ш-вых — всё это нужно. Нельзя же быть узко смотрящей на существо дела, на человеческое участие и помощь.

— Всё это так, всё верно, но если бы это были не вы...

— Вот так раз! — удивился я. — По-моему, как

раз наоборот.

— Вовсе нет, именно поэтому. Ну, вы не понимаете! Ох, я замёрзла и хочу выходить. Отвернитесь!

На обратном пути Ирина помалкивала, пока я не возобновил разговора.

— Так всё-таки почему не взять от меня? Это же глупо, в конце концов!

Ирина остановилась, вся вспыхнув.

— Да потому, что если я возьму от вас деньги, то и буду этой самой, как Ш-вы на меня кричали, — шлюхой. Поймите наконец.

— Но ведь не обязаны же вы отдаться мне! — неосторожно возразил я, и вдруг Ирина опустила голову, сникла и пошла вперёд, не отвечая.

Я поспешил за ней и, обогнав, загородил дорогу.

— Оставьте меня сейчас, — тихо сказала она, — хорошо, я возьму у вас денег на отъезд, — и она хотела идти дальше.

— Подождите. Я вижу, чем-то обидел вас. Объясните.

— Что уж тут объяснять такому мудрому человеку. Просто я вижу, что вам я не нужна. До свидания.

Я схватил Ирину за руку и резко потянул к

себе. Напомнил ей об опасном тяжёлом времени произвола, в каком мы живём, сказал о том, что ещё неизвестно, как дальше поведут себя Ш-вы. Во имя чего же она хочет разоружить себя перед ними, отвергая простую денежную помощь? Во имя того, что я, один знающий об этом человек, что-то подумаю о ней? Чепуха!

Кроме всего, я ничего не подумаю и ничего мне не надо. Разве она не знает, что после болезни у меня испорчено сердце, даже плавать как следует не могу. И у меня сейчас нет силы мужского влечения к женщине.

— Вот как, — недоумённо спросила Ирина, — тогда зачем же я нужна вам? Зачем вы...

— Целую вас? Ну, это уж ваша беда — слишком вы привлекательны, есть пределы всякой сдержанности. А нужны вы — любоваться вами. Разве вы забыли, как я рассказывал вам про древний идеал?

— Ничего я не забыла, и это моё утешение и радость, поймите меня тоже! Но мне стало казаться, что я внушаю вам одновременно восхищение и отвращение, потому что вы знаете, что я... я...

— И вы почувствовали это в поцелуе — одном, другом и в третий раз?

— О, нет!

— Тогда всё это воображение. Просто я ещё не пришёл в норму, может быть, и вообще не вернусь к тому, что раньше считал нормой для себя. А вспомните про вечер нашего знакомства! Разве я тогда не слыхал про вас всё без всяких объяснений и снисхождений?

— С вами очень трудно не соглашаться. Очень уж логично ваше рассуждение, и всё же...

— ...И всё же в логике мало тепла, вы это хотели сказать.

— Как всегда, вы читаете в моих мыслях, иногда даже это отзывается жутью.

Мы дошли до поворота дорожки у стены дома Волошина. Ирина сжала мне руку, сильно оперлась на неё и нырнула в проход между кустами. Я хотел её окликнуть, вспомнив, что не узнал, как найти дом, но понял, что это не так трудно сделать и без её помощи.

В столовой Дома, где оставалось мало отдыхающих, но продолжали передаваться последние коктебельские новости, я узнал о внезапном отъезде Ш-вых. Хорошо это или плохо — могло решить лишь будущее (как оказалось, это было хорошо).

После ужина я разыскал маленький двухкомнатный домик, где поселилась Ирина. Двое

стариков встретили меня приветливо и провели крытой узкой галерейкой к двери в её комнату, выкликнув её. И вовремя — быстро темнело, и спустя несколько минут мне было бы трудно искать её жилище.

Ирина предложила мне посидеть на крылечке, пока она вымоет Марину и уложит её. Я покурил, задумался, глядя на зажёгшиеся над морем звёзды, и тут появилась Ирина. На моё замечание, что она быстро управилась, она сказала, что Марина — очень хорошая девочка, моментально укладывается, набегавшись за день, спит крепко всю ночь и утро, когда она бегает купаться на «наш островок».

Я настойчиво заставил её взять пакет с деньгами и сообщил об отъезде Ш-вых. Она, оказывается, не знала и даже вскочила на ноги (она сидела рядом со мною на ступеньках) и несколько раз прошлась перед крылечком.

— Не знаю, хорошо это или плохо, — начал я.

— А я знаю, их знаю! — перебила она меня. — Это очень хорошо. Очень!

Она даже перекружилась, как бы протанцевав два-три шага. Я молчал, обрадованный.

— Знаете что, пойдёмте купаться, как только Маринка уснёт. С отъездом Ш-вых я хочу смыть с

себя даже всякие мысли об этом!

— Пойдёмте, очень хорошо, только купаться придётся на нашем пляже, иначе заметут эти олухи-пограничники. Мы пойдём поближе к дороге, против ленинградской территории. Там никто ночью не купается, потому что в дне торчат ржавые обломки рельсов эстакады и под водой можно жестоко пораниться, но я знаю, где они.

— Вы знаете тут всё дно, — это я уже поняла, — весело воскликнула Ирина.

— Поневоле, когда врачи обрекли болтаться около берега, развлекаюсь как могу.

Весёлый смех Ирины был мне ответом.

Вскоре мы оба раздевались на берегу, у неторопливых заплесков невидимых волн, и тоже стали невидимы в темноте с нашими сильно загорелыми телами.

Тогда не было никакого освещения на берегу, и в «траурно-чёрных» волнах, по меткому выражению Гумилёва, отблёскивали лишь звёзды. Море казалось бездонной первозданной глубиной.

Ирина, подойдя к воде, попробовала её ногой и, слегка задыхаясь, шепнула:

— Я захватила второе полотенце для вас.

— Спасибо, ночи действительно всё холоднее и холоднее, но вода ничего, теплее, чем утром, не

бойтесь, идёмте.

Я взял Ирину за руку, и она прижалась ко мне. Так мы вошли в холодную черноту. Это очень приятный, чуть жутковатый момент, когда обрыв берега уйдёт из-под ног под водой, и бросаешься в черноту.

— Ай! — слабо вскрикнула Ирина и в ту же секунду уже плыла рядом.

Мы накупались вволю, наскоро обтёрли себя на берегу и скрылись в саду «ленинградской» территории, к счастью, так и не повстречав пограничников.

— Домой? — спросил я Ирину, когда мы шли по скрежещущей морской гальке, какой были усыпаны все дорожки.

— Домой, мне пора, — с сожалением сказала Ирина, и мы пересекли территорию, вышли на сухую пыльную дорогу и направились к её дому, избегая обрывков колючей проволоки, встречавшейся около разрушенных заборов.

— Как хорошо, вы, наверное, не можете себе представить, вы, грозный человек, как кричали мне про вас Ш-вы!

— Я вовсе не грозный, а самый мирный, только до смерти ненавижу негодяев, пользующихся теперешним положением с доносами и арестами.

Правда, вот я тоже воспользовался!

— Ничего нет, что бы я не сделала для вас, — пылко сказала Ирина, стискивая, по своему обычаю, мою руку.

— Если так, то сделайте, — сказал я.

Вдруг мне пришло в голову измерить её пропорции, но я тогда ещё плохо знал, как это делается и с чего начинать.

— Что, говорите!

— Возьмите сантиметр и измерьте себя, без одежды, конечно, поточнее, — рост, обхват груди по соскам, обхват талии и бёдер в самом широком месте, диаметр одной груди и обхват шеи.

Ирина выпрямилась, снова сжала мою руку и вдруг спросила:

— Нет, уж я не буду, мерьте сами, как хотите и что хотите!

— Но как же... — замялся я.

— А вот так — купаться со мной можно, любоваться мною на берегу — можно, целовать меня голую можно... -тише добавила она, опуская голову, но продолжая держать меня за руку.

— И сейчас можно? — спросил я, наклоняясь к ней.

— Мне бы так хотелось, чтобы вы не шутили этим... Я ведь... — прерывающимся голосом отве-

тила она, и я почувствовал себя виноватым.

— Я не буду больше, я ведь не зло, вы знаете, что мне нравитесь, и очень даже, — шепнул я.

В ответ она крепко обняла меня, и мы поцеловались ещё дольше и горячее, чем прежде. Я почувствовал, как желание овладевает мною, куда более сильное, чем то, какое приходило на берегу, когда я впервые разглядел её как следует. Я привлёк её к себе и целовал до тех пор, пока она не вырвалась, задыхающаяся и горячая.

— Надо идти в дом, может, Маринка проснулась, — сказала Ирина, — так завтра? Я приду к вам днём, можно? Утром я не буду на пляже, поеду на базар в Феодосию, а днём, когда Маринка будет до обеда играть у подружки, я свободна, и мерьте, как вам надо.

— Дело в том, — начал я.

— В чём же? — последовал немедленный вопрос.

— В том, что я сам не знаю, как надо. Я не художник и вообще никогда измерениями не занимался, только увидев вас, я подумал, что пора внести некое понимание в своё чувство красоты и древние каноны телосложения.

— Боже, как это хорошо! — воскликнула Ирина, сама целуя меня и откровенно прижимаясь всем

телом, и я так и не понял, хорошо ли мерить каноны или то, что я их не мерил.

Я под конец пребывания занял единственную комнату в верхнем этаже серого дома, обращённую к деревне и снабжённую временной деревянной лестницей. Вся остальная часть ещё не закончилась ремонтом, и вообще здесь я оставался совсем один. Я укрылся после завтрака в своей комнате, опасаясь неожиданного отвлечения кем-нибудь из обитателей писательского дома, сделав вид, что меня нет, и около 11-ти часов услышал осторожные шаги по лестнице, узнал Ирину и взволновался. Осторожный стук — и в комнату вошла, слегка задыхаясь, Ирина, осторожно закрыв за собой дверь. Я поцеловал её руку, запер дверь на замок и прикрыл занавеску — меня нет дома.

Предложив Ирине сесть и несколько церемонно обмениваясь незначащими словами, я совершил ошибку. Воцарилась какая-то натянутость, ни я, ни она не решались сказать нужные слова, напряжение и смущение росло, пока наконец я не воскликнул:

— А к чорту все эти церемонии, ведь мы оба гораздо ближе, чем вдруг на нас нашло. Это потому, что не у моря, так я буду морем, — с этими слова-

ми я привлёк к себе Ирину, крепко обнял и, скрыв лицо в её пахнущих морем волосах, Держал у своей груди, чувствуя, как бьётся её сердце.

Прошло несколько минут, она запрокинула голову назад, подставив мне губы. И очень скоро смущенье обоих прошло — мы снова были не связанными условностями детьми моря и солнца.

Ирина высвободилась наконец, растрёпанная, она совсем Распустила причёску и сказала:

— Отвернитесь, — совсем таким же спокойным тоном, как при наших купаниях на островке.

Через несколько секунд у притолоки двери, опираясь на неё спиной и затылком, выпрямилась гордо обнажённая Ирина, смело глядя на меня и (по своему обыкновению, когда возбуждена или напряжена) слегка раздувая ноздри.

Я замер в восхищении — здесь ничего не отвлекало меня от любования её эротически мощным телом.

— Что же вы, берите сантиметр, карандаш, бумагу.

Волнуясь, дрожа пальцами, я отметил её рост на планке двери и стал мерить.

Понадеявшись на память, я не записал ничего сразу, а потом после всего, что произошло, я перепутал некоторые цифры. Пришлось переме-

рять после с неточным результатом, и я понял, что пока (или вообще) не гожусь в художники, а только ещё в любовники, не созрев до подлинной учёности. Я так и не знаю, какие из цифр верны — второе измерение дал в скобках, — вероятно, что-то среднее, а может, и сама Ирина изменилась так от любви?

Рост - 161 (162).

Окружность (обхват) груди по соскам — 102 (104).

Максимальный обхват бёдер — 114 (117).

Окружность самого узкого места талии — 65 (63).

Расстояние между сосками — 17 (16).

Наибольший диаметр одной груди — 15(14).

Высота от пола до линии наибольшей ширины бёдер — 90 (92).

То же до линии самого узкого места талии — 104 (106).

Ширина плеч спереди — 40 (40).

Ширина бёдер спереди — 46 (48).

Ширина наибольшая бёдер по дуге спереди — 55; то же сзади — 62 (это я добавил при втором измерении, а вообще ничего более не догадался).

Странное дело: чем больше я мерил, тем сильнее становилось нетерпеливое желание, и я с

трудом сделал эти несколько измерений, перед тем как прижать Ирину к себе. Она вся напряглась и застонала, обвивая меня руками за шею и плотно закрыв глаза, как слепая, водила губами по моему лицу. Я поднял её на руках и положил на кровать, а сам задержался на несколько секунд, сбрасывая одежду.

Ирина в тот момент, как я склонился над нею, не раскрывая глаз, ощупью схватила подушку из-под головы, сбросила её на пол и струной вытянулась на постели, крепко сжав бёдра и колени. Она раскрыла руки в стороны, согнула их в локтях и положила обе ладони тыльными сторонами на глаза.

Изумительно хороши были её без пятнышка загорелые груди и чистая линия узкой талии, круто огибавшая абсолютно плавные дуги бёдер.

Я опустился на колени рядом и прикоснулся губами к тёмным соскам, и тут только понял, отчего так сильно я чувствовал их на своей груди, обнимая Ирину прежде и думая, что это моя особая чувствительность к линиям её тела. Невероятно тугие, твёрдые, точно деревянные соски и напряжённые груди были, вероятно, болезненны или очень чувствительны на мои поцелуи, потому что даже лёгкое прикосновение губ к ним

заставляло Ирину вскрикивать.

Я продолжил нежно целовать их, потому что Ирина не отрывала рук от лица, и она стала извиваться, виляя бёдрами в гибкой талии, будто кубинская или египетская танцовщица, и напрягаться, не разжимая коленей. Я положил своё колено между её бёдер, сильно нажал сверху, после сильной, но недолгой борьбы она уступила сразу, широко раскрыв бёдра и замерев, ожидала моего прикосновения.

Я коснулся её йони, очень влажной уже и горячей, головкой своего члена, лаская её так же нежно и осторожно, как обезумевшие от желания соски. Ирина возобновила свой «танец» бёдрами, стараясь охватить конец члена губами йони, придвигаясь ближе.

Желание окончательно завладело мною, и я, преодолев тугое сопротивление, вдвинул член во всю его длину в глубь йони. Ирина замерла снова, раскрыла руки и на миг посмотрела на меня, запрокинув голову, раздув ноздри и обнажив зубы в полустрадальческой улыбке. Я принялся сильно действовать членом взад-вперёд. Ирина, видимо, не ожидала такой силы после моих разговоров о болезни и, забывшись, огласила комнату плачущими вскриками. И в самом деле, слёзы стояли

у неё в глазах и горле, при том что она отвечала мне самозабвенно.

И тут впервые я ощутил прелесть обладания женщиной с такими широкими бёдрами. Я оказался точно заперт в могучем кольце страстного, полного огня объятия, точно на горячем упругом ложе, принимавшем мня в свою глубину. Трудно описать словами это совсем особенное чувство, когда сильные бёдра Ирины превратились в полукруг или кольцо, полностью захватившее меня и отделившее от всего мира.

Немного встревоженный рыдающими стонами Ирины, я хотел прервать соединение, да и пора было, чтобы не рисковать её беременностью — это мне было меньше всего надо.

Но Ирина неистово прижала меня к себе ногами и руками, повторяя:

— Не надо, не надо, я знаю... я хочу до конца.

В результате, хотя и кончилось, но член остался напряжённым, как некогда в молодые годы, и сразу за первым разом, не прерываясь, начался второй. Этот второй был уже так долог, как у меня обычно, и не успел он закончиться, как Ирина крикнула громко и отрывисто два-три раза, а затем замерла в таком напряжении, что вся стала будто в каталептической судороге мышц, а затем

отдала обильную влагу, оросившую простыни и меня. Она снова закрыла глаза руками, медленно извиваясь в такт с моими движениями, но уже не вскрикивала, а только полустонала-полушептала:

— Боже, как можно... боже, какой позор... — но постепенно опять разомкнула руки и теперь сама подставила свои груди моим рукам, словно их соски утратили свою болезненность.

Второе её окончание было почти столь же бурным, потом она прошептала:

— Пустите, — и отвернулась к стене, прикрыв рукой левую щёку.

Я хотел благодарно поцеловать её, но она не поворачивалась, и было ясно, что ей почему-то очень стыдно. Я нежно сказал ей об этом, но она долго не отвечала, вздрагивая и учащённо дыша, пока немного не успокоилась. Потом она попыталась объяснить мне, и я понял.

Ей был отвратителен вынужденный любовник Ш-ов (к счастью, это было редко), и она ничего не чувствовала эротического с ним. Это как бы переключило её на нежные и долгие ласки лесбиянки Ш-вой, в которых она находила больше удовлетворения, вернее, чувства, потому что настоящего удовлетворения никогда не было.

Особенно мучительно было, когда они бывали вместе и обладали ею вдвоём — сначала её ласкала Ш-ва, потом брал Ш-ов и удалялся спать, а возбуждённая Ш-ва ещё долго целовала её груди, живот и бёдра, ласкала её йони языком, тёрлась об неё, пока сама не достигала оргазма, а Ирина во всех таких случаях вся внутренне сжималась, оставаясь холодной и лишь позволяя себя ласкать, но очень сильное женское тело брало своё, и иногда она находила удовольствие в объятиях Ш-вой с её хорошим чистым телом, но всё же нарастала огромная неудовлетворённость. И вдруг такой сильный порыв Эроса со мной, что она обезумела, и ей показалось, что она вся излилась в каскадах страсти.

— Наверное, я была отвратительна, — сказала Ирина, — так, что теперь вы...

— Теперь я... — продолжил я, становясь на колени перед кроватью и подсунув руки под Ирину, с силой повернул её к себе и прильнул к губам, пока она сама не стала отвечать мне, обняв за шею и медленно повиливая бёдрами.

Я поцеловал её шею, груди, соски, которых стали не так неистово туги, и теперь Ирина ответила мне, выгибая спину, живот и ноги.

— Я смываю всё прежнее поцелуем любви,

видишь, — сказал я, и молодая женщина вся затрепетала, раскрываясь мне.

И опять я погрузился в это непередаваемое чувство кольца широких бёдер и как бы втягивающей в себя жаркой и очень влажной йони, и снова был неистовый разряд. Только когда это случилось в третий раз и Ирина, уже не отворачиваясь, лежала, глядя на меня, она вдруг опомнилась:

— Боже мой, отпусти меня. Я должна бежать к Маринке!

Узнав, что три часа, она умолила меня выпустить её, молниеносно оделась, изо всех сил прижалась ко мне в поцелуе и убежала.

Я закурил, размышляя о случившемся, и потом пошёл в столовую, едва успев к обеду. Я не успел условиться с Ириной о встрече и потому после ужина, побывав у Марии Степановны, пошёл к знакомому уже домику. Тихо войдя на «веранду» неосвещённого домика, я осторожно постучал, и дверь моментально открылась.

— Вы пришли — я гадала, придёте или нет, и решила...

— Что?

— Не скажу.

— Как же я мог не прийти после такой восхити-

тельной нашей встречи! — серьёзно ответил я.

— И вы хотите...

— Конечно, хочу — всего!

— Я не в том смысле, — смущённо шепнула Ирина.

— А я в любом, каком вы хотите, — ответил я.

— Я с вами не могу спорить, не хватит мозгов, — тихо засмеялась Ирина. — Входите, Маринка спит уже давно.

В комнатке было темно и тепло. Прошло несколько минут, прежде чем привыкли глаза и я стал различать обстановку: столик, кровать, раскладушку, два стула — всю убогую меблировку, какая, впрочем, мало отличалась и от тогдашнего убранства Дома Писателей.

Я спросил Ирину, как она чувствует себя, и она с восторгом сказала, что очень хорошо и радостно. Довольный, я поцеловал её и получил такой самозабвенный ответ, что поцелуи наши прервались, когда Ирина, обнажённая, прижималась ко мне (тоже снявшему постепенно всю одежду) животом и бёдрами, бессознательно и медленно вертя ими.

Я снял с постели покрывало, бросил на пол, бросил на него подушку и, взяв Ирину на руки, опустил на подушку задом. Она внезапно рвану-

лась, села, и я услышал её гневный шёпот:

— Зачем это так... как... эта...

— И никак и не эта, — досадливо ответил я, — просто я подумал, что пол твёрдый, а во мне сто килограмм и... если долго...

Ирина с облегчением тихонько засмеялась:

— Видишь, я совсем дикая. Мне мерещится везде Ш-ва... Да и вообще, часто ли мужчины способны думать о женщинах, им отдающихся... ну, с другой стороны, что ли?!

— Очень плохо для нас, мужчин, что так, — ответил я, нежно касаясь её щеки, — мы теряем очень много, невообразимо много из того необъятно прекрасного, что есть Эрос, если не можем подняться выше уровня животного и поднять женщину, или...

— Или? — нетерпеливо спросила Ирина.

— Или не уронить её, по крайней мере.

Ирина больше ничего не спрашивала, закончив разговор отдающим всю себя поцелуем. Я стал целовать её груди, снова с затвердевшими до болезненности сосками, но она не вскрикивала, а только с усилием втягивала воздух через зубы, как делают люди, страдая. В этом положении, когда её «кругленькая штучка» лежала на подушке, а голова и плечи ниже, на тюфяке, мне было

удобно, и руки освободились, чтобы лечь на её широкочашные груди, не сильно выступавшие, но очень тугие, как у Мириам и Люды, но ещё более широкие в основании, так что мои большие ладони едва охватывали их полностью.

Опираясь руками на эти тугие груди, слегка сжимая их и чувствуя соски в глубине ладоней, я возлежал в кольце широких бёдер, ощущая трепет мышц живота и тугое объятие йони на члене. В наших напряжённых телах каждое маленькое движение отзывалось сильно и захватывающе, как звук в туго натянутых струнах — высоко и долго поёт каждая нота. Я чувствовал всю нежную и грубую силу Эроса, как бы утопая в первозданной силе чувств, куда вход — только через страсть, переполнявшую это великолепное, насыщенное горячей жизнью тело Ирины, будто оно стало воротами в бесконечно разнообразный мир древних ощущений природы, двойственных, как они сами.

С одной стороны (физической, пожалуй) — крайняя обострённость и насыщенность каждого ощущения, с другой (психической) — чувство счастливого покоя, растворения в неуловимом сиянии красоты, ласки и глубокого удовлетворения. И в то самое время — сильнейшей неудовле-

творённости — ещё, ещё, сильнее, в погоню за ускользающей, зыбкой двойственностью, вот-вот откроющейся полностью и навсегда и в тот же миг отдаляющейся, почти исчезающей тут же, в крепких, всё туже становящихся объятиях...

Это всё, конечно, по последующим переживаниям, а тогда — Ирина отдавалась самозабвенно, и не менее самозабвенно я владел ею. Извиваясь подо мною, она вскинула свои крепкие ноги высоко мне на спину, и так как лежала на подушке, то я вошёл в неё ещё глубже, чем прежде. Как ни сдерживалась Ирина, у неё всё же вырвались громкие вскрики, и она зажала себе рот обеими руками, как сначала прикрывала глаза.

Но страсть продолжалась, и она раскинула руки, чтобы тотчас громко вскрикнуть. Испугавшись, что девочка проснётся, Ирина схватила лежавшую рядом свою рубашку и зажала ею рот, издавая лишь приглушённые стоны. Это как-то стесняло меня — неловкостью перед спящим ребёнком, что ли, но результат был обратный — соединение наше длилось и длилось, и я всё никак не мог кончить. Ирина уже два раза вытягивалась струной, замирая в тесном объятии и увлажняя всё ту же подушку, и всё начиналось снова, так как я не переставал. Наконец, совсем

измучившись, я достиг окончания и вытащил подушку из-под изнемогавшей Ирины, обнял её, горячую, снова смущённую своим поведением и без сил прильнувшую ко мне.

Когда Ирина стала дышать ровнее, она спросила:

— Я, наверное, очень противная таким своим...

— Чем? — спросил я, ласково гладя её пылавшую щёку.

— Ну, желанием, и вот я...

Положив пальцы на её губы, я заставил её замолчать и шепнул:

— Вовсе нет, мне это очень по душе, как, наверное, каждому мужчине, только мешает и заставляет сдерживаться опасение, что ваша дочь проснётся. А потому и никак не кончить, я замучил вас.

— Боже, я никогда не думала, что можно так долго... — шепнула Ирина, пряча лицо в моём плече, поцеловала его и добавила, — и потом, эта подушка... мне показалось, что вы... ты в самой глубине внутри меня, точно какая-то сила, разрушительная, почти уничтожающая и... блаженная неописуемо. Так можно умереть от желания.

— Ради бога, — с притворным испугом воскликнул я, — мне надо ещё и ещё видеться с вами,

много раз!

Ирина засмеялась, поднялась, поправляя одеяло на Маринке в углу комнаты, и снова пришла ко мне, тихо смеясь. На мой вопрос она рассказала, что как-то она разговорилась здесь с детской воспитательницей, молодой женщиной с больным сыном, которая организовала детскую группу, и та вдруг призналась ей, что для того, чтобы удержаться в Коктебеле, где она хотела жить постоянно и приобрести домик, ей приходится подрабатывать женским способом среди писателей, и цена — 50 рублей. Несколько раз она рискнула «на ночь» за 100 рублей, и всё шло успешно, пока писатель Б. и поэт Я. сговорились, взяли её каждый на ночь, а стали обладать вдвоём. Униженная и испуганная, она пока прекратила своё занятие до отъезда этих двух пляжных кобелей, как она именовала их.

— И я... — замялась Ирина, я подбодрил её, и она закончила, — я, для себя, конечно только, думала, что если по 100 рублей, то за 15 ночей я сумею «отработать» данные мне деньги. Но если так, как сейчас, то это, оказывается, совсем нелегко!

Я засмеялся тоже, но укорил её мысли о деньгах.

— А вы не корите меня, — сказала Ирина, — для

тех, у кого нет денег и трудно их заработать, это не простой вопрос. А раз не просто, то тут отношение не столь лёгкое, как у вас, и на сцену является гордость.

— Понимаю, простите меня, — сказал я, нежно целуя ей руку, и она опять сжала мою своей выражением согласия и благодарности. — И всё же вы разрешите мне послать вам в Ленинград ещё столько же, чтобы вы смогли устроить Маринку в детскую группу и не отдавать последние деньги соседке, чтобы она смотрела за ребёнком, если вы на работе.

— Откуда вы знаете? — Ирина даже села.

— Ну, это так просто сейчас, и так у всех одиноких матерей, всё равно, приёмных или родных. Так условились? — и, не давая возможности сказать что-нибудь, я стал целовать Ирину и ласкать её груди, соски которых уже не были болезненно напряжены.

Целуя, я своим коленом поднял её правое бедро, и когда она положила его мне на бок, я откинулся назад и взял её сбоку в «малайской позиции».

— Ах! — тихо вскрикнула Ирина. — Разве так можно?

— Видишь, ещё как можно, — ответил я, вонзая член поглубже, и она зашептала:

— Можно, можно, да, да, милый!

Я больше не предлагал ей подушку или другие столь же сильные положения, а спокойно, почти лениво ласкал её в положении наперекрест (малайском), в котором она не была подо мной и не измучивалась так, как вначале. Вдруг она попросила меня едва слышным шёпотом:

— А если я буду сверху, это ничего?

— Конечно! — откликнулся, я и она как-то своеобразно отдалась мне.

В этом положении, лёжа на мне и вцепившись губами в моё плечо и верхнюю часть руки, она сдвигалась назад, насаживаясь на член. Она так ловко действовала своей йони, оказавшейся подвижной, что могла принять член во всю его длину и плавно двигаться на нём, вертясь и покачивая бёдрами, в то время как я обеими руками прижимал и поддерживал её очень круглый крепкий зад, казавшийся могучим крупом кобылицы, и это очень привлекало и увлекало меня. Позднее я сообразил, что, вероятно, её неожиданное искусство в этом положении явилось в результате какой-то лесбиянской позиции, кажется, при которой активная лесбиянка лежит под той, которая является женской половиной позы и её язык и губы находятся примерно в по-

ложении моего члена. Точно так же её странная раскинутая поза в момент нашего первого объятия тоже обязана была лесбийской тренировке, удивительно быстро стёршейся нацело в огне подлинного мужеско-женского Эроса.

Но, как бы то ни было, эта позиция принесла нам много наслаждения. И опять на этот раз мне пришлось прижимать рубашку Ирины к её лицу, когда мы достигли ярого накала. Я понял, что здесь не будет «полностью развёрнутых парусов» страсти, по Овидию, и мы решили не встречаться больше здесь, а днём у меня, пока Марина будет уходить играть с другими ребятами.

На рассвете погода резко изменилась и заревел холодный норд-ост, взбаламутивший море, лишивший всех купания и ещё больше настроивший последних жителей дома на отъезд. Ветер перешёл в бурю с дождём и шумел неустанно, начав обрывать первые листья.

Я не купался из-за холода и просидел день у Марии Степановны в библиотеке Волошина, а затем мирно отправился к себе спать.

К моему удивлению, поздно вечером (может быть, и не так уж поздно, но из-за темноты осени и бури казалось, что глухая ночь) раздался тихий осторожный стук в моё окно, выходившее к им-

провизированной лестнице. Я вскочил с постели в одних трусах, открыл дверь, и в комнату вошла Ирина в намокшем пыльнике, взволнованная и запыхавшаяся от быстрого бега.

— Что-нибудь случилось? — воскликнул я.

— Ничего, или ты не рад меня видеть?

— Конечно, рад, не кокетничайте, — я снял с неё мокрый плащик, — но каким образом?

— Через беду к радости, — и Ирина рассказала, что у неё протекла вся крыша, и она устроила Маринку ночевать у соседей, а сама сказала, что идёт поговорить к Марии Степановне.

— Приютили?

— Разумеется. Это хорошо, потому что крышу, сорванную ветром, будут чинить ещё завтра и послезавтра.

— Вот это повезло, — радостно вскричал я, — но вы продрогли. У меня есть остаток вина из Судака, мадеры, хотите?

— Хочу, но я не хочу, чтобы вы тоже продрогли.

С этими словами Ирина сбросила с себя всё до последней одёжки и, не стесняясь наготы (хотя электричество ещё горело), попросила у меня полотенце и какую-нибудь тряпку для ног.

Пока она обтирала волосы и ноги, я налил нам

по стакану мадеры. Пристально смотря мне в глаза, Ирина чокнулась со мной, залпом выпила свой стакан, слегка задохнулась, зажмурилась и нырнула в постель, с удовольствием вытянувшись под одеялом.

Под грохот моря и шум ветра, подчиняясь ритму бушующей стихии, мы как-то сразу взяли столь же бурный темп, распустив все сдерживающие «препятствия». Ирина уже не боялась моего члена, который озадачил её сначала, и отвечала мне с такой же стремительностью, с какой я часто-часто двигался в ней. Её стоны сделались протяжными и прерывались лишь вскриками в моменты совпадения её стремления ко мне и моего в самую глубь. Она не опасалась, что кто-нибудь нас услышит в эту глухую бурную ночь, и вертелась и извивалась изо всех сил, а я снова испытал на себе магнетизирующее очарованье плена её очень широких бёдер, погружавших меня в некий транс, благодаря которому, несмотря на весь бешеный темп, я всё же не мог быстро кончить.

Экстаз и «разрядка» наступили у Ирины столь же буйно, как и в прежние разы. Так же закрывала она лицо, пылающее от страсти и стыда за своё «неприличное» поведение. А сегодня,

вернее, сегоночно, после особенно бурного экстаза Ирина даже совсем отвернулась от меня и, перевернувшись на живот, уткнулась лицом в подушку, прижав ладони к вискам и ушам, не слушая ласковых слов, какие я говорил ей, уверяя, что ничего постыдного в её горячем Эросе нет. И для неё тоже хорошо — вот я уже могу целовать и сдавливать пальцами её соски, не причиняя боли, — значит, отходит какое-то внутреннее сексуальное напряжение.

— Я только боюсь одного, — добавил я.

— Нет, нет, ничего не надо, хочу только так, без удержу и до конца, или никак, если придётся расплатиться «операцией», пусть, ни о чём не беспокойся, не смей думать.

Я не мог не думать, заботясь об этом прекрасном теле, если уж сама Ирина не допускала меня в свои душевные дела, но, конечно, в моменты нашего «распускания парусов» забывал обо всём другом.

И сейчас я шутливо утешал её, целуя в шею и спину, лаская крутую выпуклость зада, пока она пряталась от меня и своих переживаний в подушку.

Желание нарастало во мне, и Ирина тоже стала вздрагивать и медленно «переступать» бёдрами

под моей рукой. Я выхватил подушку из-под её лица, но она отчаянно запротестовала:

— Нет, нет, подушку, ни в коем случае!

— Милая, будет совсем по-другому, — сказал я, с силой приподнимая её под живот и подкладывая подушку под низ живота.

Недоумевающая Ирина оглянулась на меня, а я, улыбнувшись ей, — было видно в комнате от далёкого фонаря, стоявшего на углу участка против серого дома, — коленом заставил разжать бёдра и почти приподнял её, вонзив член сзади и вверх.

— Ох! Разве так можно! — опять воскликнула Ирина.

Оказалось — можно, и через минуту она уже выгибалась дугой, приподнимая голову и груди с постели, чтобы я мог покрепче обнять их обеими руками. Я словно поплыл в живой лодке, упираясь животом в широкий зад и положив ладони на грудь скульптуры на носу «лодки».

Как ни отвечала мне Ирина, я вошёл в раж, и мне всего казалось мало.

Всё же ближе всего я видел, чувствовал, воспринимал Ирину лежащей в нормальной или древней позиции на спине подо мной.

Поэтому, распалившись, я вдруг яростно перевернул Ирину, слегка ошеломлённую тем, что

я вдруг отстранился от неё в разгар объятий, и с не меньшей яростью быстро и глубоко вонзил член, не дав ей оглядеться. Ирина очутилась на пугавшей её подушке в самый разгар соединения и, продолжая его в том же накале, дошла до исступления. Описывать его словами не нужно, так как многое здесь нельзя выразить, многое, переданное словами, показалось бы неприятным или нелепым, чего совершенно не может быть в большом взлёте Эроса.

Под конец Ирина, замерев на полувскрике и словно лишившись дыхания, внезапно разразилась рыданиями, ещё более сильными, чем те, какие удивили меня в наше первое сближение.

Несколько встревоженный, я стал утешать её и, когда она утихла на моём плече, спросил, что случилось.

— О, ничего, мне только стало жаль, что я не умерла в эти минуты.

— Какая чепуха! — запротестовал я, — сколько ещё их, таких минут, может быть в вашей жизни.

— Не знаю, не знаю, — прошептала Ирина, вздрогнув от особенно сильного порыва шторма, когда от закачавшегося вдали фонаря по комнате пробежали скользящие тени.

Я прикрыл её одеялом, прижав к себе, и она долго лежала неподвижно и молча, пока я не услышал ровное дыхание спящей. Я сам некоторое время лежал на спине, следя за бегающими бликами фонаря и думая о странной неудовлетворённости, которую я испытывал после неистовства с Ириной. Вернее, не неистовства, так как не всегда это было неистовым, а сильнейшего ощущения женской силы, красоты и глубины Эроса, которое вдруг оканчивалось, словно обрывало что-то.

Убегало неуловимое, вся древняя прелесть женского тела, именно такого, как у Ирины, по всему облику соответствовавшего самым эротическим идеям индийских апсар, азиатских (древних) Великих Матерей, критских средне-минойских статуэток. Я чувствовал его, оно влекло меня неудержимо, пока я смотрел на неё, наполняясь желанием, или ощущал, сжимая в объятиях, войдя в самую глубину её естества. Но едва это отходило, как исчезало, обрывалось, будто наваждение, всё кипение желаний, и обрывалась в пустоту чувства, растворялась только что осуществившаяся мечта.

Я догадывался, в чём причина — я подчинился зову желания, настолько переплетённого с мо-

им чувством женской красоты, что это могучее очарование я принял за вспыхнувшую впервые после многих лет спячки настоящую любовь. Но догадка мелькала и уходила снова при взгляде на нагую древнюю богиню тут, со мной, зовущую, покорную, отдающуюся самозабвенно.

И я осторожно открыл одеяло. Ирина пошевельнулась, но не проснулась. Откинув руку, другую положив под голову и согнув одно колено, с крепко сжатыми бёдрами, она была олицетворением чистоты и покоя. Какое-то странное возмущение поднялось во мне, досада не то на себя, не то на Ирину. Я стал целовать её, сначала осторожно, потом всё крепче — лицо, плечи, груди, живот, ноги. Проснувшаяся Ирина лежала неподвижно и молча, только по биению сердца и участившемуся дыханию я чувствовал её ощущения. Но она не обняла меня и не раскрылась, а только ласково скользила рукой по волосам, шее и плечам, как бы благодаря за поцелуи.

В эту ночь она больше не отдавалась мне, а рано утром исчезла и появилась только поздно вечером.

Так прошли ещё две бурные и дождливые ночи, а затем сразу засияло солнце, высохли грязные ручьи и скользкие тропинки, наступило почти

летнее тепло.

Ирина уезжала на днях, как выяснилось позже, ей взяли билеты даже раньше, чем я рассчитывал, но я знал, что она и так задержалась черезчур долго с риском потерять место, и, конечно, не считал себя вправе её задерживать. Впрочем, может быть, будь я другим, я велел бы ей остаться и... но этой ясной уверенности как раз и не было во мне. Не было и смятения чувств, наоборот, странное равнодушие к будущему, такое же, как до встречи с Ириной, часто завладевало мной, и она это чувствовала.

Накануне отъезда мы пошли купаться к нашему островку. Шторм изрядно размёл здесь гальку, островок погрузился под воду и песок, и только длинная и узкая мель осталась целой. Но островок был теперь не нужен — ни одной живой души не было здесь, только пять-шесть маленьких фигурок едва виднелись вдали позади нас на пляже у дома Волошина. Поэтому мы спокойно оставили одежду на берегу и вошли в холодноватую, но вполне приемлемую для нас, закалённых постоянным купанием, воду. Теперь нагой была не только Ирина, но и я. Она со времени нашей близости просила меня быть с ней таким же, как она, и, купаясь без свидетелей, это

тоже было возможно.

Ирина поплыла было в море, а я, немного поплавав, повернул к берегу и остался на подводном уступе песка по самые плечи в тихой прозрачной воде. Ирина вдруг вернулась и попыталась встать на дно рядом, но не смогла — ей было с головой. Я передвинулся на более мелкое место, и она, встав рядом, прижалась ко мне, влажная, прохладная, упругая, дьявольски соблазнительная, шепнула:

— Хочешь, я скажу тебе, — и почти беззвучно, заливаясь краской, сказала, — я хочу в море обнять тебя так, ногами.

Удивлённый, я невольно огляделся по сторонам — в пустоте неба и моря не виделось абсолютно никого, и в тот же миг почувствовал, как великолепные бёдра Ирины обхватывают меня, и дикое желание нарастает во мне от ощущения её йони и твёрдых сосков. Кажется, такого рода соединение запрещено даже индусами (я ведь только недавно прочёл «Камасутру» в волошинском кабинете), но Ирина, удерживаясь спиной и руками на воде, так широко раскрылась, что мой член как бы сам вошёл в неё, и она извивами тела приняла его ещё глубже, но стала погружаться в воду. Я подхватил её и поднял на себя, и так, крепко сжав меня ногами на талии и обняв за

шею, Ирина отдалась мне этим диким способом — перед небом и морем, вернее, в самом море.

Смущённая, она вышла на берег и мгновенно оделась, я последовал за ней. Не знаю, насколько повредил Ирине этот странный, придуманный ею обряд, но в ту же ночь, последнюю, потому что утром Ирина уезжала почти со всеми ещё оставшимися в доме, Ирина отдавалась с прежней, если не большей, страстной самозабвенностью и даже сама попросила положить её на «страшную» подушку.

Это было уже на рассвете, когда ей надо было бежать скорее домой — она и так провела у меня слишком много времени, оставив девочку одну в комнате своего домика.

Когда мы уже обменялись прощальными поцелуями, Ирина, уже накинувшая платье, вдруг сорвала его:

— Нет, ещё раз, до конца, до конца... — почти вскрикнула она, будто предчувствуя долгую разлуку, — на твоей подушке... я сама...

По счастью, наша встреча не была сегодня долгой, и я смог ответить на порыв Ирины почти сразу же, и она даже закинула ноги мне на плечи, чего никогда прежде не делала — так сильно было в ней желание соединиться как можно глубже

и сильнее.

Она встала бледная, шатаясь от изнеможения, потому что спешила, и, глядя в её глаза, увеличенные тёмными кругами, я почувствовал острую жалость и небывалую тоску.

Наутро я провожал её, подсаживая в кузов грузовика (в Доме Писателей тогда к поезду возили так) вместе с Маринкой и скромным чемоданом. Одетая в чёрную юбку и английскую блузку, Ирина (я впервые видел её в городской одежде) совсем не казалась ослепительной богиней, и я подумал, сколько великолепных фигур может быть скрыто под таким простым одеянием, как строгая блузка и юбка, достаточно свободная, чтобы скрыть чудесную амфору бёдер. Груди Ирины, подтянутые бюстгальтером, несмотря на свою упругость, не выступали так, как бывает у пышногрудых, потому что при своём широком основании они имели незначительную высоту — «скандинавскую», как бы срезанный кусок шара, а совсем не полушарие, что красиво у маленьких, меньшего диаметра грудей, то есть не так, как у индийского канона.

Эти «скандинавские» груди очень красивы, если они высоко посажены, но тогда они бросаются в глаза, особенно при открытых платьях или

тонких кофточках. Они, кроме того, обязательно должны быть тесно посажены, иначе некрасиво, и грудная клетка бывает мужской ширины.

У Ирины груди были близко, но и не высоко посажены, поэтому в платье, а в особенности в английской кофточке они не производили того сильного впечатления прекрасной женской силы, когда представали передо мной обнажёнными — чаши неисчерпаемой страсти.

Но сейчас в одежде передо мной была просто хорошенькая, отлично сложённая женщина — богиня скрылась в одежде, и странное предчувствие какого-то обрыва, разлома овладело мною, когда я ехал с Ириной до Феодосии и посадил её там в поезд.

В Коктебеле был уже вечер, когда я возвратился и пошёл по совершенно пустому берегу искупаться на той косе, куда ходил с Ириной. Я погрузился в прозрачную холодную воду, быстро выскочил, освежённый, и опять чувство какого-то разрыва вместе с облегчением охватило меня по дороге к дому Волошина.

Этим же вечером мы сидели в столовой с Марией Степановной, пили чай с Олимпиадой, Любочкой и ещё двумя-тремя гостями, и никакой грусти по уехавшей Ирине я не чувствовал.

Но ночью, в моей комнате, в пустом доме пришло уже, пожалуй, правильное чувство острого желания, воскресли испытанные всего день назад ощущения, перед мысленным взором прошли картины — зрительные отпечатки понятого.

Обнажённая Ирина, серьёзно и прямо смотрящая на меня у постели и медленно опускающаяся на неё, отгибаясь назад. Её йони, вначале очень тугая, особенно после двух-трёх раз, едва уступала моему толстому члену, который приходилось вдавливать с очень большой силой, одновременно нажимая Ирине на плечи и притягивая на себя. Она всячески помогала, виляя задом из стороны в сторону и крепко притягивая меня своими сильными ногами, сосредоточенная и закусившая губы, молча до тех пор, пока последним толчком я не загонял член во всю длину. Тогда Ирина откидывала голову, и комната оглашалась её вскриками. Она переставала прикрывать свои большие тугие соски и, наоборот, подставляла груди моим рукам, продолжая извиваться из стороны в сторону, как полинезийская танцовщица.

И всё же у Ирины не было той полной и беспредельной отдачи себя, как у Мириам или Тамары. Те извивались, кружились винтом, забрасывали

ноги то вверх, то раскидывали их на стороны, взбрасывая зад и изгибаясь не столько влево-вправо, сколько вниз-вверх, выгибаясь дугой или сгибаясь пополам. Их груди, видимо, не болели, потому что у обеих была манера тереться ими о мою грудь, когда руки у меня были заняты.

Когда я был с Ириной, я, разумеется, не сравнивал этих женщин, но сейчас, вспоминая всё случившееся, я понял, что и я, и Ирина не стали «детьми Солнца», полными любовниками, потому что оставалась какая-то преграда. Во мне или Ирине — это я понял позднее.

Я думал о той на редкость симпатичной маленькой девушке, образ которой, несмотря на разницу в возрасте, тогда казавшуюся мне огромной и невосполнимой, упорно не хотел покидать меня, как-то сливаясь своим античным круглым личиком с моими мечтами об Элладе, так резко вспыхнувшими в 1950 году (ещё более сильными они были в 1945-м, когда написана была «Ойкумена»[91]).

Листья желтели и здесь, на юге, а в Москве осень была в полном разгаре, когда я вернулся домой и сразу же погрузился в дела. Надо было

---

[91] Примечания: 91

И. А. Ефремов. Дилогия «На краю Ойкумены».

наконец вплотную приступить к огромной работе — монографии о медистых песчаниках[92], всё время откладывавшейся из-за Монголии, надо было писать итоговую работу по — увы — незавершённым полевым исследованиям Монгольской экспедиции.

Я не поехал в Ленинград ни осенью, ни в начале зимы, хотя и послал довольно порядочную сумму Ирине, как обещал. Тут, кроме премии, подвернулся ещё выигрыш в 25 тысяч — никогда не выигрывал, а судьба, видно, решила меня компенсировать за Монголию.

Но нередко перед мысленным взором возникал образ моей нагой богини в обрамлении моря, пустынных берегов и солнца — всей природы эллададоподобной тёплой страны, с которой я снова встретился после долгих лет в этом году.

В феврале я наконец выбрался в Ленинград в десятидневную командировку, не очень загруженную делами, — надо было заказать рисунки с рядом костей современных крокодилов в ЗИНе. Заранее списавшись по уговору с Ириной, я поехал прямо к ней, не заявившись, как всегда, к друзьям, где непременно останавливался при

---

[92] Примечания: 92

И. А. Ефремов. «Фауна медистых песчаников западного Приуралья». 1954.

каждой поездке в «фатерланд», как я шутя называл родной город.

Ирина не встречала меня, а ждала в своей квартире — большой, коммунальной, прежде барской квартире в Столярном переулке. Её комната — не слишком маленькая, но и не большая, вытянутая не вглубь, как обычно, а вдоль двух окон, выходила на узкий переулок и была расположена удачно — в какой-то нише в толстой стене за поворотом длинного коридора, что давало ей некоторую изоляцию от соседей.

Марина была отправлена ею погостить к двум бездетным друзьям.

Я огляделся, войдя со своим небольшим чемоданом, увидел бедную обстановку, в которой, пожалуй, единственная хорошая вещь была — туалетный старинный столик из «птичьего глаза» — дерева, ныне не встречающегося в мебели нашей страны, с высоким, чуть потемневшим зеркалом, отражавшим всё идеально, но сурово.

Ирина поняла мой взгляд как критику и стала как-то непривычно для неё суетиться, что иногда делают женщины, не знающие, как угодить мужчине. Я схватил её, поставил против себя, поцеловал и, отодвинув, оглядел с головы до ног.

Утратившая свой загар, она показалась мне

бледной, хотя щёки горели румянцем волнения и тёмно-синее платье ещё больше оттеняло бледность лица, шеи и рук.

Простое платье с пояском — слишком простое для такой фигуры, как у ней, подумал я. Подчеркнуть бы Ирину отменным платьем, вышла бы кинозвезда оглушительной сексуальности — разве только ноги слишком крепки для западного стандарта. И сколько таких звёзд рассеяно незаметными искорками по Руси великой — опять подумалось мне, — вместо того, чтобы засиять в оправе для огромного количества людей, утешая и заставляя их мечтать своей красотой!

Но всё это подумалось позднее.

Не помню почему, но Ирина сказала мне, что прежнее — море, солнце, загорелые тела и сильное желание, вспыхнувшее вдруг, — всё ушло. Она держала голову как-то нарочито высоко, и в глубине её глаз пряталась насторожённость и ещё что-то.

Ирина задёрнула тяжёлые портьеры, хотя было ещё совсем светло.

На маленьком столе с цветной скатертью стояла бутылка вина и блюдо с яблоками. Я поспешил обнять Ирину и крепко поцеловал её, но она выскользнула от меня и попросила отвернуться

к окну.

Я раздвинул слегка портьеру, выглянул на улицу — февральские сумерки в Ленинграде были очень короткими, там уже стемнело.

Я обернулся на зов Ирины. Она стояла совершенно нагая, только в туфлях с высокими каблуками, около стола, слегка опираясь на него одной рукой и вызывающе выставив груди. Обнажённая, она была восхитительна, и я бросился к ней, но она остановила меня, вытянув вперёд руку.

— Похожа я на проститутку? — неожиданно спросила Ирина.

Озадаченный вопросом, я сказал, что не имел дела с этой профессией, но, по-моему, Ирина похожа лишь на себя саму и только себя.

— Может быть, мне надеть ещё чёрные чулки? Так, кажется, обольстительные женщины лёгкого поведения выглядят на всех картинках?

— Ничего не понимаю! — сердясь, сказал я.

Пыл желания при виде обнажённой Ирины напомнил мне так многое, но начинал проходить от её странного поведения.

— Неужели? Кем я была, когда вы встретились со мной? Я отдавалась за... для того, чтобы быть с моей приёмной дочерью, платила собой. Потом

вы спасли меня от этих, заставили поверить снова в прекрасное, дали деньги, много денег — для того, чтобы я хорошо устроилась в Ленинграде.

Но вы не полюбили меня, да, да, не говорите ничего, я ведь знаю, а если не любили, и я... тоже изверилась в том, что я могу вызвать снова любовь у хорошего мужчины, но я отдавалась вам и вы брали тоже щедро, за что? За помощь и деньги? И тут я поступила как проститутка... что ж, берите, я готова.

Не зная ещё, что сказать, я накинул одеяло на гордо выпрямившуюся Ирину и, подняв, посадил на диванчик рядом со столом, попросил разрешения закурить, вытащил папиросу и попытался объяснить ей, что она богиня прекрасного тела, вызывающая страсть и восхищение, особенно у меня, но, как оказалось, любил я другую, и с этим ничего не поделаешь. Я не могу ей лгать ни в словах, ни в поцелуях.

— «Богиня»! Какая я богиня! — горько сказала Ирина. — Это ваша романтическая фантазия, не более. Что во мне «богинемого»?

Я подумал и решил про себя, что Ирина права — если ей быть моделью художника, киноактрисой смелых фильмов, любовницей могущественных людей — это так. А здесь, в нашем узком мире,

её великолепное тело — в лучшем случае, если будет понимающий в женской красоте и достаточно сильный в страсти муж — тайна между двумя и постелью. А куда больше шансов на «обычное» женское житьё, в котором без ухода и без большой страсти увянет божественное тело, и всё будет как у всех в череде серых дней.

Острая жалость, нет, не жалость, а беспомощная печаль сдавила мне горло. Во всяком случае, раз я понял, что не люблю Ирину и не только не люблю, но и не полюблю, всем сердцем устремляясь к другой, я более не имел права продолжать нашу связь. Тем более, что Ирина уже поняла сама всё и теперь не нуждалась в моей денежной помощи. Опять-таки относительно, но у меня не было права помогать ей так, чтобы она смогла принять деньги.

Всё это я сказал ей, положив руку на голое плечо и чувствуя, как вздрагивает она от каких-то своих переживаний. И ещё я подумал о том, что и последняя моя «богиня», встреченная без любви, опять пришла ко мне с тяжким испытанием в своей женской жизни, и опять оправдалась странная закономерность, что мои мужские пути пересекались именно с такими женщинами. Они, конечно, были гораздо интереснее для ро-

мантика и фантазёра, но в наше время, видимо, не могли породить большой настоящей светлой любви, хотя и зажигали яркий Эрос.

— Простимся, богиня моя, — тихо сказал я, когда всё было сказано, понята справедливость и правда решения.

— Да, но не так, — сказала Ирина, отбрасывая одеяло. — До утра!

И, расставаясь с Ириной, мне захотелось провести её через ступени страсти юности, молодого мужчины и зрелого. Как юноша, впервые касающийся женского тела, я стал целовать всю «богиню» с восхищением поклонника красоты, нежно касаясь губами и руками грудей (соски их теперь не болели), живота, бёдер, шеи и плеч. Медленно вдвинув член, я стал двигать им так же медленно и осторожно, как юноша, впервые сошедшийся с женщиной, учится мужской страсти.

Ирина отдавалась так же молча, медленно и сосредоточенно повиливая бёдрами и взяв в ладони моё лицо, вглядывалась в меня. Я не предвидел только, что юношеская медлительность («робость») и нежность плохо сочетаются с силой сорокалетнего мужика, ещё обладающего особой половой выносливостью. Поэтому тугое и

медленное движение толстого члена в её йони с большим разносом вперёд-назад вызывало очень сильный ответ у Ирины и вдобавок длилось чересчур долго. Она сдерживала дрожь всех мускулов, переходивших в сжимания йони несколько минут, может быть, дольше минут двадцати (я, если сдержусь, то могу продолжать, не кончая, минут сорок). Но потом вдруг она не выдержала, начав вскрикивать отчаянно, поцеловала меня и принялась бешено извиваться, вскидывая ноги, вращая задом и подставляя груди.

После этого Ирина долго лежала в каком-то трансе, положив одну ногу на меня, а я любовался удивительно плавным крупным выгибом бедра и сильным расширением её икроножной мышцы, расслабленно выступавшей под коленкой.



Характер фигуры Ирины (талия у Ирины тоньше)

После долгого молчания Ирина задала мне обычный вопрос:

— Нужна ли я вам?

Я ответил:

— Нужна.

— Как? Вот так? — спросила она.

— Да! — без колебания сказал я.

— И только так?

Что я мог сказать? Что если зародившаяся любовь вправду загоралась по-настоящему — то Ирина не нужна никак? Я объяснил ей и попросил подождать, что я отвечу ей по-настоящему, когда сам в себе разберусь.

— А я должна ждать? А если не захочу? Или не смогу?

— Ты совершенно свободна от всяких ко мне обязательств, я уже говорил тебе, — сказал я.

— Как и ты… вы?

— Как и я. Если нас не свяжет любовь, то страсть не сможет одна — разве ты сама не чувствуешь?

— Не чувствую, — ответила Ирина, и я подумал, что в самом деле, как она могла понимать разницу между… Надо было иметь или большой опыт, или знать любовь.

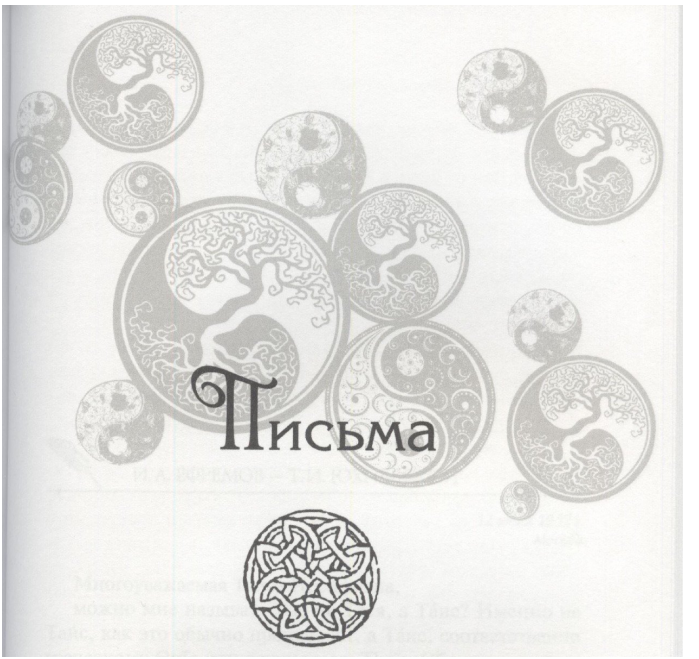
— Я напишу тебе сразу же, — пообещал я, садясь на кровати и беря папиросы.

Ирина вырвала из рук папиросу и потянула меня к себе.

— Возьми меня как-нибудь... необыкновенно, чтобы я могла помнить или ждать!

И снова началась пламенная служба Эросу — по-индийски, с одной её ногой на моём плече, а другой вокруг моей талии и на крестце — сочетание «павлина» и ещё «кабана». После трёх раз я, как и раньше, почувствовал, что с меня достаточно. Устала и Ирина, уснувшая куда быстрее, чем я, размышлявший ещё долго и видевший перед собою чёткий ангельский профиль, огромные глаза и тёмные с нежным оттенком волосы своей новой любви.

Утром мы расстались официально, как знакомые, и я поехал к Ариадне, где с удовольствием и ещё большим чувством облегчения занял свою маленькую комнату (Ирины, только совсем другой, маленькой). А через два месяца я послал «богине» письмо из Москвы, где всё уже было ясно, и навсегда исчезла из моей жизни «последняя богиня».



***

И.А. ЕФРЕМОВ - Т.И. ЮХНЕВСКОЙ

12 июня 1952
г. Москва

Многоуважаемая Таиса Иосифовна, можно мне называть Вас не Тася, а Таис? Именно не Таис, как это обычно произносят, а ТАис, соответственно греческому Θαΐς или латинскому Thais. Обе легендарные носительницы этого имени, конечно, не соответствуют Вам, такой милой и застенчивой, но что-то в скрытой хорошей гордости Вашей перекликается с первой Таис, афинской, той, которая стала потом женой египетского царя Птолемея. Как-нибудь я расскажу Вам эти легенды, сейчас же у меня к Вам другое, очень важное дело — занятый до безобразия перед Вашим отъездом[93], я как-то не смог собраться с «сердцем», как говорили древние египтяне, и поговорить с Вами.

Но прежде всего простите, что пишу Вам на машинке — это не холодность или какое-то высокомерие. Просто у меня очень плохой почерк, как Вы знаете, и я не уверен, разберёте ли Вы его. Если берётесь разбирать, то в следующий раз напишу Вам от руки, а Вы мне скажите в письме об этом.

---

[93] Примечания: 93

Имеется в виду отъезд экспедиции ПИН АН СССР в Восточную Сибирь, в Кузнецкий бассейн, в которой Т. И. Юхневская участвовала в качестве сотрудника ПИНа.

Так вот — есть небольшая арабская сказка об индийском купце, двух девушках и калифе Гаруне аль Рашиде, том самом, который создал себе бесчисленные легенды своим обыкновением проникать переодетым в гущу народа и делать неожиданные добрые дела, которые были чудесны своей неожиданностью...

Однажды, когда Гарун аль Рашид творил суд в своём дворце, стражи привели к нему индийского купца и красивую девушку, обвинявшую купца в оскорблении её достоинства. Купец выступил вперёд, поклонился калифу и начал:

— О, великий, мудрейший и справедливый! Видит Аллах, что ни одной недостойной мысли не имел я в своей голове, когда приблизился к девушке. Она подруга счастья — любоваться её красотой — не нужно иметь и прекрасного сада, стояла долго, одинокая и грустная, у фонтана на базаре, с куском шёлка в руках. Шёлк был ветх, никто не хотел купить его, и всё большей грустью туманились глаза девушки. Я подошёл, узнал от неё, что она здесь чужая, отец её только что умер, не кончив своих торговых дел, и она осталась без друзей и знакомых на чужбине. Всё, что есть у неё, — этот кусок тонкотканого шёлка, и она должна продать его, чтобы уплатить кора-

бельщику за проезд на родину. Я смотрел на неё, и сердце моё переполнилось любовью к ней, и я сказал, что дам ей денег, сколько ей нужно, и пусть она возвратится домой. Девушка надменно отказалась, я опять предложил ей, стал убеждать и настаивать, и, внезапно запылав диким гневом, девушка стала кричать на всю площадь об оскорблении, стража схватила меня, — и вот я здесь перед тобою, о, калиф!

Купец замолчал и отступил, низко поклонившись. Тогда калиф спросил:

— Прекрасная девушка, правду ли говорит этот человек и не утаил ли он чего-нибудь?

— Правду, о калиф, — ответила девушка.

— Так зачем же ты обвинила этого доброго человека?! — воскликнул калиф.

— Откуда я знаю, что он добр, мудрый калиф? Я одинока и беззащитна, а он пришёл ко мне и настойчиво хочет помочь мне... Неужели только из-за своей доброты? О нет, он потребует потом многого, он спутал меня с негодными женщинами и тем жестоко оскорбил сироту, дочь знатного купца!

— А если я, владыка этой страны, поручусь тебе за чистоту его намерений, возьмёшь ли ты предложенную помощь? — спросил калиф.

Гордо вскинула прекрасная девушка голову, презрительно искривив тонкие губы.

— Я несчастна сейчас, о калиф, но всё равно не возьму его денег, не приму его услуг. Потому, что ничем не смогу отдать ему свой долг и буду навсегда чувствовать себя униженной, приняв подаяние. Так велят мне заветы наши и обычаи, прости меня, о калиф!

— Ответь мне, девушка, — вдруг сказал индийский купец, — там, у тебя на родине, юноши и мужи, восхищённые твоей красотой, разве не дарили тебе цветы и птиц, не ныряли за красными кораллами для тебя, не боясь свирепых акул? Или не таковы мужчины твоей родины?

— Мужчины моей родины не хуже мужчин твоей, но зачем ты спрашиваешь меня об этом?

— А потому, — торжественно сказал индийский купец, — что я подошёл к тебе с моей помощью, как с цветами, с знаком моего восхищения тобой. Ты скажешь, что цветы — это совсем другое... Нет и трижды нет! Когда ты у себя на родине брала цветы у юноши с горящими глазами, скрываясь в прохладном саду, в доме твоего отца, весёлая и довольная, — какой же безумец принёс бы тогда тебе денег, чтобы выразить своё восхищение красотой твоей. А теперь — когда ты, одинокая,

печальная и голодная, не видя выхода с чужбины, стояла у фонтана, разве не смешон был бы я, если повесил бы на шею твою нитку кораллов и удалился, оставив тебя? Нет, девушка, деньги мои были как цветы, но ты не поняла этого...

И в зале дворца воцарилось молчание, потому что калиф задумался.

И, подумав, сказал Гарун аль Рашид:

— Нет, я не могу обвинить ни одного из вас, оба мне кажутся правыми...

И, обернувшись к женщинам и девушкам, сидевшим за колоннами слева от трона, калиф спросил:

— Кто из вас, женщины, подаст мне совет, раскрыв сердца женские?

Тогда быстро выступила вперёд невысокая девушка и откинула покрывало. Смуглая и луноликая, стройная станом, с выдающейся грудью и тяжкими бёдрами, девушка была ещё прекраснее чужеземки.

И Гарун аль Рашид ласково улыбнулся девушке, ибо он любил её больше всех других своих жён и наложниц.

— Властелин правоверных, — звучно сказала девушка, склонившись в гибком поклоне, — я обвиняю обоих!

Шёпот удивления пронёсся по залу дворца, заинтересованный калиф наклонился с трона.

— Купец — добрый человек, и слова его правильны, но поступок неверен. Чтобы дар был принят, надо знать, кому его подносишь, чтобы упал он в сердце, а не в руку! Если купец не умеет читать в лице женщины, какая она, то пусть не берётся не за своё дело... Не всякий может быть подобным тебе, о калиф!

Вина девушки в том, что она ищет в людях прежде худое, чем хорошее. И это ещё не укор ей, одинокой и на чужбине. Но самое худшее в том, что она скупа душою. Ещё не взяв, она думает о том, что ей нечем отдать. И всегда она будет бояться брать, потому что чувствует нищету своего сердца. Так тот, кто берёт свободно и широко, только тот может так же давать — свободно и щедро, он царь! А маленькое сердце боится пут долга, оно не знает, что отдать — это не обязательно тем же и тому же! Вот я возьму помощь и деньги у него, — девушка указала на купца, — а отдам тебе, мой повелитель, — любовью и лаской...

И девушка смолкла, залившись краской, ресницы её опустились, губы раскрылись алым цветком, груди напряглись...

И калиф пристально взглянул на неё с любовью во взоре.

— Девушка права, — изрёк он приговор, — оба виновны. Купец не умеет давать, девушка — брать. Отведите их на базар обратно, с купца возьмите установленную за нарушение спокойствия пеню, девушку оставьте у фонтана — пусть пьёт чашу своей судьбы и учится у жизни...

Так вот, Таис, напишите мне, понравилась ли Вам эта сказка.

Если Вы так же, как и я, найдёте её мудрой и справедливой, то Вы должны будете выполнить мою большую к Вам просьбу.

Мне очень, очень хочется, чтобы Вы поехали в этом году хоть ненадолго к морю, в Крым. Чем вызвано это сильное желание, сейчас долго объяснять, но Вы и так должны понять это, если узнаете, что мне кое-что известно о Вашей прежней жизни (сходной во многом с началом моей), и что я хочу, чтобы Вы стали с более широким кругозором внутри, в себе, в ощущениях мира.

А контраст между господвалом[94] и морем, солнцем и просторной сухой, насквозь прогретой крымской землёй будет очень велик и на боль-

---

[94] Примечания: 94

Рабочее место Т. И. Юхневской как секретаря-машинистки в ПИНе располагалось в подвальной части здания.

шую Вам радость.

Тем более (но об этом — молчание), что, наверное, это — последнее наше мирное лето, если вообще оно закончится мирно... [95]

Вы вернётесь к первому сентября и сразу же берите отпуск и поезжайте в Крым не позже сентября, чтоб было солнце. Куда — это я ещё успею Вам посоветовать, и подумаем...

Но я заведу на Ваше имя сберкнижку для этой поездки и пришлю её Вам в экспедицию или оставлю в пакете — письме, где это Вы сочтёте удобным.

Вся беда в том, что меня к первому сентября может не быть в Москве, поэтому я и должен сделать всё это теперь же, ещё до отъезда в отпуск, до 1 июля.

Право же, именно в этом году, после премии, для меня это сделать ничего не стоит, и кое-кому я уже сделал вроде этого. Поэтому не отказывайтесь, дорогая, а напишите Ваше согласие, будьте умной и хорошей для меня.

Абсолютно никто об этом не будет ничего

---

[95] Примечания: 95

В 1952 году на фоне длящейся Корейской войны США всячески стремились обострить международное напряжение, осложнить и ухудшить отношения между США и СССР, отказываясь от советских предложений о запрещении атомного оружия и мерах по предотвращению новой войны.

знать, а Вы уничтожьте это письмо сразу же после того, как прочтёте, вот и всё.

Так я жду ответа. Смотрите по тому, как скоро получите это письмо, а то пишите мне уже не сюда, а по адресу: Ленинград 22, до востребования, мне (временно, там я уже сообщу более точный адрес).

Однако мне нужно знать Ваш ответ как можно скорее, до отъезда ещё, поэтому если письмо получите с запозданием, то ответьте мне телеграммой, не домой, а по адресу: Москва, ул. Кирова, Главный почтамт, востребование, мне (обязательно с именем-отчеством для востребования).

Ну вот видите, какое огромное письмо — целый трактат. Нужно ещё о кое-чём рассказать Вам — о замках печали[96], о саде Германубиса[97], но об этом — после.

Да, чуть не забыл — не думайте, что я хочу

---

[96] Примечания: 96

Возможно, имеется в виду стихотворение в прозе Н. К. Рериха «Замки печали».

[97] Примечания: 97

Германубис — в мифологии бог, сочетавший внешность древнегреческого Гермеса и древнеегипетского Анубиса. Был популярен в эпоху позднеримского владычества, считался проводником человеческих душ в царство смерти. Ефремов, вероятно, имеет в виду эротический роман французского писателя Пьера Луиса «Афродита» (1896), одна из глав которого называется «Сад Германубиса».

как-то связать Вас поездкой — меня, скорее всего, в Крыму и не будет в этом году по состоянию здоровья.

Посылаю картинку — она красивая — Таис, получающая весть от голубей.

Ваш И. Ефремов

***

И. А. ЕФРЕМОВ - Т.И. ЮХНЕВСКОЙ

27 июня 1952

г. Москва

Получил Ваше письмо уже накануне отъезда. С первого у меня путёвка в Комарове на Карельском перешейке под Ленинградом. Путёвка и отпуск до 16 августа, а там — возвращение в Москву и — бабушка надвое сказала — или мне дадут дополнительный отпуск без сохранения содержания и тогда я поеду в Крым недели на три, или же — не дадут и я останусь в Москве.

Адрес мой теперь: Ленинград, Курортный район, Комарове, дом творчества писателей, комн. № 7, мне. Для телеграмм: Комарово Курортное дом писателей, мне.

По этому адресу можно писать до 1 августа (считая от Вас — дату отправки), так как письма в разные пригороды идут медленнее, чем в города.

А мне не хотелось бы, чтобы Ваше письмо пришло бы после моего отъезда и погибло бы там. Поэтому после первого августа — пишите мне на московскую квартиру — хотя там никого не будет, кроме домработницы, но письмо будет цело и спокойно пролежит до моего приезда.

Я всё же не согласен с Вами, Таис, что Вы избрали судьбу чужеземки.

Надо ли это? Мне смешно навязываться и навязывать Вам советы... но, я уверен, что, если бы я взял в свои руки Вашу маленькую лапку, посмотрел прямо в глаза и попытался бы снова убедить Вас — Вы согласились бы!

Ведь ничего серьёзного в том, что Вы приедете около десятого, — нет.

Ехать в Крым на автобусе — 44 часа, и сама поездка через всю Украину тоже интересна. Путёвки брать не надо, значит, можно устроиться в любом месте, сняв комнатёнку или какую-нибудь сараюшку. А мест хороших там много, и на разные вкусы — с зеленью и без, с высокими горами и без, но главное, конечно, это море — каждый день.

Утреннее — холодноватое, прозрачное как хрусталь, освежающее — дневное; и таинственное, тёплое и ласковое — вечером, нежно касающееся

вашего тела, как влюблённое... Или сурово шумящее, грозно плещущее на вас, ударяющее вас волнами могуче и равнодушно — но и тут оно делает вас частицей своего шумящего простора и своей силы, смывая все огорчения и страдания...

Право же, Таис, Вы — хорошая, а жизнь не была ещё щедра к Вам — нужно выйти из этого цепкого круга повседневных долгов и обязанностей, стать больше и... вдохнуть полной грудью воздух простора, выпить вина жизни — далеко не всегда сладкого, но неизменно прекрасного.

Даже несколько дней — таких — они стоят целых лет тянущейся повседневно паутины обычной жизни.

Вы — молоды, и для Вас это ещё не совсем понятно — много может быть интересного, и на каждом шагу. Это так, но время от времени надо резко, далеко уходить из привычного круга ощущений, чувств и событий — это тоже верно.

Видите, я совсем ударился даже в поэзию!

Поэтому того, что Вам придётся поехать всего на две-три недели — об этом-то как раз нечего беспокоиться — хоть на неделю и то стоит, а у Вас будет их три, да ещё всегда можете сговориться с дирекцией, сказать, что у Вас путёвка на 26 дней + дорога, и взять ещё неделю без сохранения

содержания. Вот и месяц!

Но я, конечно, не знаю, должно быть, есть ещё обстоятельства, которые мешают Вам поехать, — тогда другое дело. А приезд в сентябре — пустяки, я сам купался в море до середины октября — только лучше — меньше людей, не жарко и полно винограда. О. М.[98] вряд ли вернётся в Москву позже начала сентября.

Ну, хорошо. Я вижу, что снова принялся убеждать Вас.

Но такие вещи делаются лишь свободным желанием и от чистого сердца, чтобы нигде в уголках души ничего не мешало, ничего не царапало, — потому замолкаю.

Но всё же Вы подумайте ещё — не спеша, потому что я смогу всё это сделать лишь во время приезда в Москву — значит — в середине августа.

Может быть, к тому времени и Вы станете относиться ко мне лучше, а может быть, изменятся те обстоятельства, которых я не знаю?

Тогда, может быть, и осуществится всё же то, что очень хочется, — увидеть Таис, загорелую,

---

[98] Примечания: 98

Здесь и далее: Мартынова Ольга Михайловна (1900-1997) — сотрудник ПИН АН СССР, кандидат биологических наук. Возглавляла экспедицию 1952 года в Кузнецкий бассейн, в составе которой работала Т. И. Юхневская. Соседка Ефремова по дому.

как это можно загореть лишь на море, омытую солнцем и сотнями морских купаний, с ясными, весёлыми глазками... Разве это плохое желание? Разве в нём есть что-нибудь мешающее Вашей совести, Вашему достоинству? Право, нет!

Это — последнее письмо на машинке. Дальше уже придётся трудиться над почерком — машинки я с собой не беру — очень устал от подготовки громадной работы[99], едва жив. Тут ещё с Институтом всяческие неурядицы, но об этом Вам расскажет наверняка О. М.

Зачем же мне забывать мою маленькую, но очень милую «симпатию»?

Пишите, будьте здоровы, берегите себя.

Ваш: И. Ефремов

***

И.А. ЕФРЕМОВ - Т.И. ЮХНЕВСКОЙ

11 июля 1952

г. Комарово

Дорогая маленькая Таис, — извините, это я — от внезапного прилива нежности. Пишу Вам

---

[99] Примечания: 99

В июне 1952 года И. А. Ефремов сдал в издательство рукопись монографии «Фауна наземных позвоночных в пермских медистых песчаниках Западного Приуралья». Книга посвящена исследованию Каргалинского бассейна.

под соснами, горделиво шумящими под ветром с моря, нарушающим знойное молчание дня.

Уже девять дней я — в доме отдыха писателей, на берегу Финского залива в 50 км от Ленинграда. Скучновато, но пока ещё веду чисто растительную жизнь — отсыпаюсь и прихожу в себя после окончания своей большой работы.

Получили ли Вы письмо, посланное из Москвы, незадолго до отъезда? Там был мой здешний адрес — на всякий случай его повторю:

Ленинград, Курортный район, п/о Комарово, Дом Творчества Писателей, комн. № 7, мне.

Не знаю, как Вы будете справляться с моим почерком, — это надо привыкнуть. Поэтому не рискую сейчас написать Вам какую-нибудь длинную историю — боюсь, что не раз буду помянут недобрым словом. А мне хочется от Вас — доброго. Достану машинку на днях и тогда напишу Вам о своих «замках печали».

Сейчас мне хочется написать Вам о других замках — «замках хмурого неба», встреченных мною однажды в Монголии.

Мы ехали на большой высоте в Хангайских горах — дорога шла по ущелью на высоте 2300 метров. Стояли пасмурные дни, и облака ползли прямо над нами, скатываясь со склонов к дороге.

Клочья тумана, завесы мелкого дождя висели впереди и низко оплывали по гладким бокам гор — машины устремлялись по неизвестной дороге в загадочную даль, за таинственную завесу. А в высоте слева, на округлых горах, тесно скучившихся толпою, одни за другими высились торчащие скалы в виде стен и башен. Куски облаков проплывали между этими замками, то открывая, то закрывая чёрные башни и стены наверху, над зелёными холмами.

И казалось, что это замки, населённые таинственными, неведомыми обитателями, касающиеся в тумане совсем низкого, облачного неба.

Внезапно очень захотелось остановить машину и полезть туда, наверх, в туман, чтобы встретиться с этими выдуманными людьми, живущими в замках хмурого неба. Но из-за мелькающих облачных клочьев выплыли отвесные стены из вертикальных столбов чёрного камня, мокрых, сурово поблёскивающих и заострённых вверху, как исполинские зубы.

Эти страшные зубы дракона рвали в клочья завесу тумана, но совершенно загородили путь к замкам хмурого неба.

Странное сожаление о несбывшейся встрече проникло в сердце. Но — мотор ревёт, машина

раскачивается и трясётся на камнях, холод проникает в щелястую кабину, вода струится по стёклам, ещё более смягчая и без того нерезкие в дымке тумана очертания скал и древних могильников. Огромные грифы тяжко взлетают с камней почти перед самой машиной и, распластав могучие крылья, ныряют в хлопья низко плывущих облаков...

И вдруг, за поворотом огибающей скалу дороги, появляется широкий зелёный простор — речная долина, рассечённая последовательно, один за другим, как декорации в театре, столбами солнечного света, прорвавшегося из облаков. И во втором столбе, сверкающем тысячами блёсток на мельчайших водяных капельках, стоит на свежей зелени травы белая юрта, и у её двери, крепко держа под уздцы рыжего коня, стоит молодая девушка в голубом шёлковом дели (национальная монгольская одежда в виде халата).

Её круглое лицо и глаза, как крупные тёмные вишни, обращены к нам с удивлением и в то же время с радостью: необычайное зрелище — эта процессия огромных машин, спустившихся с гор неизвестно откуда! И так чудесен был контраст юного, полного жизни лица, стройной фигурки перед красивым конём и нарядной юртой после

отрешённости, после путешествия по заколдованной призрачной стране замков хмурого неба.

И вдруг — Вы, с милым круглым личиком, хорошенькая и чуть смущённая, с открытым прямым взглядом... И маленькие ножки, застенчиво переступившие, когда я сказал что-то шутливое... Тогда мне стало жаль, что Вы скоро уедете[100], и я ещё долго не увижу Вас!

Как дальше сложится у меня лето — не знаю. Возможно, что не дадут мне тихого дополнительного отпуска, ведь предстоит перевод музея — наверное, Вы знаете уже о всех этих новостях.

Тогда с середины августа я буду в Москве, а может быть, и с десятого, и что там дальше получится — неясно.

Напишите мне скорее сюда.

Вот Вам цветок из северных мест — он похож на Вас.

Ваш И. Ефремов

***

И. А. ЕФРЕМОВ - Т.И. ЮХНЕВСКОЙ
22 июля 1952

---

[100] Примечания: 100

Имеется в виду отъезд Т. И. Юхневской в экспедицию в июне 1952 года.

г. Комарово

Вы, Таис, маленькая молодчина! То есть маленькая по размерам, а молодец — большая! Это потому, что согласились, но не потому, что вздумали испробовать плавание в быстрой реке. Сибирские реки я хорошо знаю — если река быстра, то купайтесь в ней, только когда она Вам немного поглубже колен, а то Вас, маленькую и лёгкую, быстро унесёт...

Достал здесь у знакомого писателя машинку — едва живую и пишу теперь, не боясь за неразборчивый почерк. Но за красоту написанного не отвечаю — буква за букву заскакивает, каретка перекашивается — старушке-машинке давно пора в крематорий.

Как же я могу посмеиваться над Вами за откровенность? Ни над кем нельзя в таких случаях смеяться, тем более — как я могу над Вами, если Вы мне нравитесь и Вы — хорошая! Могу только ценить Ваше доверие ко мне и ответить — сочувствием Вам и молчанием — для всех других.

Разрешите немного о деле, Таис. Судя по ходу нашей переписки, Вы получаете письма нерегулярно, в разное время, очевидно, в зависимости

от оказии в Сталинск[101]. Поэтому более всего вероятно, что когда Вы получите это моё письмо, то будет уже поздно отвечать мне сюда, так как я вряд ли буду здесь дольше, чем до восьмого августа. Поэтому ответ мне напишите уже на Москву, может быть, лучше опять на Центральный почтамт, ул. Кирова, до востребования. Впрочем, можно и ко мне домой, как хотите, но только — с обратным адресом, чтобы это письмо не приняли за деловое (из какой-нибудь редакции или издательства) и не распечатали в моё отсутствие.

У меня пока планы такие — кажется, мне дадут отпуск дополнительно, так как переезд музея отсрочен, как это я и предполагал. Возможно, что к началу августа появится и автомашина. Тогда, вероятно, я сделаю с сыном и Е. Д. поездку в Крым, приблизительно с 10 или 15 августа по 15 сентября. Е. Д. с сыном будут в Крыму числа до пятого, а я останусь ещё на две недели там с машиной. Если Вы окажетесь в это же время в Крыму, то я смогу даже привезти Вас сам на какое-нибудь место и поселить там или помочь выбрать, где поселиться.

Конечно, всё это очень неопределённо — будет

---

[101] Примечания: 101
Сталинск (1932-1961) — город в Сибири, ныне Новокузнецк.

или нет машина, дадут ли отпуск, но должно скоро выясниться — к началу августа. Когда выяснится, то я напишу Вам сюда и домой — из Крыма, но это, в конце концов, не так уж важно. Вы отлично управитесь и попутешествуете сами.

Я советую Вам поехать или с начала сентября, или с середины сентября до первой декады октября — во всё это время купанье отличное и не жарко, фруктов уже много. Только надо иметь в виду, что во время осеннего равноденствия — в двадцатых числах сентября могут быть равноденственные штормы — около недели может стоять бурная погода, и хотя купаться в сильный прибой тоже очень приятно, но это маленькой Таис надо делать только в компании с опытным и сильным человеком — или же осторожно купаться на какой-нибудь широкой отмели.

Кстати, дорогая, когда будете плавать в море в волну, не забывайте одного основного правила (если волны идут, как чаще всего, на берег) — против волны плыть просто и можно заплыть далеко, а обратно... не вернуться. Волны вдогонку, когда плыть надо к берегу, нагоняют, захлёстывают, и если выносливости мало, то пловец быстро теряет дыхание (волны мешают дышать размеренно) и может погибнуть. Поэтому — не отплываете

очень далеко от берега в волну — ведь сердце у Вас не очень хорошее, я помню. Вопрос куда поехать не так уж сложен и во многом зависит от Ваших желаний.

Проще устроиться с комнатой в местах по восточной части южного берега Крыма — в Алуште, Судаке, Коктебеле.

Но это сравнительно грустные, каменистые места, и, хотя я именно их очень люблю, но многим бедность растительности наводит уныние, им мало того, что здесь самое главное — море.

Если Вы тоже хотите посмотреть природу побогаче, то нужно ехать на настоящий Южный берег — через Ялту, в Алупку, Симеиз, Кореиз, Мисхор, Гурзуф и т. д. Там тоже можно будет снять какую-нибудь комнатёнку, но я плохо знаю эти места. Впрочем, если я сам, как проектирую, в начале собираюсь побыть в Симеизе, то относительно Симеиза смогу Вам дать соответствующую рекомендацию или направление.

Плохо в этих местах, что много народу, и притом — специфической курортной публики. Решите, как хочется, но я бы посоветовал Вам для первого раза поехать туда, где посвободнее — в Судак, в Коктебель, в Отузы, в Алушту, пожить там у моря, накупаться всласть, загореть, наесться помидор

и винограда, а затем проехать на пароходе в Ялту и оттуда на автобусе, с остановками в турбазах или в гостиницах, съездить в Алупку, Никитский ботанический сад, Мисхор или Симеиз.

В Отузы, в Коктебель могу дать адреса, где искать комнаты, в Судаке это тоже легко сделать. Ехать советую автобусом из Москвы до Симферополя, от Симферополя до Феодосии другим автобусом, от Феодосии до Судака через Коктебель и Отузы ходит третий автобус. Автобусов в Крыму полно, и сообщение быстрое и регулярное, так что это не проблема. В Коктебель могу Вам дать «официальное» письмо (как о сотруднице Института, в котором я работал) к местной старожилке, бывшей сестре-хозяйке Дома писателей в Коктебеле, которая Вас направит куда следует, а также знает многих и в Отузах и в Судаке.

За комнату надо будет платить рублей 250 в месяц, но матрац, одеяло и даже бельё хозяйки дают, впрочем, у них всё плохое, и простыни лучше взять свои, а также и какой-нибудь плед или одеяло на случай холодной погоды.

Прожиточный минимум там как в Москве, но, конечно, придётся расходовать много денег на фрукты — это обязательно. За небольшую доплату хозяйки часто берутся и готовить — это

там, где деревенский тип жизни — Коктебель, Судак, Отузы. В типично курортных местах, в том числе и в Алуште, придётся есть в ресторанчиках и столовых.

В общем, проводить всё время надо, конечно, у моря, иногда ходить в горы на далёкие прогулки, и всё будет очень хорошо.

Ну, вот, как будто все предварительные советы. Теперь ещё:

а) правилен ли Ваш адрес, который я узнал: Серпуховской вал, 30, кв. 1? Это надо для сберкнижки, как и второе: как у Вас в паспорте написано Ваше имя: Таиса или Таисия?

б) где бы лучше оставить Вам сберкнижку или послать туда, если я буду в отъезде. Если послать ценным письмом Вам туда, то будет обратный адрес, и вообще — что за ценное письмо — любопытные мадамы заинтересуются.

Пожалуй, лучше всего было бы оставить Вам заказным письмом до востребования в Москве, но заказные письма хранятся ограниченное время — три недели. А если Вы там задержитесь в своей экспедиции?

Кому бы отдать, верному человеку? Могу заложить в книжку, а книжку уже заклеить в конверт и оставить Вам у себя на квартире, или у Ксении

Михайловны, или запереть в один из ящиков своего стола и оставить Вам в условном месте ключ? Всё это даже интересно — романтично и таинственно. Напишите, как Вы советуете, только не откладывая, чтобы я смог получить сразу по приезде в Москву, что может быть около девятого августа.

Так как это письмо содержит много важных вопросов, то было бы хорошо, чтобы Вы телеграфировали мне сразу же, как получите, сюда, в Дом писателя, что Вы письмо получили, и я буду уже спокойно ждать Вашего ответа в Москву.

Да, не забудьте заранее заказать билеты на автобус — за пять дней до отъезда, и берите автобус первого класса, а не второго. Второклассным ехать неудобно, тогда уже лучше поездом (в мягком вагоне), но на поезд надо заказывать за неделю.

Ну, вот, видите, Таис, «немного» о делах получилось много, но зато обсудили всё.

Однако опять осталось мало места для очередной «сказки» — ведь я не посылаю письмо заказным, чтобы не давать обратного адреса, выполняя Ваше повеление, вполне, впрочем, мне понятное.

Уже давно собираюсь рассказать Вам легенду о

Таис, но это будет длинно.

Анатоль Франс написал целую книгу, которая так и называется «Тайс»[102], но она мне не нравится — уж очень много там напущено религиозности и всяких психологических заскоков. Гораздо лучше отражают легенду о Таис, как это мне кажется, три картины одного итальянского художника, вернее, одна тройная картина (триптих), находящаяся в Римской картинной галерее.

Да, прежде чем описать картины, надо сказать вообще о том, кто такая Таис.

В египетском городе Александрия в начале нашей эры, около тысячи восьмисот лет тому назад, жила маленькая гетера (т. е. куртизанка) Таис. Александрия всегда была городом знаменитых куртизанок в эпоху расцвета древней Греции — Эллады, две тысячи двести — две тысячи лет тому назад. Таис жила уже в эпоху христианства. Считалось, что в ней возродилась лучшая прелесть древней Эллады, а гетеры ведь славились не только красотой и мастерством в любви, но

[102] Примечания: 102

Роман Анатоля Франса «Таис» (1890) посвящён истории куртизанки Таис Египетской Фиваидской, жившей в IV веке нашей эры. Пафос романа в смеси эпикуреизма и христианского милосердия. По роману в 1894 году Жюлем Массне была создана опера «Таис».

и разнообразными знаниями, воспитанием и культурой.

В Таис влюбился знаменитый христианский монах и вероучитель. Он сумел убедить её принять христианство, но сам не устоял перед чарами страсти. Едва Таис это поняла, как ей стало претить христианство, но и к прежнему существованию она вернуться уже не смогла, удалилась в пустыню, но вернулась и пришла к искусству и сделалась моделью знаменитого скульптора, который сделал с неё изумительную статую богини любви. Она полюбила художника, стала его возлюбленной и жила с ним, пока её не отравили изуверы-христиане за измену её новой вере, которой собственно обманул её монах, впавший потом в безумие от своей страсти и нечистых помыслов.

Такова самая основа легенды, по которой есть ряд картин, рассказов и стихотворений.

Так вот, картина, о которой Вам хочу расска-

зать, следующая[103].

На левой картине, в свете полной яркой, южной луны, перед полукругом белых колонн на высоком пьедестале стоит прекрасная серебряная статуя Афродиты — богини любви и красоты. Всё пусто вокруг, только редкие звёзды сияют в высоте, могучие деревья обступают храм таинственной тёмной стеной, широкая беломраморная лестница спускается на обращённый к морю склон холма. Тонкая струйка благоуханного дыма поднимается в спокойном воздухе с едва курящегося жертвенника. И у подножия статуи одинокая маленькая коленопреклонённая фигурка Таис с поднятым в мольбе к богине лицом. Она просит защитить её от грубости жизни, дать ей в её маленькой жизни побольше красоты и

---

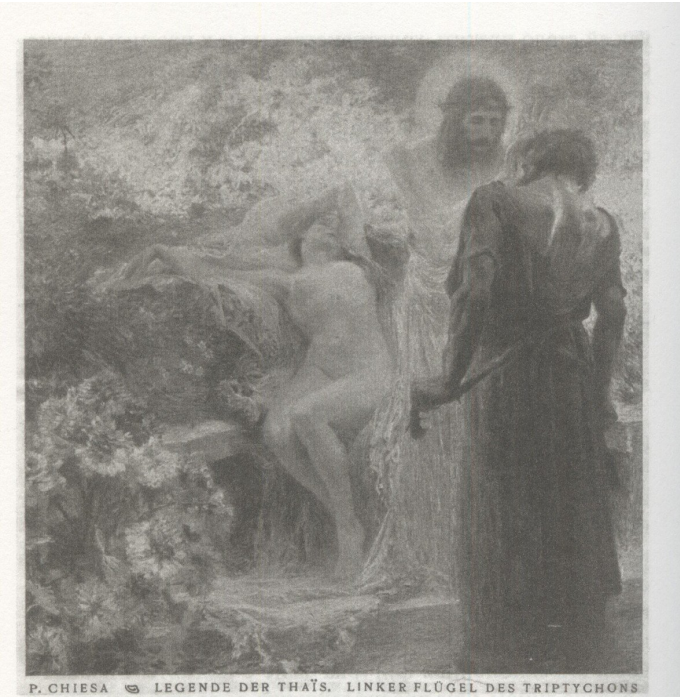
[103] Примечания: 103

В папке с личными письмами находилась чёрно-белая открытка с подписью: «P. Chiesa. Legende der Tais. Linker flugel des tripychons». Имеется в виду картина: Пьетро Кьеза (1876/78-?). Швейцарская школа. Искушение. 1906 г. Холст, масло. 184x184. ГМИР (Государственный музей истории религии).

Однако описание, сделанное Ефремовым, не вполне соответствует картине. У Ефремова: «А в блеске сверкающего навстречу монаху солнца — неясное видение богини с лёгкой, сотканной из света мантией, готовой прикрыть Таис от нечистого взгляда». На картине Таис от монаха закрывает фигура Христа. Возможно, Ефремов при словесном описании сознательно меняет концепцию картины.

На открытке указано, что перед зрителями левая часть триптиха. Ефремов же описывает её как правую.

любви.



Правая картина — это залитый ярким солнцем цветущий сад. Пронизанные светом голубые, алые и белые цветы склоняются на высоких ножках к широкой каменной скамье. На скамье

полулежит, откинувшись назад в безмятежном сне, вся обнажённая Таис. Одна рука, закинутая назад и согнутая в локте, прикрывает глаза, другая беспомощно опушена вдоль тела.

Точёные линии гладкого, сияющего в солнечном свете тела удивительно чистые, девически нежные. Но широкие бёдра, круглые колени, увенчанные тёмными кончиками правильные полушария крепких грудей говорят о женской силе этого прекрасного тела, так же как и свободная, полная изящества поза отдыха.

Спиной к зрителю, прямо против света стоит тёмная напряжённая фигура мрачного монаха. С неистовым порывом он вглядывается в ничего не подозревающую Таис и жилистыми руками стягивает на себе грубую верёвку пояса, очевидно борясь с искушением. И безупречная красота Таис кажется сияющей дивным, божественным светом рядом с этой чёрной яростной фигурой. А в блеске сверкающего навстречу монаху солнца — неясное видение богини с лёгкой, сотканной из света мантией, готовой прикрыть Таис от нечистого взгляда.

И, наконец, средняя картина — почти в той же позе лежит на пьедестале из красного гранита мраморная статуя Таис. Вокруг — широкая пло-

щадь города, много проходящих людей. Юноша в тёмном хитоне замер от восхищения, любуясь Таис, полный смутных желаний и грёз о будущей любви. Суровый воин остановился и опёрся на меч, с лёгкой улыбкой вспоминая что-то при виде воплощения красоты.

А на переднем плане хорошенькая женщина с большими задорными глазами показывает тонкой, стройной, как былинка, девочке на статую Таис и говорит что-то, а девочка не сводит огромных задумчивых глаз с мраморного тела, полная тайных дум. Она даже наклонилась слегка вперёд и только отбрасывает рукой с лица мешающую прядь густых чёрных кудрей.

Вот и всё, но разве мало сказано этими картинами о жизни, судьбе и Таис. Напишите, как Вам понравилась легенда о Таис в этих картинах.

Ну, кончаю это неимоверно длинное письмо — целая статья бы вышла — ведь написана мелко и густо. Одно утешение, что читать Вам просто — это не мой почерк.

Будьте здоровы, Таис, веселы и довольны. Но всё же надо выполнять обещанное — берегите себя. Пока из Ваших подвигов этого не видно.

Ваш: И. Ефремов

***

И. А. ЕФРЕМОВ - Т.И. ЮХНЕВСКОЙ

31 января 1953 г.

В Южной Африке, на широких плоскогорьях Драконовых гор, растёт это дерево. Редко, не каждый год, покрывается оно сплошь пурпурными цветами, такими чистыми и яркими, что вся широкая крона дерева горит и пламенеет в могучем ослепительном солнце этой безоблачной страны.

Среди коренных жителей страны — зулусов есть поверье, что дерево зацветает только тогда, когда среди людей появляются двое, любящие друг друга по-настоящему, до последней частички себя...

Редко, редко цветёт дерево, редко вспыхивает большая любовь... хотя людей много больше, чем этих деревьев, растущих одиноко и не образующих рощ.

И зулусские девушки приходят к дереву просить богов о любви, пусть со всеми её страданиями, тревогами и мученьем, ибо нет выше дара судьбы для простого смертного человека.

И если дерево зацветает, то все спешат сорвать его пурпурные ветки — подарить их тем, с кем

хотелось бы разделить этот высший и тревожный дар — любовь. Верят чернокожие красавицы, что лучше всяких приворотных зелий вызывает любовь цветущая ветка дерева.

А я посылаю Таюте Золотые ушки — целое дерево, — веря в южноафриканскую легенду.

С.В.[104]

***

И. А. ЕФРЕМОВ - Т.И. ЮХНЕВСКОЙ

14 февраля 1953 г.

Таюта, родная!

Чтобы тебе не было грустно на сегодняшнюю ночь — подставь мне милые глазки — я их целую на спокойный сон.

Рученьку под щёчку, золотые ушки пусть дремлют, и спи спокойно, тихонько, прикрываясь ресничками.

А где-то есть Серый Волк, который очень любит тебя и ждёт — не дождётся, пока мы не встретимся вновь.

Так, радость моя!

И. Е.

---

[104] Примечания: 104
Здесь и далее: Серый Волк.

***

И. А. ЕФРЕМОВ - Т.И. ЮХНЕВСКОЙ

2 марта 1953

г. Ленинград

«Её руки — нежные побеги,
Её губы — красные цветы,
Её зубы — жаркие расцветы,
Её груди — свет цветочных чаш...»[105]

(«Сакунтала» — индийская поэма о любви)

Ну вот, Таюта дорогая, — как я тебе говорил — сижу между шкафами за небольшим столом. Из окна — вид на широкую Неву с потемневшим, вздувшимся льдом, Дворцовый мост и Зимний Дворец.

За моей спиной в стеклянных шкафах — ряды черепов горных баранов и козерогов, чуть подальше лежат тяжкие, похожие на какие-то костяные сундуки черепа бегемотов и оскаленные морды гигантских камчатских медведей...

В Ленинграде третий день оттепель, всё течёт, пахнет весной, и от этого ещё грустнее, что со мной нет моей любимой... зебрушки, львёнка,

---

[105] Примечания: 105

Цитата из драмы «Сакунтала» («Шакунтала») индийского поэта и драматурга Калидасы. Перевод на русский язык Константина Бальмонта.

мальчишки, жемчужинки!

Знаешь, в день отъезда я был внешне весел, и тому, кто меня не знает, казалось, что я очень рад отъезду. А вот Е. Д.[106] спросила меня прямо: что со мной, раз я так не рад ехать в Лен-д? Я сказал, что ничего, она улыбнулась и спросила:

— Скажи, причиной этому — она?

— Какая она? — удивился я (больше — её проницательности).

— Ну та, о которой ты хотел что-то сказать мне, твоя новая леди?

Я посмотрел Е. Д. прямо в глаза и сказал:

— Да!

— Ну так расскажи!

— Не сегодня, об этом нельзя наспех, — отказался я и тут же пообещал, что после приезда из Ленинграда расскажу.

А Е. Д. сразу стала суровой...

Вот так, Таютик. У меня ведь всегда — если крупная неприятность или тяжело на душе — я становлюсь очень весёлым, и чем тяжелее — тем бесшабашней. Это, конечно, среди чужих, вообще среди людей. Впрочем, ты это знаешь уже...

Только если устаёшь от мелких и чудных

---

[106] Примечания: 106

Здесь и далее: Елена Дометьевна Конжукова, жена И. А. Ефремова с 1936 по 1961 год, мать Аллана Ивановича Ефремова (род. 1936 г.).

неприятностей — тогда становишься хмурым.

Скучаю без тебя, звёздочка! Вчера ходил на Неву, к Горному институту, там на приколе зимуют разные корабли.

Смотрел на их мостики, трубы, высокие носы и борта и думал, что скоро они уже освободятся из плена льда и пойдут своей широкой дорогой. И думал ещё, что когда я освобожусь из своего льда, чтобы пойти широкой дорогой любви к маленькой, но безконечно милой Тасе?

Подходит весна, а с ней и какие-то выяснения будущих событий.

Как ты живёшь, прелесть моя?

Спят ли милые реснички? Ест ли как следует маленький ротишко?

Серый Волк далеко — кто принесёт теперь из леса добычу, чтобы съесть пополам?

Здоровы ли мои Золотые Ушки, не обижает ли кто-нибудь?

Напиши мне, дорогая, хоть несколько строк, чтобы я знал — как у тебя.

Целую крепко, крепко, так чтобы глазки закрылись и заслонились ресничками.

Радость моя!

И. С. В.

Привет дуэнье.

***

И. А. ЕФРЕМОВ - Т.И. ЮХНЕВСКОЙ

4 марта 1953

г. Ленинград

Таюта Золотые Ушки, хорошая моя!

Вот уже 4 дня не видел тебя — кажется, что целую вечность! Завтра пойду на почтамт — может быть, будет от тебя уже письмо.

Весенняя погода сменилась морозом и жестоким ветром — хоть небо и ясное, но холодно и везде голый лёд. И настроение грустное — тут всё вместе — разлука с тобой, болезнь Сталина, погода — всё это настраивает на тоскливое ощущение.

И я очень долго думал над этим, призвав на помощь всю объективность учёного и писателя, но нет! Не могу согласиться. Если я буду любить тебя так же ясно, крепко и сильно, как сейчас — а это «если» зависит от тебя — если ты будешь продолжать любить меня, отвечать на мою любовь, сохранишь то большое и чудесное, что пришло к нам с тобой — то что же плохого тут может получиться? И чем серый волк хуже любого другого, который также мог бы полюбить тебя?

Конечно, если я буду болеть и приду в негод-

ность, или ты разлюбишь и уйдёшь от меня, то хорошего тут не выйдет, это верно.

Но ведь такая история может случиться и при любой возрастной разнице — это уж как судьба!

По-моему, главное тут совсем не в том, чтобы соблюдались какие-то «нормы» возраста, а в том, чтобы была любовь — обоюдная, сильная, не боящаяся случайных невзгод. Это основное, остальное приложится.

И если любимой жемчужинке будет хорошо со мной несколько лет — то что же ещё просить от судьбы? Мне — ничего!

Ну вот! Видел тебя во сне — мы путешествовали где-то в Тибете — каменистые долины, склоны гигантских гор, свежая зелень у кристально-чистых ручьёв, бездонное зеленоватое небо. И простор, и свобода, и радость быть с тобою. Хорошо!

И ещё раз видел тебя во сне — только мельком. Но ты была в очаровательном платье — очень светло-розово-фиолетовое, ну, словом, светло-сиреневом. Такое светлое, что издали оно почти белое. Платье свободное, со сборками на груди и с довольно широким пояском из чёрного или очень тёмно-синего бархата. Это знаешь, так тебе хорошо и так красиво само по себе, что надо обязательно, кровь из носу, тебе сделать такое

платье. Я бы купил бы здесь такого цвета шёлк — но, увы, есть только креп де шин, а мне его не хочется, не моден. Да и глазам своим не очень верю — в смысле цветов при электрическом свете они могут меня подвести.

Буду валяться в ногах у дуэньи, как приеду, просить помощи в этом деле.

В общем, закладывать ушки назад волку особенно-то не придётся — Ленинград совсем не тот и ничего тут такого нет. Поэтому приедет серый волк с гордо торчащими независимыми ушами, ну разве что одно ушко всё же будет прижато.

А мои листочки как? Ещё есть? Ещё напоминают Таюте о сером волке?

Покажи глазки, любимая... Они грустные или весёлые? Всё хорошо у моей драгоценности?

Дай, милая, милые нежные губки — я их поцелую тихонько, братским поцелуем... Как же иначе за 600 километров? Радость моя! Единственная...

Привет К. М.[107]

Твой Волк

Если понадобится срочно мне телеграфировать, то лучше по такому адресу (вдруг да что-нибудь):

---

[107] Примечания: 107

Ксения Михайловна Бухман. В некоторых письмах Ефремов называет её дуэньей.

Ленинград, Мастерская улица, 10, кв. 6, Любицкой для меня.

Можешь позвонить сюда же на телефон Д-1-54-45 и попросить передать, т. к. застать трудно меня на месте.

***

И. А. ЕФРЕМОВ - Т.И. ЮХНЕВСКОЙ

7 марта 1953

г. Ленинград

Таюта, жемчужинка моя, как сильно я по тебе соскучился за прошедшую неделю.

Ещё всё так сложно завязалось в один узел — горе утраты Сталина[108] и тревога за тебя. Когда получил твоё письмо, то сначала страшно обозлился на окружающий тебя люд, а потом пришла тревога, чтобы они не мучили тебя ещё.

Послал сразу телеграмму и подписался полностью — чтобы ты смогла её показать даже милиции, если опять придут. Но если придут опять, ты скажи участковому, что я с ним сам поговорю, и назначь, чтобы он пришёл во второй половине будущей недели, когда я вернусь из командировки. Ну а если повторяться не будет, то

---

[108] Примечания: 108

И. В. Сталин умер 5 марта 1953 года.

и чорт с ним — не обращай внимания на всю эту подлость — лучше они ведь всё равно не станут, как ни убеждай, да и я думаю, что они понимают то одно-единственное убеждение — как фрицы — по зубам и больше ничего. Но имей в виду, что они, если будут продолжать пакостить, то могут и ещё написать нам в Институт или ещё что-нибудь — так пусть это не будет для тебя неожиданностью и серьёзным огорчением — считай, что так уж неизбежно должно быть — что могли сделать, раз такая мода.

Единственное — не обращать внимания и любить дальше, а от компании этой отдалиться как можно скорее и вообще быть с ними очень и очень осторожной, так как, оказывается, от них всего можно ждать. В особенности помни о хорошей слышимости за их стенкой — мало ли что эта сволочь там слушает и что они ещё могут навыдумывать в злобном желании навредить во что бы то ни стало.

Я в телеграмме сказал тебе, что милиция тоже поступила незаконно — они не имеют права требовать каких- либо показаний таким «частным порядком», раз нет налицо обвинения и преступления, только по безымянному доносу.

Но всё зависит от того, как разговаривал с тобой

участковый — если по-хорошему, что, мол, явился, чтобы сразу же разъяснить нелепый донос, так как понимает, что ничего нет, и чтобы сразу прекратить дело вместо того, чтобы заняться официальными выяснениями и т. д.

Вот если разговаривает так, тогда ещё ничего — раз по-хорошему — то ты правильно пошла навстречу и всё разъяснила.

А если по-плохому, с какими-либо угрозами, то и с ним тоже можно поступить круто — привлечь к ответственности за превышение власти, принятие на себя следовательских функций и т. п. Это всё я выясню у тебя, как приеду, и там решим, как поступить.

Во всяком случае, дорогая, ничего не бойся. Ты ни в чём не виновата, и никто не смеет ничего предъявить тебе. Ну, конечно, сплетни и доносы соседей — тут уже ничего не сделаешь, только надо иметь их в виду и быть с ними осторожной.

Вот теперь точно поскорее надо всё рассказать Е. Д., а то может дойти до неё неожиданным и неприятным образом. Ну, я здесь не буду задерживаться никак — со всеми событиями и работа не ладится, хотя её оказалось довольно много. Я собирался выехать 11-го в ночь и быть в Москве 12-го, не позже. Вряд ли удастся выехать 10-го,

но буду пробовать. Настроение грустное, родная. Да и как же быть ему другим — утрата товарища Сталина — с которым связана вся сознательная жизнь моя — так или иначе, с его именем, с его делами.

И твои огорчения прибавляются сюда, чтобы лишний раз напомнить мне — а вдруг правы окружающие люди, и я причиню тебе столько огорчений, что всё это сведёт на нет мою большую, ясную и чистую любовь к тебе?

Под впечатлением «Камо грядеши»[109], о котором мы разговаривали с тобой в последние дни, мне показалось, что мы с тобой, как Лигия с Виницием, окружены враждебными силами и людьми и полюбили друг друга в такую эпоху... Помнишь, как услышали они рычанье львов? Ну, это, конечно, не так и это именно только показалось под впечатлением всего, случившегося за немногие дни нашей разлуки.

В том, что касается меня, я вообще ничего не боюсь — даже если придётся нам претерпеть невзгоды, подобные бедам Лигии и Виниция,

---

[109] Примечания: 109

«Камо грядеши» (1896) — исторический роман польского писателя Генрика Сенкевича, посвящённый жизни первых христиан римской общины. Лигия (девушка племени лигийцев, или лугиев, христианка) и Марк Виниций (молодой римский патриций) — главные герои романа.

— люблю я крепко и закалён в жизни.

Но за тебя мне иногда делается тревожно, и я никак не хочу, чтобы ты, маленькая, чистая и добрая, терпела какие-либо невзгоды, ибо какой же прок тогда в моей любви, если она не даст тебе настоящей радости.

Вот, зебришка драгоценная, львёнок мой. Ну, приеду, поговорим обо всём этом.

Был наконец сегодня в Русском музее — там очень много хороших картин. Любовался одной статуей, похоже на тебя, называется «Укротительница змей»[110].

А в чём сходство с Улановой[111] — разве ты не заметила? Посмотри на фотографию, там одна грудь совсем открыта. Разве у тебя не такая же точно, особенно после моих губ...?

Крепко, крепко целую глазки, а ресницами прикасаюсь к уголкам губ — чтобы не были очень грустные.

Привет Ксении Михайловне, скажи, что её просьбу буду исполнять в понедельник, а вдруг (лучше) вообще не удастся исполнить — никаких

---

[110] Примечания: 110

«Укротительница змей» (1893) — мраморная статуя работы Л. А Бернштама.

[111] Примечания: 111

Уланова Галина Сергеевна (1910-1998) - балерина.

наборов и коробок нет, а изредка встречаются одноцветные пучки какого-то гнусного малиновато-коричневого цвета — очевидно, оставшийся неудачный завоз. Как говорят сведущие дамы — за этим надо охотиться. Также нет и кроше[112] — что просила М. И.

Родная, Золотые мои Ушки.

Твой Волк

P.S. Помни о соседях — возьми, пожалуй, Юлиана[113] и держи его в Институте. А то кто его знает!

P.P.S. Всё, что нужно было сказать здесь о тебе — я рассказал, и — всё.

***

И. А. ЕФРЕМОВ - Т.И. ЮХНЕВСКОЙ

25 августа 1953 г. Коктебель

Таютик, родной мой!

Прошла всего неделя, как мы расстались с тобой, а кажется — уже бог знает сколько времени не видел мою радость.

---

[112] Примечания: 112

Кроше — кружево или специальные нитки для него.

[113] Примечания: 113

Вероятно, имеется в виду роман Д. С. Мережковского «Смерть богов. Юлиан Отступник» (1895). В советское время произведения Мережковского находились под негласным запретом.

И потому — здесь жаркие солнечные дни, тёплое спокойное море и особенно ночи — сейчас полнолуние — эти ни с чем не сравнимые крымские лунные серебряные и тёплые ночи — а гулять в них мне совсем не хочется, потому что нет со мной тебя — единственно любимой по-настоящему, до конца.

Очень соскучился по тебе и с нетерпением считаю дни — а они, как назло, идут очень медленно. Здесь — множество знакомых и хорошо относящихся ко мне людей — но часто они вызывают во мне лишь раздражение, потому что как-то, вольно или невольно, отделяют меня от тебя.

И в приступе такой тоски по тебе кажется, что всё мы делаем как-то неверно — может быть, не надо было так сохранять видимость? Но потом успокоюсь, и думается — нет, пожалуй, правильно, и у меня впереди целый месяц будет с Таютой, а Е. Д. пускай отдыхает с сыном и со мной — в последний раз.

А в общем — очень люблю, очень жду и очень скучаю без тебя. Это главное.

Я не пишу уж того, как ты снилась мне — это можно рассказать лишь на золотое ушко, стараясь заглянуть под опущенные ресницы… И ты мучила своего невольника тем, что долго,

долго обнимала его шею, а сама не становилась невольницей...

Ну, хорошо, надо о делах, а то сердце забилось, и почерк стал ещё хуже!

Количество отдыхающих в этом году в Крыму — гомерическое. Здесь все дома поближе к морю сданы, а что делается в Ялте — прямо беда — говорят, что там нет даже хлеба.

В Судак я ездил вчера и там не нашёл ничего хорошего, но на днях будет большой разъезд — к 1-му сентября. Уедут все учащиеся, их родители, все учителя и преподаватели — снова будет много легче.

На днях мы съездим в Ялту, и я там посмотрю ещё — в Мисхоре, Алупке и Никитском саду. Если и не найду ничего подходящего, то не опасайся — мы с тобой поедем прямо в Судак и в Новый Свет, а там оба решим, где быть и где тебе больше понравится. Не выйдет в Судаке — перекочуем на Южный берег. В крайнем случае нам придётся переспать одну ночь в машине — тебе, маленькой, везде будет удобно (у меня раскладывается сиденье), а пищу я захвачу с собой из Дома отдыха дня на два-три. Не будем хвататься за первое попавшееся, а выберем, что получше.

Я телеграфировал тебе сначала, чтобы ты не

приезжала 6-го — это воскресенье, так как в этот день идёт сплошной поток машин из Симферополя к морю. Но потом я выяснил, что на Судакском шоссе ничего особенного не бывает, и послал вторую телеграмму, что в воскресенье — можно. Пятого нельзя приезжать потому, что Е. Д. достала себе билет только на 5-е, вместе с нашими приятелями Рахмановыми[114], и, следовательно, мне придётся везти её на вокзал в Феодосию к 2 часам дня, и я не успею в Симферополь.

А проводив её, я не спеша уложусь и рано утром 6-го выеду за тобой, моя прелесть, зебрушка моя драгоценная.

Если не успеешь что-нибудь или не получится с билетом, то приезжай 7-го, но постарайся ни в коем случае не позже, а то я очень жду тебя.

Я здоров, хотя первые дни я всегда себя чувствую не очень хорошо — акклиматизируюсь. Коленка почти прошла, рука ещё нет, но лучше.

К сожалению, болят глаза — опять конъюктивит, и если Волчик тебя встретит с распухшими глазами, то не очень пугайся.

---

[114] Примечания: 114

Рахманов Леонид Николаевич (1908-1988) - писатель, сценарист, драматург, возглавлявший центральное литературное объединение при Союзе писателей Ленинграда. Аллан Ефремов дружил с его дочерью Татой Рахмановой, ныне известной переводчицей Наталией Леонидовной Рахмановой.

Пока я совсем не греюсь на солнце, почти не ем фрукты — здесь жаркое лето, и много случаев заболевания дизентерией — а я очень боюсь заболеть до твоего приезда. Есть и москиты — боюсь, чтобы они не кусали меня много — как бы не схватить москитку. Поэтому я очень сейчас осторожен и стараюсь никак не повредиться до твоего приезда. Поэтому я не буду очень загорелым — загорим потом вместе, и очень похудевшим — это всё нервы — когда моя родная встретится со мной и будет устроена удобно и хорошо.

С Алланом ещё не разговаривал — он тут по целым дням пропадает в море или с девушками ходит на горы, а потом мертвецки спит. В машине мы обычно вместе все.

Ну, ничего, ещё выберу время и место. Аллан едет с Киселёвыми[115] 1-го сентября (или 2-го). (Слушал, как пела Обухова[116] — вот чудесный

---

[115] Примечания: 115

Киселёв Сергей Владимирович (1905-1962) - советский историк и археолог, член-корреспондент АН СССР, лауреат Сталинской премии (1950). В 1948-1949 годах возглавлял археологические работы в Монголии, в том числе вёл раскопки Каракорума, где и познакомился с Ефремовым. Его жена Лидия Алексеевна Евтюхова (1903—1974) заведовала отделом полевых исследований Института археологии АН СССР. С. В. Киселёв и Л. А. Евтюхова Ефремову послужили прототипами для четы Андреевых в романе «Лезвие бритвы».

[116] Примечания: 116

Обухова Надежда Андреевна (1886-1961) — великая русская оперная и камерная певица.

голос и изумительное исполнение.)

Ну вот, моя родная, всё изложил тебе — пока ничего особенного нет, только бы ты была здоровенькая и приезжала скорей. Я думаю, что никаких телеграмм тебе не понадобится для отсрочки ухода и из ПИНа, но ты сделала всё умненько. Очень интересно, какой эффект вызвало твоё заявление об уходе — впрочем, сейчас ещё мало народа и эффект основной будет потом!

Ну вот и всё, любимая.

Ехали мы хорошо, только без всяких удобств, и поэтому приехали в Коктебель совершенно умученные. В первый день выехали после часу и не спеша доехали до Мценска, где заночевали на открытом балконе (мест в гостиницах не было). Выехали 19-го в 6 часов утра и проделали за день 850 км, чтобы заночевать в Зелёном Гае, где есть гостиница. Но там не было абсолютно никаких мест, и мы, умученные, подремали в машине часа два и снова погнали на Симферополь, куда и прибыли к 2 часам дня 20-го, и вечером были в Коктебеле (после мойки машины в Симферополе) едва живые, и отоспались только к вечеру 21-го. Вот это ход! (Но, оказывается, ездят ещё быстрее!)

Ну вот, родная моя, желанная. Береги себя

очень, очень, хорошо? Спи, ешь побольше и не превращайся в кролика — твой волченька очень тебя крепко тебя любит и помнит о тебе, так же, как и ты, — каждую минуту!

Большой привет дуэнье, поцелуй её в носик. Около 1-го напишу тебе ещё письмо — оно успеет дойти авиапочтой, с дальнейшими новостями. Завтра поедем в Ялту и два дня проездим там.

Крепко, крепко целую тебя и очень крепко люблю.

Твой Волчик

[На адрес: Москва, ул. Герцена, д. 19, кв. 32, Ксении Михайловне Бухман, дц ТЗУ]

***

И. А. ЕФРЕМОВ - Т.И. ЮХНЕВСКОЙ

18 августа 1955

г. Москва

Родной, драгоценный Таютик!

Через час — выезд.

Очень, очень крепко тебя люблю и жду, радость моя.

Не забудь взять с собой какого-нибудь хорошего крема — на случай обветривания или «перезагорания».

Я вчера был у Зубихи[117] (Софьи Марковны) — она и Лёля всё расспрашивали про тебя, и где ты и отдыхала ты или нет и т. п. Я притворился, что не знаю о твоих планах на отпуск.

Ты обязательно им позвони до отпуска. Без меня драть зубишки лучше не ходи, а им всё-таки позвони — уж очень хорошо они к тебе относятся.

Есть хороший журнал мод «Мода Риги» на 1953—54 гг. Там есть всё, что угодно, стоит 30 руб. Попробуй достать.

Ещё раз крепко тебя целую, любовь моя. Привет дуэнье.

Волчик

***

Т.И. ЮХНЕВСКАЯ - И. А. ЕФРЕМОВУ

22 сентября 1955 г.

Волченька милый!

Почему-то ты молчишь, хоть бы открыточку написал, ведь знаешь же, что я беспокоюсь не о том, как ты устроился, а о здоровье. Забыл ты свою Фаюту-Зебру, а говорил, что скучать без неё будешь. Всё-таки Зебра тебя больше любит, чем ты её. Ну, не хмурься очень, читая эти строки. Просто я со-

---

[117] Примечания: 117
Здесь: у зубного врача.

скучилась, а от тебя только телеграммы привезти липучки и т. п. Ну ладно, скоро увидимся, и тогда Зебрь брыкнёт разика два. Идёт?

Волча, «Катти Сарк»[118] я уже отвезла в редакцию, один экземпляр беру с собой, получилось 57 стр.

Билет я уже получила на 26/IX, в Феодосии буду 28 сентября что-то около половины пятого утра. Не знаю, будет ли автобус. Я просила тебя сообщить мне об этом, но ничего пока нет.

С Алланом мы хорошо живём, дружно.

Волчик, а «Катти Сарк» — это здорово. Опять было жаль расставаться с Вуджетом, Доуменом[119] и самой «Катти». Так же грустно, как и с Монголией — с Прониным, Вылежаниным, Яном[120] и др. Может быть, поэтому и настроение

---

[118] Примечания: 118

«Катти Сарк» — повесть И.А. Ефремова, посвящённая английскому чайному клиперу «Катти Сарк». Впервые опубликована в 1944 году. В 1954 году судно поставлено на сухую стоянку на берегу Темзы, Ефремов получил из Англии дополнительные материалы по истории парусника и доработал повесть. Второй вариант повести опубликован в 1957 году. В данном письме идёт речь по перепечатке нового варианта повести для сдачи в издательство.

[119] Примечания: 119

Персонажи рассказа «Катти Сарк».

[120] Примечания: 120

Персонажи книги И. А. Ефремова «Дорога ветров», посвящённой трём годам работы экспедиции ПИН АН СССР в Монголии.

у меня грустное, да ещё пришло время... Вот так, маленький мой Вока. Ты там береги себя. Хочется скорее увидеть тебя и боязно. Я ведь не была ни разу в дом-отдыхе, а тем более в писательском. Ну вот пока и всё. Сейчас буду читать Л. Андреева «В тумане»[121]. Аллан принёс и говорит: страшно. «Манекен»[122] прочла — очень понравилась. Об этой книге поговорим.

До скорой встречи, милый.

Жди.

Крепко целую тебя.

Твоя Зебрушка

***

И. А. ЕФРЕМОВ - Т.И. ЮХНЕВСКОЙ

22 сентября 1955

г. Коктебель

Милый маленький зебрёнок!

Получил твою открытку с Курского неожидан-

---

[121] Примечания: 121

«В тумане» — рассказ Л. Н. Андреева. Молодой человек влюблён в гимназистку, при этом болен венерическим заболеванием. В отчаянии он решается на убийство проститутки. Рассказ опубликован в 1902 году в «Журнале для всех», в советское время не переиздавался. Вероятно, рассказ читался в самиздате.

[122] Примечания: 122

«Манекен» — возможно, имеется в виду рассказ В. А. Каверина «Манекен Футрефаса» (1923). Менее вероятно — цикл рассказов Б. Шульца «Трактат о манекенах».

но быстро и пишу в надежде застать тебя.

Я тоже очень соскучился — так не хватает родной Фаюты!

О поезде не беспокойся — директор продлит путёвку на этот один день, а я выеду встречать тебя на автобусе обязательно.

Море тёплое — можем купаться, хотя пока я всего два раза купался — остерегаюсь.

Привези несколько — штук 5—6 газет — здесь их трудно доставать, а в хозяйстве нужны. Я телеграфировал, что ещё нужно, а кроме того, было бы хорошо забрать синтомицин из нашей мозжинской[123] аптеки (Е. Д. взяла только новый) и у Кота[124] — если ему не нужен. Здесь в моде расстройство пузиков — виноград в этом году кислый. Много ещё персиков — мечтаю, чтобы додержались до твоего приезда.

Аллану скажи, чтобы прислал, если готовы, с тобой его фотографии с бородой и в экспедиции

---

[123] Примечания: 123

В 1955—1956 годах И. А. Ефремов снимал дачу у академика И.М. Майского в дачном посёлке Мозжинка под Звенигородом, где жил с Т. И. Юхневской.

[124] Примечания: 124

Кот — домашнее прозвище Аллана, сына И. А. Ефремова.

— тут Мария Степановна[125] и другие интересуются.

Платон здесь, лежит больной в деревне — простудился. Была и его Наташа — вчера уехала. Самые «знатные» людишки уедут до твоего приезда, и ты их не увидишь.

Обязательно бери с собой шерстяную голубую кофточку и, м. б., красную — здесь будут холодные вечера. Шерстяные чулки — тоже!..

Бах! Страшный удар! С окна сдуло ветром термос, и он — вдребезги... Вот так фунт!

Фаютик, ради бога, захвати ещё свой большой термос — не знаю, есть ли здесь в Феодосии.

Я крепко люблю своего зебрёнка, и он мне очень нужен. Скучаю без милых звёздочек, никто не показывает реснички. Такой чудный курносый!

Вкладываю котишке отдельный листик с лепестками розы — они цветут прямо перед входом в нашу комнату. Приезжай, родная, береги себя.

Волк

[Приписка рукой Е.Д. Конжуковой:]

Милая Тася! Сегодня чудесный день, море тихое, солнца много. Когда Вы приедете, удастся ещё

---

[125] Примечания: 125

Здесь и далее: Заболоцкая Мария Степановна, вдова поэта М.А. Волошина.

как следует накупаться в море! Горы все в дымке, много зелени! Как Вы живёте с Котом? Шлю обоим [четыре слова неразборчиво]. Целую.

ЕК

***

И. А. ЕФРЕМОВ - Т.И. ЮХНЕВСКОЙ

1955 г.

Фаюта родная!

Попался твой Волк в западню — опять заболел гриппом, переведён в изоляцию, а на стационар наложен карантин — не будут пускать ко мне (но ты на минутку загляни в щёлку). Вот отчего не люблю я всех этих стационаров — влипнешь вот так. Вчера очень ждал Е. Д., чтобы приехала, тогда бы удрал в Москву, пока t° не была высокой, а сейчас уже поздно — ловушка захлопнулась. Ну, при первой возможности буду удирать! Но это не раньше, чем через 3-4 дня.

Передал тебе сетку, журналы и корректуру — её отдай Е. Д. сегодня же, пожалуйста, м. б., завези на квартиру. Скажи, чтобы Малеев[126] вписал в конце названия своих работ — я их пометил

[126] Примечания: 126

Малеев Евгений Александрович (1915-1966) — сотрудник ПИН АН СССР, участник Монгольской палеонтологической экспедиции, описавший биологические роды телараурус, теризинозавр и тарбозавр.

карандашом.

М. б., в следующий раз приезжай в воскресенье. М. б., вместе с Е. Д. — всё равно пускать пока не будут.

Фаюта, я так тебя люблю и очень страдаю, что не могу с тобой видеться. Береги себя, ласточка моя, смотри не простудись.

Здесь эти дамы — помнишь, с которыми встретились, уверены, что ты — моя дочь, так как считают, что ты значительно на меня похожа. И очень тебя хвалили — симпатичная, и решили, что тебе 19 лет. А я им порассказал из озорства, что ты училась индийскому языку в МГУ, просто так, из хулиганства, так что ты при случае не выдавай.

Из журналов никаких книг выписывать не надо — ничего нет. Если привезёшь в воскресенье на машине, то вези, а так — не таскай тяжесть, не стоит, после воскресенья скоро уберусь отсюда.

Крепко, крепко целую моего зебрёнка.

Береги себя, моя радость.

В.

***

Т.И. ЮХНЕВСКАЯ - И. А. ЕФРЕМОВУ
1955 г.

Волчона моя милая!

Как ты себя чувствуешь, какая температура?

Что же это, милый, ты разболелся, как я просила тебя беречь себя и вот результат. Очень прошу тебя, хоть сейчас не хулигань. Обидно, что не пускают к тебе, а так хочется видеть, поцеловать и потискать тебя (а также и почухать).

Волченька, я тебя очень прошу, береги себя, ведь ты мне так нужен, и ты у меня один, и никто тебя мне не заменит. Буду любить тебя всегда, всегда, мой милый, хороший мой — лучше всех. Скучаю без тебя очень. Немножко твой Фаютик стал водопроводиком, но ты не беспокойся — это ничего. Самое главное — скорее поправляйся, и тогда всё будет хорошо. Обо мне не беспокойся, я чувствую хорошо. И у меня всё в порядке.

Родной мой, зачем же ты там наговорил дамам. Ведь я ничто, а ты сделал из меня студентку. И мне хотелось бы быть ею, но увы. Ладно, выдавать тебя не буду. Самое главное — был бы ты здоров, а там и я буду тем, кем ты захочешь. Ты бы этим дамам сказал, что мне не 19, а уже около 30. А что похожи мы — это многие говорят. Ну, я очень рада, что похожа на тебя. На кого же мне быть похожей, как не на тебя?

Волчик, к тебе приеду в воскресенье вместе с

Алланом и Е. Д. Она сама мне предложила.

Волчек, смотри в окошко, я буду глядеть в него. Ты не ругай меня, что я приехала, но я хотела хоть одним глазком увидеть тебя. Я скоро уеду. Журналы я сдала, получила только пять Sc. Newsletter[127], остальные получу в субботу. Передай, какая t и что тебе надо привезти.

Надо тебе отсюда выбираться, а то этот отдых тебе не впрок, недаром ты не хотел ехать. Но ехать надо действительно через 3-4 дня и обязательно когда спадёт температура.

Ну вот, Волчик милый, любимый, золотой, алмазик мой, жди в воскресенье. Очень люблю тебя.

Напиши, как кардиограмма и смотрел ли Соколов?

Сегодня собирается Е. Д. к тебе вечером, а меня не берёт. Я ей звонила вчера и сказала, что хочу съездить хоть в окошко посмотреть на тебя, но она не велела ездить, говорит, неудобно. Но что тут особенного, если я, твоя дочь, приеду. Ведь так естественно, что дочь беспокоится об отце. А

---

[127] Примечания: 127

Science News — американский журнал, печатающий короткие статьи о новостях науки и технологий. Выходит с 1921 года, сначала под названием Science News Bulletin. В период с 1922 по 1966 год назывался Science News Letters.

до вечера не знать, как ты чувствуешь, я не могу. Так что не выдавай меня, что я была, ладно? А если она узнает, ты скажи, чтобы меня не ругала. Ведь я тебя очень люблю.

Твой Фают

***

И. А. ЕФРЕМОВ - Т.И. ЮХНЕВСКОЙ

25 февраля 1958

г. Санаторий АН СССР «Узкое»

Маленькая зебра!

Посылаю тебе три иностранных письма — два другие годны.

Их перечитай, а я тут заклею.

Вот какая большая просьба — если хочешь новый ВОГ[128] и Симонову, то заезжай прежде, чем ко мне, в Дом Учёных[129] и возьми журналы

[128] Примечания: 128

«Vogue» — американский журнал о моде. В Советском Союзе не издавался.

[129] Примечания: 129

Центральный дом учёных — научно-культурное учреждение АН СССР. Расположен по адресу ул. Пречистенка, 16 в здании, построенном в стиле неоклассицизма с элементами модерна.

для Узкого[130] — я договорился с Алекс [андрой] Михайловной.

Ты только обязательно возьми такси и поезжай на нём в Д[ом] У[чёных], а затем (пусть машина подождёт две минуты, ни черта) сразу же на Калужскую площадь и ко мне к обычному времени (12.30). Обещаешь?

Адрес Грабовского Бориса Павловича[131]:

Фрунзе, ул. Дзержинская, 158

Адрес Ильясова Явдата[132]:

Ташкент, Первомайская, 20, редакция журнала «Звезда Востока».

Вот что ещё — посмотри в тетрадке с иностранными письмами (знаешь, на верхней полке секретера слева синяя корка от тетрадки) — посмотри адрес Minchen Chow[133] — в одном из

---

[130] Примечания: 130

«Узкое» — усадьба князя П. Н. Трубецкого, расположенная на территории современного Битцевского парка. С 1922 года в усадебных постройках расположился санаторий АН СССР «Узкое». Санаторий действует до настоящего времени. И. А. Ефремов несколько разленился и отдыхал в «Узком».

[131] Примечания: 131

Грабовский Борис Павлович (1901—1966) — советский физик и изобретатель, один из пионеров телевидения.

[132] Примечания: 132

Ильясов Явдат (1929-1982) — советский писатель, автор произведений на темы древней и средневековой истории Средней Азии.

[133] Примечания: 133

Minchen Chow(Mingzhen Zhou), 1918-1996) — китайский палеонтолог

Минчен Чжоу, академик Китайской академии наук, занимался ископаемыми позвоночными, в частности млекопитающими. Руководил китайским отрядом Советско-Китайской палеонтологической экспедиции 1959-1960 годов. Далее в тексте — доктор Чжоу.

писем — я пошлю P. O. Box 643, Peking — так правильны ли эти цифры?

Привези открыток — они есть на дне секретера — в том же главном отделении над бумагами.

Я сегодня уже звонить вечером не буду.

Жду милого зебрёнка и крепко его целую — ушки и глазки тоже. Береги себя. Жду.

Передай привет всем.

Волчик

***

И. А. ЕФРЕМОВ - Т.И. ЮХНЕВСКОЙ

Февраль 1958 г[134]

Санаторий АН СССР «Узкое»

Милый симпатичный Фаютик!

Спасибо за отправку книг. Насчёт Информбюро[135] не знаю, что сказать — всё равно их не остановить. Пусть себе!

Эти новости (информация), наверное, такие же неважные, как и в нашем академическом бюллетене научной информации — думаю, что не стоит подписываться.

---

[134] Примечания: 134

Дата и место отправки определены по содержанию.

[135] Примечания: 135

Так И. А. Ефремов иронично называл сплетниц.

У нас — ветрище и жуткий мороз, хотя ясное солнце. В моей стеклянной клетке холодновато, и я сразу же перестал потеть по ночам.

Приезжай в среду — соскучился. Но с условием — чтобы не было такого мороза — если потеплеет.

Привези журнал (новый), а то его Ёж благополучно забыл.

Присылали ли ещё «Пионерскую правду»?

Звонила ли Фаина Семёновна насчёт Уэллса (трёхтомник)[136]?

«Мост Ватерлоо»[137] не обещают, но на неделе будет два интересных фильма.

Целую очень крепко свою звёздочку. Береги себя.

Волчек

P.S. Привет большой и поцелуй М. Ф.[138] М. б.,

---

[136] Примечания: 136

«Избранное» Г. Уэллса в 3-х томах вышло в издательстве «Молодая гвардия» в 1956 году.

[137] Примечания: 137

«Мост Ватерлоо» (1940) — фильм режиссёра Мервина Лероя. В главных ролях Вивьен Ли и Роберт Тейлор.

[138] Примечания: 138

Лукьянова Мария Фёдоровна, домашние прозвища Марафет, Енот (1906-1979) — заведующая препараторский АН СССР, опытный препаратор и раскопщик. С 1937 года сотрудница лаборатории И. А. Ефремова. Единственная женщина-участник Монгольской палеонтологической экспедиции (1946, 1948, 1949). Друг и помощник Ефремова.

она приедет?

Хотя если холодно — обе не приезжайте — до воскресения — тут ветры страшенные.

***

И. А. ЕФРЕМОВ - Т.И. ЮХНЕВСКОЙ

Телеграмма

Октябрь, 1958 г.

Пекин

Thayuta my love you are the most beautiful woman in the whole world.[139]

[139] Примечания: 139

* Таюта моя любовь, ты самая прекрасная женщина во всём мире. (Перевод с английского.)

Thayuta my love you are the most beautiful woman in the whole world.*



Таисия Иосифовна Юхневская.
Фото публикуется впервые

***

И. А. ЕФРЕМОВ - Т.И. ЮХНЕВСКОЙ

13 октября 1958 г.

Пекин

Мой любимый крохотный зубрик!

Наконец выдалась возможность написать тебе. Уже 4-й день я в Китае, и каждый день насыщен переговорами, визитами и осмотрами достопримечательностей.

Начну с полёта. Как наши академические горе-работники не сумели взять билеты на прямой Ту, и мы полетели с пересадкой в Иркутске на китайский самолёт Ил-14. Ту — замечательная машина, вроде звездолёта. За Омском нас встретил снег, в Иркутске мороз, а в Москве в день вылета было +18 — жарко.

От Иркутска мы долетели только до Улан-Батора, Пекин нас не принял, и мы ночевали в Улан-Баторе в аэропорту. В город выехать не удалось, т.к. не было ни копейки монгольских денег, а монгольский сервис и тупость Марафет вполне может описать. Однако гостиница в новом аэропорту чистая, хорошая, и мы выспались ночь, несмотря на жуткий ветер и мороз. Но всё же все

попростужались, кроме Рождественского[140], и я до сих пор соплю носом.

В Пекин прилетели только 10-го, была жара +26, и я до сих пор хвалю себя за то, что догадался взять с собой не китель, а новый летний костюм, и рад, что зубрик снабдил меня майкой и трусами. Нас встречали с цветами, повезли в гигантскую гостиницу «Пекин», где я живу до сих пор в отдельном номере с ванной и спальней. Размеры номера раза в полтора больше нашей московской квартиры!

Вообще эта гостиница — нет такого здания в Союзе по грандиозности вестибюлей, холлов и зал, скопированных с императорского дворца, который я смотрел вчера. Только что вернулся с приёма у министра геологии — обаятельного человека, и через два часа везут в китайскую оперу — надо успеть написать тебе письмо, отправить его и подышать!..

Продолжаю о приезде — сразу же нам вручили юани — всю месячную зарплату — это по местным деньгам большая сумма, но увы — большая

[140] Примечания: 140

Рождественский Анатолий Константинович (1920-1983) — советский палеонтолог, участник Монгольской палеонтологической экспедиции, возглавил советский отряд Советско-Китайской палеонтологической экспедиции 1959—1960 годов.

часть уйдёт на совместное потчевание и периодические угощения спутников-китайцев в очень дорогом ресторане гостиницы. Всё же кое-какие подарочки я привезу и зубрику, и Марафету, и всем.

Послал тебе телеграмму с великим трудом — с помощью переводчика, это заняло час времени, и я не уверен, что т-мма дошла. Больше посылать не буду, т. к. стоимость т-ммы равна здесь цене модельных ботинок. Но ты можешь быть за меня спокойна, здесь так смотрят за нами, что стоит чихнуть лишний раз, и в номер, неведомо как оповещённый, является врач, а то и с медсестрой.

Через два дня мы уедем на 10 дней в Нанкин, Циндао, Шанхай и ещё на раскопки. Вернёмся в Пекин около 25-го и планируем отъезд (отлёт) 5-6-го на прямом ТУ (здесь не будет наших академических болванов).

Здесь очень-очень много имперского, и будет что порассказать моей родной зебришке! Всё время то восхищаешься, то устрашаешься — среднего нет. И масса поучительного для нас в Союзе.

Вчера и сегодня лил проливной дождь, похолодало, погода испортилась. Поэтому мы не поехали ни в пещеры раскопок синантропа, ни на могилы

династии Мин, а работали в Ин-те по экспедиции. И вчера утром (китайцы очень ранние люди, и приходится и нам ложиться в 11, вставать в 7 — по местному, в 2 часа ночи по московскому) в 10 утра мы уже были на балете «Лебединое»[141] в китайской постановке (посылаю тебе 1-ю страницу программы). Одетта — Одиллия — очень хорошая, маленькая, круглолицая и сложена как ты — поэтому очень, совсем необыкновенно остро было чувство тоски по тебе во время нашего любимого адажио. Декорации фантастичные и по технике и выдумке лучше наших, — музыка вполне хорошая, и балерины очаровательны, хотя им далеко до наших в технике — только глядя на них, я понял, как дьявольски выучены и отобраны наши.

Но я не раскаиваюсь, что поехал. С полётом я справился вполне — только на Ил, когда он шёл на высоте в 3700 — кабина не герметичная, было трудновато дышать. Я всё же поздоровел, конечно, — твои труды не прошли даром. — Здесь так много интересного, и меня безпокоит только твоё здоровье. Береги себя, моё солнышко, моё счастье, мой чудный зебрёнок. Пиши — адрес

---

[141] Примечания: 141
«Лебединое озеро».

в Марафетином письме, авиапочтой заказной. Теперь напишу после приезда. Целую *[слово неразборчиво].*

Волчик

[Приписка сбоку:]

Послал посылки! Получишь их, телеграфируй, как здоровье. Будь спокойна, поправляйся решительно.

***

И. А. ЕФРЕМОВ - Т.И. ЮХНЕВСКОЙ и М.Ф. ЛУКЬЯНОВОЙ

18 октября 1958 г.

Пекин

Мои дорогие и милые зебрёнок и енотик!

Через два часа уезжаем на юг в sleeping-car — международном вагоне. Поедем прямо в Циндао, затем в Нанкин, оттуда в Шанхай, оттуда в Ханчжоу, оттуда на раскопки гигантопитеков в Шаньси. Наконец сегодня всё выяснилось, и я могу написать о сроках. В Пекин вернёмся не раньше 1-го, и никак не удастся попасть на прямой самолёт 4-го — не хватает времени на лекции и заседания. Заказали сегодня билеты на прямой самолёт 7-го на рассвете, с тем чтобы быть в Москве 8-го (если не задержит погода, которая в

ноябре в Сибири часто плохая).

Очень соскучился по бесконечно милому зебрёнку и чёрненькому еноту — очень крепко люблю курносых.

Здесь удалось уже много посмотреть, и с экспедицией в основном всё налажено. Кое-какие вопросы ещё надо решить в нашем посольстве по возвращении в Пекин и подписать соглашение на двух языках.

Впечатлений просто чудовищное количество, и мы все очень устали. Но вчера был день отдыха — только встречали приехавших индусов (сами) и пришли в себя.

Я здоров, только немного простужен — кашель по вечерам (трахеит). В остальном пока всё благополучно. Уже купил кое-какие подарочки — ежу хороший, тебе, Марафетику и сыну — похуже, но будет куплено ещё кое-что. Бархата тебе в Пекине не нашёл, посмотрю в Шанхае. Обязательно напишите мне к 1-му на почтамт: КНР, Пекин, п/ящ 643 проф. С. С. Цыну для проф. И. А. Ефремова.

Привет Лидии Степановне. Очень крепко целую. Люблю.

У меня в кармане твоя маленькая зажигалка, которую ты положила *[слово неразборчиво].*

Волчонок и Медведь

***

Т.И. ЮХНЕВСКАЯ - И.А. ЕФРЕМОВУ

19 октября 1958

г. Коктебель, Дом писателей

Милые мои родные Волчата!

Спасибо большое, маленький, тебе за телеграмму и письмо, которые я получила довольно быстро. Телеграмму принесли на другой день после твоей отправки, а письмо пришло на пятый день. Очень-очень рада, что ты доволен поездкой, только, милый, береги себя, ты одевайся потеплее, а то носишко сопит. Жду с нетерпением твоих рассказов, а ещё больше самого большого и в то же время маленького Волчка.

О здоровье моём не беспокойся, чувствую себя хорошо; не перегреваюсь, не охлаждаюсь, принимаю В1, так что Зебрёнок твой совсем паинька. Голова болит очень редко, так что и пирамидон принимаю совсем мало. Синяки мои уже прошли, только остался твёрдым тот 5-й укол магнезии, но он не болит. Так что всё хорошо. Конечно, беспокоюсь о тебе, но это беспокойство хорошее, и очень-очень уже соскучился по милым глазёнам и всему Волчонку.

Доехали мы хорошо, но сперва нас поместили

в Парфенон, в самую холодную комнату, хотя мы и просили более солнечную. Но в этой комнате солнца ни разу не было, т. к. окна выходят на север. А в то время дул северо-восток, так что было довольно холодно, но обошлось благополучно. Да ещё там рядом построили электростанцию, и движок её работал день и ночь, мы засыпали и просыпались под него. Ну, мы зазебрились и пошли к директору. Нас переселили в финские домики на территории бывшего пионерлагеря. Там нам было очень хорошо, очень напоминало Мозжинку, так как комнатка наверху и светлая, и всё время как-то я ждала твоих шагов и ласкового голоска, который позовёт: «Зебрята».

Сейчас, т. е. вчера, мы снова переехали в новый комфортабельный дом со всеми удобствами, с водопроводом и сильвией, но живём втроём. Но соседка — очень милая молодая женщина, которая нам совсем не мешает.

Вообще, милый, Коктебель, к сожалению, стал не тот, каким ты знал его и я ещё застала. Много понастроили, и строительство идёт на всех участках. На московской территории построили дом, в котором мы сейчас живём. Он с большими комнатами на 3-4 человека. Дом предназначен для писателей с семьями. Затем построили ад-

министративный корпус недалеко от голубка. На ленинградской территории всё изрыто, и всё время идут машины и трещит Ежиный приятель — бульдозер. И полным-полно рабочих. Так что в уборную мы ходили сквозь их строй или стояли в очереди. Это было, когда жили в Парфеноне.

Сейчас у нас большая светлая комната, моя кровать у окна, в которое видно море, которое два дня так бушевало, что мне казалось, что нас унесёт всех, а сегодня оно ласковое, шумит тихо-тихо, но вода холодная и купаться просто страшновато. Погода, как приехали, была холодная, дул северо-восточный ветер, но с неделю как ветер юго-западный, но несколько дней шёл дождь, а сегодня прямо летний день.

С Марафетиком мы живём дружно. Он чувствует себя неплохо. Сперва как-то ночью мёрз, сейчас хорошо. Всё греется на солнышке. Коктебель ей нравится. Мы бывали у Марии Степановны, она тебе пишет отдельно записочку. И я всё больше начинаю любить её. К нам она очень добра и сердится, если мы долго не приходим. С нами отдыхает Инна Марии Ивановны Поступаль-

ская[142]. Она очень славная. Я с ней ходила на Карадаг, ты только не сердись. Я очень тихонечко. Какой чудесный оттуда вид, какое величественное море. Просто здорово. Ездили в Новый Свет, проезжали мимо Уютного, вспомнила, как хорошо там жили с тобой. А из Фаюткиного сада посылала тебе приветы, дошли ли? Очень хочется побыть с тобой ещё раз в Крыму, походить на прогулки и просто смотреть на тебя.

От Ежа я получила две телеграммы с сообщением о тебе, написала ей большое письмо, но увы, ответа пока нет. Хотела сегодня позвонить ей, но боюсь пока, если твоё письмо пришло мне раньше, чем, то обидится ещё. Думаю, что завтра-послезавтра будет от неё ответ.

С Марафетиком мы всё думаем, ехать ли нам в Ялту и вообще на Южный берег. У нас была экскурсия в Севастополь, но мы не ездили, т. к. это очень утомительно всё в один день. Надо было встать в пять утра, и приехали они в двенадцать ночи, поэтому мы не поехали. В Севастополе очень холодно, гораздо холоднее, чем у нас, и Инна расплачивается за поездку ангиной. Если

---

[142] Примечания: 142

Поступальская Мария Ивановна (1901-1972) — советская писательница, соавтор романа «Обручев» (1963), серия «ЖЗЛ». Инна — возможно, её родственница.

мы не съездим на Южный берег, ты не будешь сердиться? Мы хотим остаться до 3/XI, 4-го — выехать и 5-го быть в Москве. Частные машины здесь не достанешь, как это можно было раньше, а на такси очень дорого. Автобус идёт почти 3,5 часа до Симферополя, а из Судака на Ялту дороги опять ещё нет.

Ну вот, мой милый, полный отчёт о нас. Не беспокойся, береги себя, моя роднушка. Твой приезд будет для меня самым большим подарком, а побольше ни о чём не заботься. Купи обязательно себе хорошие ботинки и очки.

Крепко-крепко целую тебя и с нетерпением жду маленького Волчонка. Береги звёздочки и меньше читай, т. к. много приходиться смотреть интересного.

Зебра

***

И. А. ЕФРЕМОВ - Т.И. ЮХНЕВСКОЙ и М.Ф. ЛУКЬЯНОВОЙ

26 октября 1958 г.

Шанхай

Аэрограмма

СССР, Украинская ССР, Крымская область, п/о Планерское, дом Писателей «Коктебель», Т. И.

Юхневской.

(Вверху — зебрёнку, внизу — еноту)

Мои родные большеглазые зебриньки!

Очень по тебе соскучился — не привык надолго уезжать от тебя. Хотя я в Китае всего 16-й день, но впечатлений так много, что кажется, я уже месяца два здесь. Каждый день заполнен до отказа, и китайские друзья, стараясь показать нам как можно больше, таскают нас повсюду до изнеможения. Это ещё полбеды — что приводит меня в ужас — это огромное количество еды, невольно поглощаемой на банкетах, даже самых скромных.

Вчера мы приехали сюда из Нанкина, где провели 2 дня, завтра в 6 утра выезжаем в Ханчжоу — классический рай в китайском понимании. Послезавтра вернёмся в Шанхай, а 29-го выедем в последнюю поездку — на раскопки на берег Хуанхэ, приближаясь к Пекину. К 1-му вернёмся в Пекин, и я сразу же напишу тебе аэрограмму уже на Москву — последнюю перед возвращением.

Шанхай — гигантский городище с неимоверным количеством магазинов и дворцов — я ещё никогда ничего подобного не видел. Например, в одном из больших универмагов я насчитал около 150 разных расцветок и фасонов дамских кофто-

чек — для эксперимента. Искал тебе (спрашивал всюду, где бывал) чёрный бархат, но такового (лионского) нет во всём Китае, а на панбархат не стоит тратить юани — его у нас полно.

В общем, мне хватит надолго рассказывать моему драгоценному любимому курносому. Я уже начал уставать от всех впечатлений. Чувствую себя хорошо, но увы, явно толстею от чрезмерной еды, которую никак не удаётся отрегулировать.

Крепко, крепко целую тебя и люблю. Береги себя.

Волчик

Дорогой чёрненький Марафетик — всё время приходится писать вам вместе с зебрёнком — уж очень мало времени на отдых, не то что на письма. Надеюсь, получу от вас и от зебрушки, конечно, весточку, как вы там живёте, к своему возвращению в Пекин. Это письмо придёт уже к концу Вашего пребывания — я даже не уверен, застанет оно Вас в Коктебеле, и поэтому сразу же напишу ежу на Москву. Если Вы там не задержитесь, то узнаете известия в Москве. Было бы хорошо Вам задержаться до начала ноября и вернуться в Москву к 6-му, а там и я скоро явлюсь. Очень соскучился, и мне уже поднадоел Китай — уж очень утомительно мотаться в таком темпе,

и везде — встречи, чаепития, тосты, речи. Смотрите, чтобы хорошенько набраться сил в Крыму. Крепко целую.

Соскучившийся Медведь!

***

И. А. ЕФРЕМОВ и Т.И. ЮХНЕВСКАЯ - М.Ф. ЛУКЬЯНОВОЙ[143]

4 апреля 1960

г. Абрамцево

Дорогой Марафетик!

Пишу прямо на машинке для скорости — чтобы было поразборчивее. Только что получили твое письмо — оно очень нас с Зебрёнком растрогало, и мы решили поскорее написать, а то всё дожидались результат исследования, который обещали в среду — послезавтра. Мучили Зебрёнка порядочно — я, конечно, пошёл с ней в институт Гельмгольца[144]. Там нас повели в подвал, где стоят разные аппараты, а рядом — камера с чёрной, как могила, внутренностью, звукосвето-

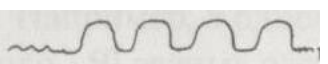
[143] Примечания: 143

В 1959 и 1960 годах М. Ф. Лукьянова работала в составе Советско-Китайской палеонтологической экспедиции.

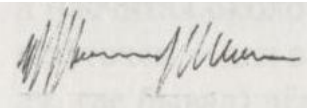
[144] Примечания: 144

Институт Гельмгольца — ныне Национальный медицинский центр исследования глазных болезней имени Гельмгольца.

токомагнитонепроницаемая. Зебрёнку сначала дали в кулачок один электрод и приставляли к глазу другой, несколько раз пропускали ток через зрительные нервы и нашли, что они у неё в порядке. Затем одели на голову решётчатый шлем из резиновых тяжей и присоединили двенадцать электродов, так что Фаюта стала похожа на космического пилота, но это к ней шло — к её большущим испуганным глазёнкам. Снаружи был большой, как рояль, аппарат с уймой циферблатов и стрелок и большой медленно двигавшейся лентой миллиметровки, на котором шестнадцать рычажков вычерчивали биотоки, идущие от разных областей мозга. Зебрёнка заперли в камеру в глубоком кресле, следили за работой мозга в темноте, затем при вспышках света — то частых, то редких. И вот при частых вспышках обнаружилось (я сам смотрел вместе с врачами), что реакция мозга в каких-то местах неправильна, вот такая:



, а нормальная — такая:



Что это такое — они ещё должны разбираться, потому и заключение будет через неделю. После этого Зебру прямо на глаз (предварительно обезболив кокаином) одели линзу, залитую физиологическим раствором, с присоёдиненным к ней электродом, чтобы снимать сетчатку в цветовых фильтрах красных, зелёных, синих. Так как у Зебрёнка очень большие глаза, то они никак не могли прикрепить линзу, пробовали пять раз, пока наконец сняли. В общем всё длилось 2 1/2 часа, и я-то сам, сидючи на стуле, так устал, что, приехав домой, повалился и заснул, а Зебрёнок и подавно умучился, хоть и не больно, а трудно.

Вот тебе полный отчёт о нашем походе. Когда будет результат, то напишу, что там у них получилось. Очень славные люди эти врачи — настоящие учёные, и работают, как полагается, в подвале.

Мы с Зебрёнком снова в Абрамцеве, и снова у нас мороз и холод, и даже сыпал снег изрядно. Но всё равно расчищать больше не нужно, так как днём подтаивает изрядно, и понемногу появляются прогалины. Но настоящего тепла пока

нет. Планы наши пока неопределённы. Вероятно, поедем в Ленинград в июне. Ёж взял путёвку с 16 мая в Коктебель (это ещё при тебе). Я хочу попробовать взрезаться, м. б., в начале мая — вот поедем числа 17-го в Москву, пойду поговорить с хирургом. Аллана вместо Фрунзе пихают в Воркуту, но туда ему уже не хочется ехать — теперь контракт на пять лет, а не два года. Поэтому обещали, что они (Университет) походатайствует, чтобы его всё же направили во Фрунзе. Молотилку всё равно отправили в Горький, но она тоже хочет как-то выкручиваться.

Обязательно напиши, какое впечатление произвели подарки на каждого. Как прошла таможню с таким количеством разных кульков и посылок?

Очень рад, что посмотришь много хороших мест — вот особенно красиво около Читы — в общем, между Улан-Удэ и Читой, правда, хорошо и за Читой, но туда не поедешь, а как выглядит путь от Читы до Карымской и Отпора — не знаю, не был. Ну, вот, целую крепко, желаю здоровья и бодрости, теперь будет писать Зубрик.

Большое спасибо за книгу о диэте — она очень нужная. Платья Зебры вышли хорошо, только пальто не совсем.

Медведь

Милый, добрый Марафетик, очень скучаем без Вас. А я всё гляжу в окошко — не приедет ли Енотик, а его всё нет и нет. Очень грустно без Вас, только и успокаивает, что Вы повидаете красивые места и много интересных людей.

Только будьте умницей и берегите себя. Если будете плохо чувствовать, бегите из Гоби. Медвежонок чувствует себя ничего. Теперь я возьмусь за него. Вчера делали первый разгрузочный день по Вашей книге — сперва мясной, а через недельку сделаем творожный. И стала ограничивать ему хлеб и сахар. Когда приедете, то встретите стройного Медведя. Крепко-крепко целую строгого Енотика.

Зебра

***

И. А. ЕФРЕМОВ и Т.И. ЮХНЕВСКАЯ — М.Ф. ЛУКЬЯНОВОЙ

12 апреля 1960

г. Абрамцево

Дорогой чёрненький Марафетик!

Мы с Зебром уже сильно по Вам соскучились, и вот — пишется поскорее ещё одно письмо — может быть, оно застанет тебя ещё до выезда в

поле.

Хотя я получил письмо от Рождественского — он, по обыкновению, землю роет — ну, да это в его положении так и надо, и собирается всех отправить не позже 15-го. Если отправит 20-го, то письмо успеет застать тебя ещё в Пекине. Рождественский пишет, что условия изменились к худшему, и этот год будет труднее, а не легче, чем предыдущий. Я не думаю, что так будет, потому что всё-таки уже как-то работа была налажена — не могло же всё нацело разрушиться. Но вот что мне не понравилось — он пишет, что Яна[145] придётся отправить в Пекин в конце мая и использовать его на изготовлении слепков, а тебя он хочет задержать в Гоби, так как, мол, там будет один Пресняков[146] (только чур — меня не выдавай, а то он мне перестанет сообщать свои намерения относительно тебя). Имей это в виду, и пока ещё там Орлов[147], постарайся договориться

---

[145] Примечания: 145

Эглон Ян Мартынович (1888-1971) — скульптор, резчик по дереву, сотрудник ПИН АН СССР, участник Монгольской и Советско-Китайской палеонтологических экспедиций.

[146] Примечания: 146

Пресняков Владимир Алексеевич (1924—?) — препаратор ПИНАН СССР.

[147] Примечания: 147

Орлов Юрий Александрович (1893-1966) — доктор биологических наук, директор ПИН АН СССР.

с Орловым, чтобы тебе не быть долго в экспедиции, не только в Гоби. Насчёт Гоби, то у тебя тоже здоровье никуда — вряд ли у Яна хуже!

Надо препаровать пермские материалы тоже — скажи, что Жукова[148] определённо уходит на пенсию. Орлову дают место академика по биологическому отделению — уже опубликовано в газетах, так что он теперь будет обязан заботиться об институте как следует, а не думать о том, чтобы утечь в МГУ. Пусть и о тебе позаботится, а то и на пенсию тебе уйти недолго!

Получили Зебрёнкино заключение — оно пока малопонятно — лечащим врачам ещё не показывали, но в общем получается, что глаза нормальны, но есть какие-то нарушения в зрительных отделах коры головного мозга как результат перенесённого инфекционного заболевания. Так что не совсем-то ладно! И они считают, что заниматься (т. е. учиться студентом) — нельзя. Посмотрим, что скажут врачи в поликлинике. Я поеду в Москву 15-го, приехал итальянский профессор, с которым мы познакомились в Пекине, и привёз Орлову грампластинки (так ему и передай — какие — ещё не знаю, не видел), а мне

---

[148] Примечания: 148
Жукова Мария Петровна (1898-1984) — препаратор ПИН АН СССР.

— какую-то книгу.

Поеду, чтобы с ним повидаться, а то неудобно, ну, конечно, и подарить что-нибудь придётся, например палехскую шкатулку...

В Москве пойду в поликлинику к хирургу и сговоримся насчёт операции — если будет резать, то попрошу — в начале мая, я, кажется, уже писал тебе об этом. Опять красили машину к техосмотру — мы с Зебром, больше желающих нет, но я всё же отдам её на автобазу Академии для капитальной покраски.

Наконец потеплело и в нашем полюсе холода[149]. Сегодня впервые тёплый день с ветром (+12° в тени), и снег энергично тает, но всё же его ещё много.

На днях будут ставить нам в дачу газ — это будет удобнее, чем электроплитки. Скоро будем копать огород и сажать, а Марафетика-то нет — далеко.

Ну, вот, береги себя там, пожалуйста, и брыкайся. Хоть Енот без копыт, но у него — острые зубки, пусть шипит и скалится, не даётся замордовать, а то только дай волю — запрягут не хуже упряжной собаки.

Ну, пока кончаю, скоро Самсон поедет, и надо,

---

[149] Примечания: 149

Абрамцево находится на южном склоне Клинско-Дмитровской гряды, где температура обычно несколько ниже, чем в Москве.

чтобы он сразу же опустил письмо. Зебрёнок припишет тебе несколько нежных слов, а я крепко целую Енотика и глажу по непричёсанной головке.

Да, всё забываю — Енот оказался жулик! Вот так раз. Пока я забегал вытаскивать вещи (когда провожали), Енот успел подменить свою рваную шапку на мою хорошую, и я остаток зимы догуливал в старой Енотовой шапке — а в шкафу у Енота — моя хорошая. Хитрый Енот!

[Приписка рукой Т. И. Ю.]

Милый Марафетик, забежала на минутку — пришиваю чехлы к машине.

Медвежонок обо всём написал. Я напишу на днях всё подробно. Очень скучаем. А самое главное обидно, что не будет Вас 22/IV и на пасху.

Живём очень тихо, хотя вся эта неделя — сплошные нашествия — едут не по одному, а по два. Мы с Медвежонком едва успеваем кормить. Крепко целую.

Скучающий Зебр

***

И. А. ЕФРЕМОВ И Т.И. ЮХНЕВСКАЯ — М.Ф. ЛУКЬЯНОВОЙ

3 мая 1960

г. Абрамцево

Дорогой чёрненький Марафетик!

Не писал тебе несколько дней, пока выяснялось дело с дальнейшими планами. Они вот какие — пятого ложусь в больницу, и взрежут. Обещают держать недолго — дней восемь, если всё пойдёт нормально, да и операция-то считается пустяковой. Зебрёнок напишет потом, как всё получилось.

Потом поживу некоторое время в Москве, а Ёж едет в Коктебель только 16-го, на двадцать шесть дней, до 11 июня. <…>

Ей-богу, мне мои медистые песчаники в сорок листов[150] помогал один лишь Енот, и то скорее сделали! Толя Степанов умер — очень жалко хорошего парня — не вытянул учёбы из-за своего туберкулёза, и, наверное, не надо бы ему тянуться, а поехать куда в степи, в здоровый климат!

Большое тебе спасибо за поздравление — оно очень меня тронуло. Я написал Яну, чтобы он передал благодарность всем меня поздравившим

---

[150] Примечания: 150

Имеется в виду монография «Фауна наземных позвоночных в пермских медистых песчаниках Западного Приуралья», объём 40 авторских листов.

— и Трофимову[151], и Дуброво[152], и Преснякову, — если он этого не сделает, то ты сама передай. Доктору Чжоу я напишу сам как-нибудь, по-английски.

Мы всё же отпраздновали моё рождение, но из всей моей бывшей лаборатории были только Татаринов[153] и Малеев — вот и всё, что осталось! Немного!

Что-то ты киснешь — как бы это не было предостережением, что новая акклиматизация чревата какой-либо болезнью. Поэтому как только почувствуешь себя хуже — чорт с ним, поезжай если не домой, то в Пекин. Экспедиция, конечно, дело важное, но человек — всё равно важнее, а особенно такие люди, как ты, под ногами не валяются.

Ну, целую тебя крепко, береги себя.

[Приписка рукой Т. И. Ю.]

---

[151] Примечания: 151

Трофимов Борис Александрович (1921-2003) — кандидат биологических наук, сотрудник ПИН АН СССР, участник и руководитель 29 экспедиций по СССР, Монголии и Китаю.

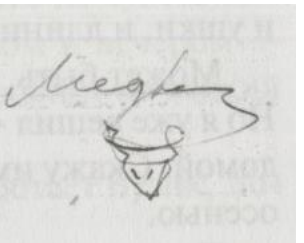
[152] Примечания: 152

Дуброво Ирина Александровна (1922-2011) — кандидат геолого-минералогических наук, сотрудник ПИН АН СССР.

[153] Примечания: 153

Татаринов Леонид Петрович (1926-2011) — зоолог, палеонтолог, биолог-эволюционист, научный сотрудник, позднее директор ПИН АН СССР (1975-1992), академик АН СССР (1981).

Милый мой дорогой Марафетик, очень беспокоюсь о Вашем здоровье. Очень плохо, что Вы заболели гриппом и последствия не проходят.



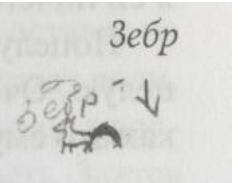
Берегите себя, милый Енотик, очень без Вас скучаем в нашей берложке. Медвежонок ложится 5-го, как пройдёт всё, я сразу напишу Вам. У нас сейчас холодно. Сейчас идёт дождь и темнота кругом, только ели шумят под ветром. Начали копать, я и Самсон.

Милочка прислала И. А. телеграмму из Усть-Пенжино[154] поздравительную, молодцом. В следующем письме опишу, как прошёл день рождения Медведя. Крепко-крепко целую.

---

[154] Примечания: 154

Усть-Пенжино — село Пенжинского района Камчатского края. Основано в 1930 году. Исключено из списка населённых пунктов в 1971 году. Ныне урочище Усть-Пенжино.



[Приписка сбоку рукой Ефремова]

(а зебр смеётся, что медведь больше похож на оленя с ветвистыми рогами!)

— вот так хвост у зебры — это целая белка.

Зебр

***

И. А. ЕФРЕМОВ - Т.И. ЮХНЕВСКОЙ

Без даты

Милый маленький любимый ластик!

Большое спасибо за чудное письмишко и за книжки.

Крепко, крепко тебя целую — и глазки, и реснички, и ушки, и длинный-предлинный хвостик.

Может быть, завтра будут оперировать, но не наверное. Но я уже решил — если ещё раз обманут с операцией — уеду домой. Скажу им — пусть назначат более удобное время — осенью.

Погода так изменилась, завтра ночью обещают -2, смотри не простудись, береги ножки и круглую

штучку от холода.

Пока мне книжек хватит, подумаю и закажу тебе ещё дня через 2.

Завтра можешь не приходить, а только позвонить, или сам позвоню. Утром во всяком случае постарайся позвонить часов в 9.

Я передал ещё записку Ежу[155], а то будет обижаться, что я ей ничего не написал.

Поцелуй Кота, а я тебя крепко, крепко, крепко и нежно целую. Очень люблю, хоть хвостик зебры и не так длинен, как это ему хочется.

Волчик.

***

И. А. ЕФРЕМОВ - Т. И. ЮХНЕВСКОЙ

Осень 1960 г.

Милый, любимый ластик!

Температуру тебе написать ещё не могу, но во всяком случае она не поднимается заметно — ничего не чувствую.

Потому ты напиши Ежу ему или «утром и вечером — нормальная», или «утром 36.5 вечером 37 ровно» на всякий случай.

Чувствую себя хорошо — только не работает пу-

---

[155] Примечания: 155

Ёж — домашнее прозвище Е. Д. Конжуковой.

зик, поэтому скоро оскорбят клизмой (часов в 5).

Сегодня была большая операция, и ни Романенко, ни Гербент не смотрели меня — просто перевязали и отмыли пузик от клея, накопившегося за ряд перевязок.

Но Ирина Андреевна бросила тихую фразу, и Волчик твой сразу насторожился: «Ну вот завтра вас как следует посмотрим и будем тогда решать, когда выписать». Я спросил: «Как! Разве можно в воскресенье?» Она сказала: «Решим, но не утверждаю!» Ну, завтра увидим — я тебе обязательно позвоню в середине дня, а то не ровен час меня ещё оставят на воскресенье! Но чорт с ним, день, конечно, не играет роли, но всё же будет страшно обидно. Ну во всяком случае, в воскресенье придёшь ко мне, и мы наговоримся всласть. Завтра всё прояснится. Как изменилась погода — у нас в больнице затопили, и тепло, уже не придётся спать с открытым окном и даже фрамугой.

Вот, родной мой драгоценный зебрёнок, жемчужинка моя — видишь, написал тебе целое письмо — заранее стал писать.

Ласточка, ты поезжай к Маше на зелёный [нарисован светофор], и обратно тоже! Хорошо, зубрик? Обещай мне, чтобы я не беспокоился, а то погода очень плохая. Обещаешь? Сделаешь?

Очень, очень крепко тебя люблю. Береги себя, солнышко моё, помни, что ты мне очень нужна, звёздочка...

P.S. Завтра сделают тяжёлую операцию моему соседу, и не придётся переговариваться через окно, чтобы не тревожить его. Всё уже и уже делается визитёрство. Но ты можешь подойти с переднего фасада, (где вход) крайний левый угол (если стоять лицом к больнице), если я смогу открыть окно (попробую, открывается ли сегодня). По телефону сговоримся завтра. В общем — всё это надоело, уже хватит. Тут ещё озлобленное бабье-маше у телефона, орёт точно из клетки, чорт бы их драл. Я уж часть их последних фраз не услышал, такой они подняли галдёж.

Ну, ничего, шут с ними! Не огорчайся, моя ласточка, я читаю понемногу, сплю хорошо, днём тоже спал. Глаз лучше. Ещё раз крепко, крепко целую.

Волчик

***

И. А. ЕФРЕМОВ - Т.И. ЕФРЕМОВОЙ

21 апреля 1966 г.

Больница АН СССР

Моя милая маленькая птичка-ласточка — я, ко-

нечно, уже давно люблю тебя, но прежде никогда не думал, что так хорошо, светло и радостно буду любить свою брыкушку, что мне будет с тобой так чудесно.

Каждый год жизни с тобой открывал в тебе новые драгоценные стороны, чёрточки, чувства. Год за годом и я, больной и много повидавший, испытавший немало радостей и ещё больше разочарований, имевший несколько очень разных женщин, впервые почувствовал, как мило и как хорошо быть с одной-единственной моей прелестью — Фаютой.

Я безмерно благодарен тебе, моя ласточка, за твою любовь и за всё, что ты сделала для меня. Я ничего не забыл и помню всё — все твои усилия сделать мою жизнь легче, помочь моей работе, сберечь моё здоровье. Всегда самоотверженная, не думая о себе, ты помогала мне и моим близким, стараясь снять с меня заботы. Всегда ты была около меня, когда случались огорченья, стараясь утешать и всегда утешала, ибо достаточно было подольше посмотреть в твои ясные, сияющие любовью глаза, чтобы почувствовать в них лучшее в мире утешение любимой женщины-друга, верного спутника на тёмной дороге жизни.

Я нашёл тебя уже на краю своей здоровой жиз-

ни и не мог дать тебе столько счастья, сколько ты заслуживала. Больше того, я доставил твоему маленькому верному сердечку очень много тревоги.

Твои маленькие умелые рученьки делали всё, что нужно было мне, а крохотусенькие ножки топотали с утра до ночи, стараясь успеть всё — оборудовать дачу, принести продукты, убраться, бегать к телефону, сидеть над рукописями, отправлять бесконечную почту, лечить своего Волчонка и, боже мой, каких только дел не переделала ты, такая маленькая и хрупкая!

Годы шли. Не разлучаясь с тобою, я всё крепче привязывался к тебе. Бывало, мне попадало копытцем, а я рычал в ответ на своего зебрёнка, но никогда, ни на одну секунду не оставляло меня чувство крепкой любви и счастья с тобой. Иногда прежде ты ревновала меня к женщинам, которые любили меня не по-дружески — меня это и забавляло, и огорчало. Забавляло потому, что слишком уж несоизмеримо было моё восприятие тебя и других. В тебе был весь огромный мир, всё моё будущее и моё счастье — как можно было сопоставить это с любой другой женщиной, пусть старой приятельницей или приятным человеком. Огорчало потому, что я не мог понять, как же

ты этого не видишь, будучи во всём, что касается меня, почти сверхъестественно чуткой.

Я, конечно, устал от жизни, от своих постоянных болезней, от большой работы и от частой теперь беспомощности, и не будь тебя со мной, уже окончил бы свой неизменный путь. Но сейчас, пока ты со мной, я (и это истинная правда!) счастливее, чем когда бы то ни было, потому что милостивые боги послали мне такую чудесную любимую, как ты, моя Фаюта. Иногда мне кажется, что ты чэнжелинг[156] (подменыш), то есть фея, а не простая смертная, настолько ты хороша и прекрасна душой. Ведь действительно, как мало таких, как ты, людей, если я за свою довольно долгую жизнь встретил одну. Ты прости меня, моя радость, что я всегда доставлял тебе столько хлопот и мало берёг тебя, часто болея, что жизнь сейчас со мной полна тревоги и мало в ней ярких впечатлений, перемен или удовольствий. Но я очень постараюсь стать хоть немного здоровее, чтобы подольше быть с тобой и послужить тебе хоть какой-то защитой от окружающих людей. Ты слишком добрая, слишком чистая и доверчивая, слишком открытая, мой цветик, моё

---

[156] Примечания: 156
От английского Changeling.

солнышко, моё счастье. Действительно, ты как фея из сказочной страны, где нет зла и зависти, где все готовы помогать и радовать всех других. И я буду стараться беречь и охранять тебя как можно дольше, сколько позволит судьба, ибо ничего дороже, ничего прекраснее и светлее у меня нет, ничего, что бы могло хоть на тысячную долю заменить тебя.

Береги себя, глазик мой — ты — всё для меня, вся жизнь и всё счастье, всё будущее, и прошлое, и настоящее. Так крепко, крепко я люблю тебя и весь наполнен горячей благодарностью тебе за всё, что ты для меня.

Твой Волк-Волчик-Волченька

***

И. А. ЕФРЕМОВ - Т.И. ЕФРЕМОВОЙ

1966 г.

Больница АН СССР

Мой родной Сюбик! Я что-то опять сильно заскучал по тебе. Это, конечно, уже слишком, потому что ты прибегаешь ко мне два раза в день и бываешь со мной по 7 часов. Так и дома-то не удаётся, потому что ты занята хозяйством, а я — своими писаниями, потом являются люди, и в результате, когда мы остаёмся одни, то вздыхаем свободно, и

я говорю тебе, как я по тебе соскучился.

Я думаю, что здесь, в больнице, главное — это то, что я не могу в любой момент увидеть тебя, а завишу от времени, распорядка и прочего.

Вероятно, только тот, кто любит или любил всем сердцем, всем своим существом, только такой человек и поймёт, что значит не видеть тебя, когда захочется. А все другие 999 из тысячи решат, что это — придурь или психоз. Да я и сам бы так думал до встречи с тобой, не мог бы понять, как может быть драгоценна каждая минута с любимой. А уж после тринадцати лет близости — это мне показалось бы мне прежде и вовсе невероятным. А ведь теперь это так, и ничего не могу с собой поделать.

Я уже не говорю о твоей заботе обо мне. С 1955 года ты непрерывно все эти годы оберегаешь меня как ребёнка, отдавая все свои силы, чтобы получше покормить, чтобы было всё абсолютно в порядке и чисто вокруг меня. Оберегаешь как человека, чтобы было спокойно и светло мне. Оберегаешь как писателя от всех психов и наглецов, лезущих ко мне. И всё это вместе с помощью мне в рукописях, почте, бесконечных телефонах... Право же, всего не перечислишь. И всё это легло на плечи маленькой женщины,

некрепкой по здоровью и очень застенчивой и чувствительной по своей доброте к людям. Тебе с твоим характером гораздо труднее отказать, чем выполнить просьбу, но, оберегая меня, приходится часто отказывать, чем принять людей, а это тебе нелегко.

Нелегка и забота об уютном доме, придя в который люди не хотят уходить.

Но всего тяжелее великое беспокойство о своём больном Волчике, ни на минуту не покидающее тебя. Ведь ты даже лёгкое снотворное боишься принять, чтобы не заснуть крепко, — а вдруг что случится с твоим Волчонком. Разве можно жить спокойно и весело под таким прессом? И тем не менее твои большущие глазки, когда смотрят на меня, светятся такой любовью и радостью, что я могу тоже светло и радостно принять от тебя всю эту добрую и неустанную заботу, весь этот непрерывный и неустанный труд, чтобы помогать мне, украсить и облегчить мне жизнь и мою работу, сохранить и поправить подорванное здоровье. Никакая благодарность не может быть достаточной, даже если бы повторять её каждую минуту все эти 13 с лишним лет. Только что я привязывался к тебе с каждой минутой всё крепче, пока не получилось то, что может быть лишь с трудом

понято людьми и что можно назвать лишь громадной, до последнего дыхания любовью к тебе. И если ещё добавить, что ты очаровательная и желанная женщина с редкостно красивым и правильным лицом, удивительно прямым носиком и чудесным маленьким ротишком, высокими ушками на гордо посаженной голове, высокими и «скандинавскими» холмишками, крупными и широкими бёдрами и тонкой гибкой талией, маленькими и стройными ножками и совершенно крохотными ручонками — очевидным моим идеалом, который я описывал уже сто раз в своих произведениях.

Я описывал уже сто раз в своих произведениях — то, как же может быть, чтобы всего меня не захватывала любовь к тебе, едва лишь я загляну в твои огромные, чистые и ласковые глаза? Как может быть иначе?! Но расплата за всё это — боль от разлуки с тобой, не стихающая никогда, лишь время от времени удаётся её приглушить, но чуть что — и она вернётся снова. Должно быть, я слаб в этом отношении — не хватает воли, но уж очень велика привязанность к тебе.

Конечно, надо принуждать себя — так говорит разум. Всё это верно, но сердцу так больно, оно не хочет разлуки с тобой.

Вот и всё, очень просто. И тут уж ничего не поделаешь. Это нельзя убить — только если вместе со мной. Я очень жалею, что не умею писать бытовые романы — так надо бы описать тебя. Ибо ради таких женщин, как ты, стоит жить и верить в жизнь, верить, что люди не погибнут в злобе и зависти, что найдут в себе силы итти через жизнь к каким-то светлым душам, если у мужчин будут такие подруги, как ты. Бесконечно люблю тебя, моя ласточка, мой драгоценный Фаютик, и потому бесконечно огорчаюсь, что доставляю тебе так много тревоги и так мало радости. Крепко-крепко целую тебя.

Твой Волк

***

И. А. ЕФРЕМОВ - Т.И. ЕФРЕМОВОЙ

Без даты

Маленькая моя ласточка-зебрик! Тебе ещё маленькое письмишко к празднику. Я не могу сказать, что я скучаю по тебе или тоскую без тебя — это будет неверно. А верно то, что от меня оторвали три четверти моей души, а та четвертушка, что осталась, всё равно отчаянно стремится быть с тобой. Хотя бы только быть с тобой. Пойти к тебе, если ты занята на машинке или на кухне, или

наконец я заловлю тебя отдыхать — пойти и объесть ушки, погрызть шейку, а то и бочок. Чтобы мой милый зайчонок звонко рассмеялся, потом нахмурился и сказал: «Волчик, ты мешаешь». Вот и всё, много ли уж так от судьбы мне надо?

Вернее, конечно, много больше — чтобы любимый зебринька был здоров и спокоен, счастлив и жил бы интересно.

Я очень, очень постараюсь быть поздоровее и внимательнее относиться к предупреждениям собственного организма и врачей, чтобы как можно дольше заботиться о моём самом любимом единственном «подменыше» из страны фей, пришедшему мне на радость и надежду, опору и ласку в трудные годы моих болезней, невозможности дальних поездок и краха научных дел.

Но радость, которую ты мне дала и даёшь, невозможно сравнить со всеми этими огорчениями, они стали совсем мелкими, когда у меня появилась ты. Все удивляются моему спокойному отношению к делу науки — тому, что было главным во всей моей жизни — это потому, что у меня есть ты. Я совсем спокойно отношусь к своему новому делу — литературе, там, где другой таил бы горькую обиду на постоянные ущемления и дискриминацию. Мне нипочём, и это потому, что

у меня есть ты.

Видишь как, моя крохотушка? Возьмёшь твою маленькую тёплую ручонку и поцелуешь до смешного маленький пальчонок — мизинчик. И громадное чувство нежности и бесконечной любви наполняет всего меня. Вот ты какая, птичка моя родная. Целую тебя нежно, нежно, крепко, крепко — и маленькую ротишку сковородничком, и глазки большие-пребольшие, и высокие золотые ушки, и нежные крепенькие щёчки, и шейку, и волосики, от которых пахнет свежим и тёплым лесом.

Твой Волчик

***

И. А. ЕФРЕМОВ - Т.И. ЕФРЕМОВОЙ

Без даты

Сюбке-ласточке

Солнышко моё, сюбка-ласточка, я всё равно очень тоскую без тебя. Это прямо трудно поверить кому другому, но каждый день, а особенно вечер, проведённый без тебя, кажется бесконечно пустым. Я могу читать, писать, размышлять о чём угодно, но нужно, чтобы ты была тут же, иначе даже трудно описать, какое беспросветное чувство одиночества и тоски овладевает мною.

Никогда ещё не было в жизни так, и это не от слабости и болезни, хотя, конечно, болезнь, вернее, беспомощность усиливает это ощущение. То, что не могу, если уж очень захочется, встать, одеться и удрать к тебе — помнишь, как писал Толстой о Телегине и Даше[157] — «к той единственной двери, до которой добраться бы даже умирая».

Но ведь и будучи здоровым и живя на даче, помнишь, я не ел и напрасно высматривал, не идёшь ли ты, когда ты уезжала в город. И чем дальше, тем больше я беспокоился за тебя, отпуская тебя от себя, и это стало даже принимать смешные формы. Я сам понимал, что это как-то чуть ли не психологическое чудачество — ничего не мог и не могу с собой поделать. Это так, и так и будет.

Ты такая скромная и застенчивая, что тебе трудно попросить о чём-либо людей, позвонить по телефону, о чём-либо напомнить... И в то же время ты героически взяла на себя лечение своего волка. Колола, сама страдая гораздо больше. Приняла на свои маленькие плечи град противоречивых советов от искренних, но черезчур настойчивых и зачастую бестактных доброжелателей. И охраняла, охраняла изо всех сил, не

---

[157] Примечания: 157
Телегин и Даша — герои романа А. Н. Толстого «Хождение по мукам».

всегда даже я помогал тебе в этом, затягивая беседы с людьми, принимая их больше, чем был в силах.

И разве я не вижу, какую тревогу ты всё время несёшь в душе со времени ухудшения моего здоровья? Ведь даже несколько лет ты спишь всегда около меня, так, чтобы тебе было слышно, если я позову. А в последние годы твоя тревога настолько велика, что ты никогда не принимаешь снотворных и при малейшем моём кашле или резком движении сразу вскакиваешь, смотря на меня тревожными, широко открытыми глазами. Так беспокоится твоё маленькое сердечко, храброе, но, увы, совсем не такое уж здоровое. И никто ничего не знает об этой твоей вечной тревоге — ведь мы даже никогда не говорим о ней — я только вижу...

Говорят, без семи праведников город не стоит — вот во всяком случае ты — одна из них, яркий образ светлой, самоотверженной, чистой и доброй души. Как же мне не любить тебя всем сердцем и всей душой, моя ласковая птичка?

Вот так и люблю — больше всего на свете, больше жизни. Да и живу я, пока ты со мной и на этой земле, драгоценность ты моя.

Волк

***

И. А. ЕФРЕМОВ - Т.И. ЕФРЕМОВОЙ

Без даты

Тебе, моя самая любимая, жена, возлюбленная, самый большой друг, птичка-росинка, Сюбик-Фаютик, пишу на случай, если не успею попрощаться и сердце откажет внезапно.

В этом же конверте письмо, написанное «на всякий случай» давно, в 1966 году, в больнице. Там я прошу тебя о разных способах похорон, но всё это — от большого одиночества.

В моём теперешнем нормальном состоянии всё это кажется ненужным. Остаётся моя просьба — сжечь, не хоронить в Москве и Подмосковье, а лучше рассыпать где-нибудь в степи или горах (невозделанных, не паханых), но не Кавказских. А в общем — что сама захочешь.

И обязательная просьба — о путешествиях. Может, и не в такой широкой программе, но обязательно побывай на Средиземном море, в северных странах (Финляндии, Швеции, Норвегии), в Средней Азии, в Крыму, может быть — в Монголии, если будут туда поездки. И всё это в зависимости от переиздания книг, не трать денег от библиотеки, чтобы тебе хватило «на подольше».

Все вещи в квартире и особенно библиотеку завещаю тебе, так же как и всё то, что будет на сберкнижке (если будет). Ты отдала мне всю свою жизнь, и нет у тебя ни стажа, ни квалификации, ни пенсии — надо же тебе жить на что-то при твоём неважном здоровье. Вот и будет пока — библиотека, потом, может быть, — переизданье книг, но те, по закону наследования, будешь делить пополам с Котом.

Я понемногу пишу книжку советов, как тебе поступать с рукописями, книгами и прочим, чтобы на первое время не потеряться тебе без меня. Конечно, это советы только, а не «указания», и их стоит придерживаться, если они будут верны в нужный момент. Эти советы записаны в широкой записной книжке, присланной мне Алланом из Сирии, и разнесены по разным разделам. Всё это может или устареть, или оказаться недописанным, так что может быть использовано лишь постольку-поскольку.

Не говори никому, что после меня остались какие-нибудь литературные рукописи, чтобы не привлекать ничьего внимания. Зато говори, что осталось много архивов, писем, фотографий научных, которые тебе надо разбирать, подбирать по датам, расклеивать в альбомы долго, годами, так

же, как и научную библиотеку. Всё это поможет оборонять квартиру, хотя, может быть, и не будут выталкивать, во всяком случае обороняться можно. Но если сама захочешь — перенеси на меньшую. Только никого не прописывай, кто бы ни просил, иначе испортить могут тебе всю жизнь.

А тебя, маленькую, нежную и тонкую, так легко обидеть или обойти, обжулить (как, впрочем, было легко и меня!), что это — главная моя тревога.

Очень опасайся всяких высказываний. Ты вспыльчива и можешь наговорить чего-нибудь, а, может быть, люди будут тебя специально провоцировать, чтобы потом арестовать или донести и воспользоваться каким-либо добром, особенно если считают, что у тебя 30 шубок и миллион на сберкнижке. Никто и не поверит, что мы с тобой ничего не накопили, кроме разве книг. Книги не жертвуй никому — денег тебе не пожертвуют. Английские книги не давай читать никому, иначе тебя могут (взявшие же «читатели») обвинить в распространении буржуазной литературы, пропаганде враждебных взглядов и под этим предлогом библиотеку конфисковать всю вообще, провокаторы появятся. А лепиться к библиотеке будут — те же фантасты, поэто-

му в том, что ты её ликвидируешь, нет ничего страшного, — иначе всё равно разворуют в наш милый век.

Говори всем, что ты её частично отдала, частью продай — это о литературной английской.

Вообще помни, что пока тебя будут рассматривать как вдову писателя И. Ефремова, к тебе могут лезть с разными вопросами и воспоминаниями. Ну, ты уже знаешь цену корреспондентам, и чем меньше им будешь говорить и доверять — тем лучше, ещё лучше, если почти ничего...

Если бы нашёлся настоящий хороший человек и ты бы вышла замуж, то было бы спокойнее. Но как бы не попасть на охотника за квартирой и 30-ю шубками, чорт их сволочи разберёт!

Я был тебе с рокового 1966 года плохим мужем, любимая моя. Начались бесконечные твои тревоги, потрясения, ночные страхи, бесконечная забота, как о больном ребёнке, сидение на одном месте, почти взаперти в квартире из боязни меня оставить.

Я ничего не мог дать тебе взамен — даже того мнимого обеспечения, которым якобы обладают писатели.

И уходя, больше всего беспокоюсь о том, что не смог создать тебе даже необходимого на несколь-

ко лет — десять, скажем, запаса денег. Словом — ничего.

И горько ещё, что не умею я писать как следует, чтобы передать миру всю неувядаемую прелесть твоей души, всю глубь заботы и добра, которыми ты окружила меня и так скрасила последние болезненные годы моей жизни. Я никогда не чувствовал себя, несмотря на неизлечимую болезнь, ни одиноким, ни больным — так нежно и добро ты обставила мою жизнь, всё время жертвуя всем своим, что так нужно было бы твоим наблюдательным глазкам, твоему живому уму и интересу к жизни.

Ты — радость, счастье, теплота, прекрасная ласка жизни моей.

Волк

[На обороте внизу листа:]

Прости меня, маленькая, — это не чувство вины, я не виноват, а досада на судьбу, которая не дала мне возможности хотя бы собственным творчеством показать тебе всю драгоценность твоей души, милый короткий смех, ласковые, трогательно маленькие руки, большие тревожные серо-зелёные глаза, смотревшие всегда в самую глубину души моей. Если бы только знала, насколько лучше я стал в жизни с тобой, то

поняла, что созданием самых лучших своих произведений я обязан только тебе — тому высокому огню души, который ты сумела зажечь и поддерживать его во всех болезнях и невзгодах нашей с тобой жизни.

***

«ОГРОМНЫЕ ЗАИНДЕВЕЛЫЕ БЕРЁЗЫ...»[158]

Огромные заиндевелые берёзы начали слегка оттаивать.

И на ясном голубом небе веточки и ветви были переплётом толстой серебряной пряжи и жемчужного бисера.

На гибких кончиках ветвей повисли капли воды, горевшие алмазами высоко-высоко над головой, над снежными шапками и тёмными мохнатыми ветками угрюмых елей.

Чистейшая, сверкающая в глубокой голубизне, жемчужно-серебряно-алмазная сеть внезапно угасла. Закрывшееся тучами небо стало низким и более тёмным, чем земля... Зелень ёлок стала чёрной, таинственной, а голые кустарники убегали вдаль призрачными, клубящимися серыми

[158] Примечания: 158

На машинописном листе И. А. Ефремовым были напечатаны два варианта зарисовки. Приводятся оба текста.

полосами.

Крупные хлопья блестящего снега падали медленно, крутясь в безветренном воздухе.

И ярче прежнего алмазного терема засветились большие, ясные, яркие и чистые девичьи глаза, поднятые ко мне. Хлопья снега усеяли выбившиеся из-под шапки тёмные волосы блестящим венцом, снежинки таяли на кончиках длинных ресниц, на алом изгибе губ.

И свежий запах тающего снега от разрумянившегося лица, холодноватого над прямой чертой тёмных бровей... тёплый запах жизни от напоённых морозным воздухом волос.

Чудесный контраст холодной, сотканной из бесплотного света зимней красоты с горячей живой тканью покрывала Майи!

* * *

Заиндевелые огромные берёзы начали оттаивать, их ветви в ясном голубом небе переплелись серебряной, унизанной жемчужным бисером пряжей.

На гибких веточках повисли капли воды — в солнце они горели алмазами — высоко-высоко над головой, над снежными шапками тёмных колючих елей.

И вдруг эта шатром раскинутая в бездонной голубизне, сверкающая жемчужно-серебряно-алмазная сеть внезапно угасла. Низко опустилось закрывшееся тучами небо, более тёмное, чем земля. Зелень ёлок стала чёрной, таинственной, призрачными серыми полосами убегали вдаль голые кустарники.

Крупные хлопья блестящего снега падали медленно, крутясь в безветренном воздухе...

Но ярче прежнего алмазного терема засветились большие, ясные и яркие девичьи глаза, поднятые ко мне. Снежинки блестящим венцом легли на выбившиеся из-под шапки тёмные волосы, таяли на кончиках длинных ресниц, на алом изгибе губ.

Свежий запах тающего снега шёл от разрумянившегося лица, холодноватого над прямой чертой тёмных бровей... тёплый аромат жизни от напоённых морозным воздухом волос.

Чудесный контраст, созданной бесплотным светом зимней красоты и горячей ткани покрывала Майи!

***



Основные даты жизни и творчества И. А. Ефремова

1908, 10 апреля (23 апреля по новому стилю) — в посёлке Вырица Царскосельского уезда Пе-

тербургской губернии в семье купца 2-й гильдии Антипа Харитоновича Ефремова и Варвары Александровны, урождённой Ананьевой, родился сын Иван.

1914 — переезд Ефремовых в Бердянск в связи с болезнью младшего сына Василия. Начало учёбы Ивана в гимназии.

1917 — развод родителей И. А. Ефремова.

1918 — переезд матери с детьми в Херсон.

1920— 1921 — участие И. А. Ефремова в гражданской войне.

1921— 1923 — учёба в 23-й единой трудовой школе Петрограда.

1923 — встреча с П. П. Сушкиным, начало занятий палеонтологией.

1924 — плавание по Охотскому морю, посещение Японии. Поступление на биологическое отделение физико-математического факультета Ленинградского университета.

1925 — орнитологическая экспедиция в Азербайджан, плавание по Каспийскому морю. Начало работы препаратором в Геологическом музее Академии наук.

1926 — Тургайская палеонтологическая экспедиция. Палеонтологическая экспедиция на гору Большое Богдо.

1927 — палеонтологическая экспедиция на реки Ветлуга и Шарженьга. Прекращение учёбы в университете.

1928 — вторая экспедиция на реки Ветлуга и Шарженьга. Вторая экспедиция на гору Большое Богдо.

1929 — экспедиция в Среднюю Азию. Экспедиция в Каргалинские рудники под Оренбургом.

1930 — Урало-Двинская геологическая экспедиция. Ефремов становится сотрудником Палеозоологического института АН СССР.

1931 — Нижне-Амурская геологическая экспедиция.

1932 — Олёкмо-Тындинская геологическая экспедиция. Начало учёбы в Ленинградском Горном институте.

1934 — Волжско-Камская палеонтологическая экспедиция. Верхне-Чарская геологическая экспедиция.

1935 — палеонтологические раскопки у села Ишеево, Татария. Присуждение Ефремову учёной степени кандидата биологических наук за совокупность работ по палеонтологии. Переезд Палеозоологического института АН СССР в Москву.

1936 — палеонтологические раскопки у села

Ишеево, Татария. Женитьба Ефремова на Елене Дометьевне Конжуковой. Рождение сына Аллана.

1937 — получение диплома об окончании Ленинградского Горного института с отличием. Участие в XVII Международном геологическом конгрессе.

1938—1939 — палеонтологические раскопки у села Ишеево. 1941 — защита докторской диссертации по биологии на тему «Фауна наземных позвоночных средних зон перми СССР».

1941—1942 — участие в Экспедиции Особого Назначения Наркомата обороны СССР.

1942—1943 — эвакуация (Алма-Ата, Фрунзе). Написание первых рассказов. Присвоение профессорского звания.

1943 — возвращение в Москву.

1944 — публикация первых рассказов, книга «Пять румбов». Избрание членом Союза писателей СССР.

1945 — написана историческая дилогия «Великая Дуга» (повести «На краю Ойкумены» и «Путешествие Баурджеда»). Ефремов награждён орденом Трудового Красного Знамени за заслуги в палеонтологии.

1946 — первая палеонтологическая экспедиция

в Монголию.

1948 — вторая палеонтологическая экспедиция в Монголию.

1949 — третья палеонтологическая экспедиция в Монголию.

1950 — опубликована монография «Тафономия и геологическая летопись (захоронение наземных форм в палеозое)».

1952 — работа «Тафономия и геологическая летопись» удостоена Сталинской (Государственной) премии СССР 2-й степени. Знакомство с Т. И. Юхневской.

1954 — Ефремов опубликовал капитальное научное исследование «Фауна медистых песчаников...». Совместно в Б. П. Вьюшковым подготовил и опубликовал «Каталог местонахождений пермских и триасовых наземных позвоночных на территории СССР». Написание повести «Тамралипта и Тиллоттама».

1955 — обострение болезни сердца, переход на временную инвалидность.

1955—1956 — Ефремов и Т.И. Юхневская снимают дачу у академика И.М. Майского в дачном посёлке в Мозжинке.

1956 — написание романа «Туманность Андромеды». Публикация книги «Дорога ветров».

1957 — журнальная публикация «Туманности Андромеды».

1958 — рабочая поездка в Китай для подготовки Советско-Китайской палеонтологической экспедиции. В состав советской делегации входили, кроме руководителя МПЭ, заведующего лабораторией низших позвоночных ПИН АН СССР И. А. Ефремова, директор Палеонтологического института АН СССР Ю.А. Орлов, участник МПЭ АН СССР А. К. Рождественский, будущий глава Советско-Китайской экспедиции. Всего в составе делегации было 4 человека.

1959— 1962 — работа над романом «Лезвие бритвы». Ефремов и Т. И. Юхневская снимают дачу в посёлке академиков в Абрамцеве.

1961 — смерть Е. Д. Конжуковой, жены И. А. Ефремова

1962 — женитьба на Т. И. Юхневской.

1963 — журнальная публикация романа «Лезвие бритвы».

1964—1968 — работа над романом «Час Быка».

1968 — журнальная публикация романа «Час Быка». Ефремов награждён вторым орденом Трудового Красного Знамени за заслуги в развитии советской литературы и активное участие в коммунистическом воспитании трудящихся.

1969—1971 — работа над романом «Таис Афинская».

1972 — журнальная публикация романа «Тайс Афинская».

5 октября 1972 — смерть И. А. Ефремова.

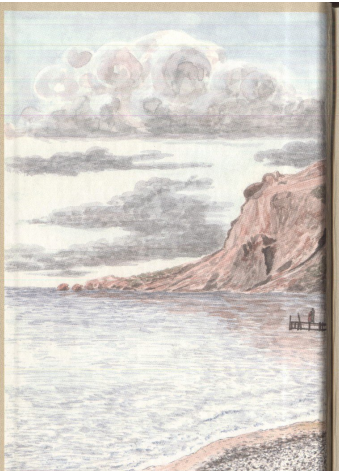
Содержание

От редакторов.....5
Women in my life.....27
От автора.....29
Царица Ночи. 1923-1927 32
Кунико-сан. 1924 45
Лиза. Тысяча ликов любви. 1925 60
Зина-Зейнаб. 1926 68
Е. П. М. 1926 85
«Старуха». 1927 109
Вторая Люда. 1927 121
Амазонка. 1929 191
Сахавет. 1929 198
Тамара. 1930 235
Валерия. 1931 263
Катерина. 1935.....278
Мириам. 1943 291
Последняя богиня. 1950 323
ПИСЬМА.....385
И. А. Ефремов - Т. И. Юхневской. 12 июня 1952

г.....387
И. А. Ефремов — Т. И. Юхневской. 27 июня 1952 г.....394
И. А. Ефремов - Т. И. Юхневской. 11 июля 1952 г.....397
И. А. Ефремов - Т. И. Юхневской. 22 июля 1952 г.....400
И. А. Ефремов - Т. И. Юхневской. 31 января 1953 г.....408
И. А. Ефремов — Т. И. Юхневской. 14 февраля 1953 г.....409
И. А. Ефремов - Т. И. Юхневской. 2 марта 1953 г.....410
И. А. Ефремов - Т. И. Юхневской. 4 марта 1953 г.....412
И. А. Ефремов - Т. И. Юхневской. 7 марта 1953 г.....415
И. А. Ефремов - Т. И. Юхневской. 25 августа 1953 г.....419
И. А. Ефремов - Т. И. Юхневской. 18 августа 1955 г.....423
Т. И. Юхневская - И. А. Ефремову. 22 сентября 1955 г..424
И. А. Ефремов - Т. И. Юхневской. 22 сентября 1955 г.....426
И. А. Ефремов — Т. И. Юхневской. 1955

г.....428
Т. И. Юхневская - И. А. Ефремову. 1955 г.....429
И. А. Ефремов - Т. И. Юхневской. 25 февраля 1958 г.431
И. А. Ефремов — Т. И. Юхневской. Февраль. 1958 г...433
И. А. Ефремов - Т. И. Юхневской. Телеграмма. Октябрь. 1958 г.....434
И. А. Ефремов — Т. И. Юхневской. 13 октября 1958 г....435
И. А. Ефремов — Т. И. Юхневской и М. Ф. Лукьяновой.
18 октября 1958 г.....438
Т. И. Юхневская - И. А. Ефремову. 19 октября 1958 г...439
И. А. Ефремов — Т. И. Юхневской и М. Ф. Лукьяновой.
26 октября 1958 г.....442
И. А. Ефремов и Т. И. Юхневская - М. Ф. Лукьяновой.
4 апреля 1960 г.....444
И. А. Ефремов и Т. И. Юхневская - М. Ф. Лукьяновой.
12 апреля 1960 г.....447
И. А. Ефремов и Т. И. Юхневская - М. Ф. Лукьяно-

вой. 3 мая 1960 г.....450
И. А. Ефремов - Т. И. Юхневской. Без даты.....452
И. А. Ефремов — Т. И. Юхневской. Осень 1960 г.....453
И. А. Ефремов — Т. И. Ефремовой. 21 апреля 1966 г..455
И. А. Ефремов — Т. И. Ефремовой. 1966 г.....458
И. А. Ефремов - Т. И. Ефремовой. Без даты.....461
И. А. Ефремов - Т. И. Ефремовой. Без даты.....463
И. А. Ефремов - Т. И. Ефремовой. Без даты.....465
«Огромные
заиндевелые берёзы...».....469
Приложение
Основные даты жизни и творчества И. А. Ефремова.....473



Весна



Лето



Литературно-художественное издание Ретро библиотека приключений и научной фантастики

Иван Антонович ЕФРЕМОВ

МОИ ЖЕНЩИНЫ

Иллюстрации И. В. Коржева

Редакторы А. С. Артенян, Н. Н. Смирнов, О. А. Ерёмина Корректоры С. А. Беляков, Р. В. Вик-

торова Дизайн и компьютерная верстка А. П. Вардересяна

Подписано в печать 20.02.2025 г. Формат 84x108 1/32. Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная. Усл. печ. л. 39,48 Заказ № 1296

Издатель Юхневская С. А.

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография» Филиал «Чеховский Печатный Двор»

142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1 Сайт: www.chpd.ru E-mail: sales@chpd.ru, тел. 8(495)107-02-68

ISBN 978-5-6053754-0-1